

НОВЫЙ МИР

4

МОСКВА

1943

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 4

Год издания XX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЕРА ИНБЕР — Пулковский меридиан, поэма, главы IV и V	3
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — Лёнушка, народная трагедия в 4-х действиях	7
ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ — Баллада о двух факетах	36
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Брусиловский прорыв, исторический роман в 2-х частях. Часть II. Окончание	37
И. МАЙСКИЙ — Перед бурей, отрывки из воспоминаний. Окончание	98

Письма С. В. Рахманинова к Ре	105
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — С. В. Рахманинов, приложение к письмам	110

ШОН О'КЕЙСИ — Письмо из Англии. Перев. Н. Волжиной	114

ПЁТР СКОСЫРЕВ — Ответа не последовало (О критике в наши дни)	118

БИБЛИОГРАФИЯ

БОР. СЕРГЕЕВ — «Суворов»	124
Н. КАЛИТИН — «Ленинградская тетрадь»	125
ВЛ. ОРЛОВ — Классики грузинской литературы	127

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН

ВЕРА ИНБЕР

★

Глава четвёртая

ГОД

1

Зелёным листьям наступил конец.
В предчувствии грядущего мороза
Уже поникла юная берёза,
Бледна, как необстрелянный боец.
Зато рябина, с пурпуром в петлицах,
Не в первый раз мороза не боится.

2

А на Неве ни шороха, ни плеска,
И город ало-чёрно-золотой
В ней отражён с венецианским блеском,
С поистине голландской чистотой.
Но наяву насколько он живей
В исконной русской прелести своей!

3

Он всё такой же, как и до войны,
Он очень мало изменился внешне.
Но, вглядываясь, видишь: он не прежний,
Не все дома попрежнему стройны.
Они в закатный этот час осенний
Стоят, как люди после потрясений.

4

Один кровоточит кирпичной раной,
Тот известковой бледностью покрыт,
Там вылетели окна из орбит
(Одно из них трепещет, как мембрана),
А там неузнаваема, как маска,
Окисленная порохом окраска.

5

Осколок у подъезда изувечил
Кариатиды мраморную грудь.
Страдания легли на эти плечи
Тяжёлым грузом, — их не разогнуть.

Но всё же, как поддержка и защита,
Попрежнему стоит кариатида...

6

На Ленинград, обхватом с трёх сторон,
Шёл Гитлер силой сорока дивизий.
Бомбил. Он артиллерию приблизил,
Но не поколебал ни на микрон,
Не приостановил ни на мгновение
Он сердца ленинградского биенье.

7

И видя это, разъярённый враг,
Предполагавший город взять с разбегу,
Казалось бы, испытанных стратегов
Скорей зовёт к себе: Мороз и Мрак.
И те пришли, готовые к победам,
А третий, Голод, шёл за ними следом.

8

Он шептуном шнырял из дома в дом,
Ныл нытиком у продуктовой кассы.
А в это время рос ледовой трассы
За метром метр. Велась борьба со льдом.
С опасностью, со смертью неполам
Был доставляем хлеба каждый грамм.

9

И Ладога, как птица-пеликан,
Самопожертвования эмблема,
Кормящая птенцов самозабвенно,
Великий город, город-великан,
Питала с материнской любовью
И перья снега смешивала с кровью.

10

Не зря старушка в булочной одной
Поправила беседовавших с нею:
«Хлеб, милые, не чёрный. Он ржаной,
Он ладожский, он белого белее.
Святой он». И молитвенно старушка
Поцеловала чёрную горбушку.

11

Да, хлеб... Бывало, хоть не подходи,
Дотронуться — и то бывало жутко.
Начнёшь его — и съешь без промезутка
Весь целиком. А день-то впереди!..
И всё же днём ли, вечером, в ночи ли
Работали, учились и учили.

12

Студент.. Огонь он только-что раздул.
Старательно распиленный на чурки,
Бросает он в него последний стул.
А сам перед игрушечной печуркой
На корточках (пусть пламя припечёт)
Готовит он очередной зачёт.

13

Старик-профессор... В клетчатом платке
Поверх академической ермолки.
Насквозь промёрзший, с муфтой на
шнурке,
С кастрюльками в клеёнчатой кошёлке.
Ему бомбёжка путь пересечёт,
Но примет у студента он зачёт...

14

Тяжёлый пласт осенней темноты
Так угнетал порой невыносимо,
Что были двадцать граммов керосина
Желанней, чем в степи глоток воды.
О, только бы коптилка не погасла!..
Едва горит соляровое масло.

15

И всё же не погас он у меня,
Сосуший масло, марлевый канатик,
Мерцающее семячко огня.
Так светит иногда светляк-фанатик
И чувствует, что он, по мере сил,
Листок событий всё же озарил.

16

Я знаю, что в грозовой этой чаше
Другим удастся осветить крупней
Весь этот год, вплоть до его корней.
Но и светляк был точкою светящей,
И он в бореньях тьмы не изнемог.
Он бодрствовал. Он сделал всё, что мог.

17

И Муза, на сияние лампадки,
Притянутая нитью лучевой,
Являлась ночью под сирены вой,
В исклѣстанной ветрами плащ-палатке,
С блистанием волос под капюшоном,
С рукой, карандашом вооружѣнной.

18

Она шептала пишушим: — «Дружок,
Не бойся, я с тобой перезимую».

Чтобы согреть симфонию Седьмую,
Дыханьем раздувала очажок.
И головешке с нежностью весѣлой,
Как флейточка, высвистывала соло.

19

Любитель музыки! Пожалуй, в ней ты
Увидел бы, в игре её тонов,
И впрямь порханье светлых клапанов
По угольному туловищу флейты.
И то, как вмиг её воспламеня,
По ней перебегает трель огня.

20

С электролампой, в световом овале,
Входила Муза в номерной завод
Под сумрачный, оледенелый свод, —
Там Стойкостью её именовали..
И цех, где было пусто, как в соборе,
Вновь оживал. Все снова были в сборе.

21

Все нити и лучи сходились к ней,
От одиночных маленьких сияньиц
До величавых заводских огней,
Бросавших блики на снарядов глянец.
И каждый отблеск радовал сердца
И производственника, и бойца.

22

Бывало, Муза днём, в мороз седой,
Противовесом чёрной силе вражьей,
Орудовкой, в берете со звездой,
Стояла у Канавки, у Лебяжьей
И мановеньем vareжки пунцовой
Порядок утверждала образцовый.

23

В апреле Муза скалывала лёд.
Ей было трудно. Из-под зимней шапки
Росинками блестит, бывало, пот.
Ей в руки бы подснежников охапки..
Но даже в старом ватнике — она
Была всё та же юная Весна,

24

Стремительна, прекрасна и строга,
Крылатая!.. И рядом с Музой каждый
И чувствовал, и думал не однажды:
«Чтобы вернее сокрушить врага,
Я всё отдаю, и даже бытие,
О, Ленинград, сокровище моё!»

25

Всегда, везде, в обличи любом.
К любому причисляема отряду,
Она была любовью к Ленинграду
И верою в победу над врагом,
Надеждою... Всего не перечесть.
Такой она была. Была и есть!

Глава пятая

ЗВЕЗДА НАД МИРОМ

Посвящается И. Д. С.

1

Сей сад был гордостью
Санкт-Петербурга.

Земную флору изучить дабы,
В нём были и могучие дубы,
Подобные изделиям металлурга;
И орхидеи лепестком кисейным
Касались подогретого бассейна.

2

Была в теплицах нега разлита,
Дышало отопленье водяное.
И листья пальм, как лопасти винта,
Развёртывались в неподвижном зное.
Старейшей — было двести с лишним лет.
Она погибла. Пальмы больше нет.

3

В ту ночь полубезумный садовод,
Среди обломков, бормотал: «О, боже!»
Он думал, что растение оживёт.
Иллюзия! Никто из них не ожил.
Под грудями железа и стекла
Всё — вражеская бомба погребла.

4

Но позже, в запустенье нежилом,
Когда мороз не пощадил ни травки,
Когда к эвакуации, к отправке
Готов был роз воздушный эшелон,
Сотрудники решили: «Нет, не надо.
Мы сохраним их здесь для Ленинграда».

5

И майским утром алые бутоны,
Раскрывши ротыки, сказали: «О!
Мы выжили и с нами ничего».
Но тропики, — но пальмы-лиственны...
Их листьев неживые позвонки
Шуршат, как погребальные венки.

6

Не странно ли, что здесь, где мы стоим,
В пределах Ботанического сада,
По мёртвым пальмам и живым рассадам,
Под сводами по зданиям пустым,
По клумбам, по газонам и грядкам, —
Проходит Пулковский меридиан?

7

Последуем за ним, читатель мой!
И я, как бы держась за этот обод,
Натянутый на полусар земной,
И неотлучно от меня, бок-о-бок,
Ты, мне давно сопутствующий друг,
Стремительно мы спустимся на юг.

8

На родину мою, в морскую осень,
Как бабки, потерявшие внучат,
Там волны бьются головою о земь,
Седые космы по песку влачат.
Там ненависть к врагу клубится
И смерть ему готовит в море Чёрном.

9

Пройдём с тобой, читатель, по Одессе...
Страдалец-город, где среди руин
Проклятый говор немцев и румын.
И их шинели, серые, как плесень;
Их сапоги, топчущие там
По беззащитным детским черепам.

10

Румыния, германская холопка,
Когда ты устремилась наутёк
К себе домой, по кукурузным тропкам,
Пусть каждый лист, как сабельный
клинок,
К тебе рванётся из зелёных ножен.
И никакое бегство не поможет.

11

Пусть камни, незлобивые дотоль,
Пойдут смертельным на тебя тараном.
И моего родного моря соль,
Румыния, твои посыплет раны,
Когда ты, издыхая на бегу,
Падёшь на черноморском берегу.

12

Но дальше, дальше! Как он мне ни
дорог,
Необозримой линии дуги
Он только точка, мой родимый город;
Земные расстоянья велики.
Отсчитывая градусы широт,
Вперёд, мой друг, читатель мой, вперёд!

13

Туда, в пролёт меж Кипром и Родосом,
Где пеною повис меридиан.
Где моря Средиземного экран
Тугим он как бы стягивает тросом.
Туда, где берег над водой зеркальной
Кивает нам александрийской пальмой...

14

...И очень хорошо, что Ливингстон,
Мечтавший о международном братстве,
Спит вечным сном в Вестминстерском
аббатстве, —
А то б он услышал предсмертный стон
Вееролистной африканской пальмы,
Так дивно росшей в Ленинграде
дальнем.

15

Но что такое пальмы, боже мой,
 Когда тут человеческие жизни,
 А смерть по ним осколками как
 брызнет!
 Когда тут смерч носился огневой
 По ясельным и по больничным
 крышам,—
 И счастливы тот, кто этого не слышал!

16

Когда в Едроне Гитлер воскресил
 Все ужасы невольничьего рынка,
 Где чешка, белорусска, украинка
 Едва стоят, безмолвные, без сил.
 А немка выбирает, не спеша:
 «Вот эта для работы хороша».

17

Но жаль, что не узнает Линингтон
 Всего того, что знаем мы, живые:
 Что столько стран, объединясь впервые
 (Тут дело не в сложеньи сил простом!),
 На общего врага идут одной
 Великой, справедливою войной.

18

Ещё дымится кровью русский снег,
 Ещё растут союзников траншеи.

Октябрь 1941 г. — декабрь 1942 г.

Но никогда свободный человек
 Рабом не будет с биркою на шее.
 Тулонские военные суда
 Гремят, как трубы Страшного суда.

19

Но где мы? Что произошло, мой друг?
 Мы были далеко от Ленинграда.
 Мы облетели полземли. И вдруг...
 Оранжевые смутная громада.
 Мы вышли. Вечер. Первая звезда.
 Нет, мы не отлучались никуда.

20

Луна уже отбрасывает тень.
 Снежок лежит, как белизна тетради,
 Куда мы завтра впишем новый день.
 Нет, нет, читатель мой, мы в Ленинграде.
 Мы распростимся вон у той больницы,
 Где окна переделаны в бойницы.

21

Нет в мире цели боле человеческой,
 Чем уничтожить порожденье тьмы.
 Вот гуманизм. И гуманисты — мы!

ЛЁНУШКА

Наводная трагедия в 4-х действиях

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Похлёбкин Василий Васильевич, председатель сельсовета.

Дракин Максим Петрович, он же Бирюк.

Дракин Степан Петрович.

Потапыч, балагур на старости лет.

Устя, девушка позднего возраста.

Мамаев, житель из Кутасова.

Катерина, его жена.

Лена, их дочь.

Дракин Илья Степанович, жених Лены.

Темников Дмитрий Васильевич, командир танка Т-34.

Сержант Ваня, механик-водитель при нём.

Травина Полина Акимовна, инструктор райкома, хозяйка.

Женщина в чёрном, Туркин и его жена, старуха и её внучек Донька, женщина с ребёнком, плотник, пленный, баянист, немой и другие люди из отряда «Плачь, Германия!»

Действие происходит в дни войны.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Тёплая, благополучная, с занавесками и бальзаминами на окнах изба Мамаева. Жестяной колпак висячей лампы весь свет отдаёт вниз, — потолок остаётся во мраке. Из потёмок красного угла, спрятанные в роше венчальных свечей и пасхальных розанов, сурово смотрят боги. Опершись локтями о стол, Катерина наблюдает за руками рябой и громадной Усти, которая с важностью раскладывает карты. Илья, красивый парень в военной гимнастёрке и шинели внакидку, сидит у печки с котом на коленях, чёрным, как сажа. Время от времени, повернув его голову, он щурко смотрит ему в глаза, как бы спрашивая: «Чего, чёрный, глядишь?.. скажи, что знаешь!..» В окне слабо помигивают непонятные вспышки, похожие на зарницы.

Устя (положив главную карту). Ну, ставь поллитра, Катерина. Катит твоя дочка домой... ишь, торопится. А при ей, с сердечной стороны, военный король.

Катерина. Знать, ты, Илья.

Устя. Не, то не Илья. Илья чёрный, крестовый... ишь, в ногах валяется. А этот русский, во весь рост король.

(Скинув kota с колен, Илья, похрамывая, идёт к столу.)

Илья. Где ты там русого углядела? Дай сюда. Я его в цыгарку заверну.

Устя. Не горюй. Как уйдёт она с русым, ты на мне женишься. (С полунадеждой). Меня уж никто от тебя не уведёт... Теперь глянем на сердце ей. При чём находится, обо что ударяется. (Она приподнимает карту и вдруг, спрятав её за спину, смахивает

остальные со стола). Ой, не хочу... не буду больше, не буду!

Илья. Покажи.

(Устя молчит. Илья взял её за локоть.)

Не балуй с солдатом, Устинья. Он людей убивал.

(Недолгая борьба. Разжав Устину ладонь, Илья расправляет карту на столе.)

Катерина. Девятка винновая. Какое ей означенье-то, Устенка?

(Устя молчит, потирая помятую руку.)

Илья. Отвечай старушке.

Устя (нехотя). А означенье ей — великая печаль.

Катерина. Ты по-нашему, по-русски скажи, Устенка.

Устя. Убьют у ей кого-то. В самом сердце настигнут... и убьют там.

Илья (еле слышно). Меня... или ругого?

Устя. Ай в картинку поверил, пристал. Встречай невесту-то. Уж, верно, при пороге стоит.

(Илья недоверчиво оборачивается к двери. Тягучий скрип петель, и в ту же минуту вступает Лена. Слышно урчанье отходящего танка. Спустив рюкзак со спины, она скрытно улыбается чему-то, оставшемуся за порогом.)

Катерина. Лёнушка-то наша, Осподи!

(Лена подчиняется материнской ласке. Катерина вытерла передником скупую мужицкую слезинку.)

Не во-время ты, Лёнушка. Видала зреть-то вокруг? Скоро и наш черёд.

(Дочь подняла большие ясные глаза, и, кажется, светлее становится в избе.)

Лена. Всё будет хорошо, мама. Вот, шевельнём плечами, и спадут вороги. О, Устенка забжала посидеть. (И холодное облачко скользнуло на лицо). А, и ты здесь, Илья!

(Что-то мешает им протянуть руки друг другу.)

Я думала, ты на фронте.

Устя. Жалей его, Лёнушка. Он из лаварета вырвался, на тебя поглядеть.

Лена. Он и сам мог ответить, Устя. (Заглядывая в соседнюю каморку). Папаны отдыхает?

Катерина. Ходит. Места себе не найдёт... (Беря глиняную миску с полки). Пойдём, я тебе покушать накрою. Тут у нас собранье будет.

Устя. Клуб у нас третёвось бонбой спалило. Ладно ещё ветру не было.

(И пока Катерина вытирает миску полотенцем, Устя торопится вывалить Лене весь ворох новостей.)

А в председатели нынче Похлёбкин выскочил. А братцы-те Дракины делиться вздумали. Бирюк уж в смолокурной избушке живёт...

Катерина (уходи). Прибери карты, Устенка. Отец браниться станет.

(Лена проходит по избе. Илья исподлобья следит за нею.)

Лена. На дорогах грязища... ступить некуда.

Илья. Грязища, а ноги сухие.

Лена. Меня танкисты подвезли. Нам по пути оказалось.

Устя (собирая карты). Каждый вечер мимо нас ходят. Станция там у них какая-то.

Илья. Знакомые, значит, танкисты-то!

Лена (просто). Их часть рядом с нашим общежитием стояла. И, знаешь, еду, а лес шум-ит... гневно так. Точно кулаки над головою подняла.

Илья. Та-ак... (как бы нечаянно). Кстати, забыл... как этому, русому, фамилия-то?

Лена (доверчиво). Темников... а что?

(Усмехаясь и похрамывая, Илья отходит в сторону.)

Тебя в ногу ранило, Илья?

Илья. Нет, мне в сердце попало.

(Лена недоуменно переглянулась с Устей. И только появление Мамаева выручает их всех из неловкого молчанья.)

Лена. Здравствуй, папаны. (Взяв за плечи, она вглядывается в лицо отца). Седины-ы прибавилось... и капельки в бороде!

Мамаев (сдержанно). Дождик маленько сыпет. Отучилась, умница?

Лена (весело). Вот, воевать к вам при-была. Весь техникум разъехался. Смущенный ты нынче какой!

Мамаев. Не знает разумок твой детский, какой огонь идёт, любимица.

(И, слегка отстранив дочь, отошёл. Лена искоса смотрит, как, остановясь посреди, он поднял голову к образам.)

Катерина (появляясь из каморки). Раздевайся да похлебай молочка с Лёнушкой. А там и преставление вместе посмотрите. (Дочери). За артистами поехали. (Она увела дочь).

Илья. Что там, тихо, в мире-то?

Мамаев (не прежде, чем досказал что-то богу.) Тихо пока. (Раздеваясь.) Азаровка горит. В одно пламя полыхает... ровно свеча по мертвече.

Устя (всклипнув). Господи, дай ты нам хоть минуточку отдохнуть от тебя! (Она затихает от одного взгляда Мамаева. Дверь приоткрывается, и в щель просунул лысую свою и шишковатую голову,

похожую на айву, Потапыч, мужичонко вострый, крикливый и не по возрасту подвижный.)

Потапыч (не входя). На собрание стучали. Заём будут проводить... аль обложенье какое?

Илья. Не бойся, что с тебя взять-то, голь.

Мамаев (в сени). Ноги вытирайте, там рогожка постелена.

Потапыч. Это можна-а. (В сени). Слушать мою команду. Ноги вытира-ай! (Он на время скрывается. Слышно множественное пришаркивание ног. Вслед за Потапычем, который в шутовским пением «алилуйя, алилуйя, алилуйя!» пройдя по кругу, снимает шапку перед образами и, погрозившись богам, отходит в сторону, вступают остальные и размещаются на скамьях вдоль стен. Тут баба с ребёнком, сухорукий старик, который всё мигает, старуха и её внучек Донька, стайка девчат и подростков, мужики, по разным явным статьям оставшиеся вне призыва, и другие. Потапыч успевает сказать: «Держись, мужички! Братцы Дракины пришли, значит драчка будет...» И тотчас, глядя под ноги себе, опрятный и весь алтой, входит Степан Дракин, знахарь, в круглой и рыжей, точно в иод её окунули, бороде и в сапогах с широкими голенищами, где, верно, и содержит свой коновальский инструмент. Следом и позже всех, не снимая громадной кудлатой шапки с красным доньшком, громоздко вваливается Максим Дракин, похожий на младшего брата, как отраженье его в чёрных болотных, кутасовских водах. Шопот идёт по собранью: «Бирюк, Бирюк, пришёл...»)

Донька (не в меру громко). Баушк, верно это... будто у ево в шапке сатана живёт?

Старуха (легонько замахиваясь). Шши ты, Донька!

(Бирюк медленно оборачивается к мальчику. И когда, не смея вступить за маленького, люди ждут зла от этого лесного человека, он гладит голову ребёнка и, со всех сторон показав ему шапку, проходит в угол. Тем временем Степан Дракин как бы невзначай оказывается возле сына.)

Дракин. Илюша... а, Илюша?

(Тот знает, о чём будет речь, и молчит, барабанив пальцами в стол.)

Ты, что ль, аржанухи мешок нищим кинул?

Устя. Он не нищим, он сироткам отдал, Степан Петрович.

Илья. Ты бы глянул на них. С утра, босеньки, из войны идут. На них и глядеть-то — кровь из глаз течёт.

Дракин. Всемирной нишшеты мешком муки не покроешь. (Ярсь на молчанье сына.) Я её горбом, горбом я её, эту мучку. Я табун коней за неё перелечил. (Ударив картузом в пол). Судиться буду с тобой, Илюха. Разорил ты меня...

Устя. Люди слушают, Степан Петрович.

(Подняв картуз с йола и что-то ворча, Дракин отходит в сторону.)

Потапыч. Эх, что с людьми деется! (Сопровождая речь наглядным жестом). Глянешь на иного — всё в порядке: и волос растёт, и картузом сверху прикрыто. А заместо рожки — рукомойник глиняный висит, пра!

(Все смеются его ужимкам.)

Дракин. Береги яд, змея. Блох травить.

Баба с ребёнком (закачивая грудного). Уж начинали бы. Печка у нас топится.

(Тогда, поглаживая богатые усы и поскверкивая новенькими галошами, быстро входит председельсовета Похлёбкин; за ним, в перешитом из шинели пальто с костяными пуговицами и в чёрном беретике — Травина. Деловитым жестом Похлёбкин требует себе места у стола.)

Похлёбкин (Усте, с важностью). Иди, девушка, гостей покарауль.

(Устя уходит. Похлёбкин раскладывает портфель на столе.)

Пожарные дозоры проверял, Мамаев?

(Тот утвердительно кивает в ответ.)

Тогда откроем, значит. Товарищи, время военное... не будем, значит, курить.

(И, шумно обрадовавшись напоминанью, мужики закуривают. Илья рвёт косою лоскут газетки, Потапыч со словами «вот это можна-а...» достал из-за пазухи носогреечку. Кашлянув разок, Похлёбкин и сам вынул из кармана тоненькую мятую папирску, подул в мундштук и сунул под усы. Он братски закуривает от одной спички с Ильёй.)

Товарищи, приехавший новый инструктор из райкома... (Пыхнув дымком). Извиняюсь, как всё-таки вас кличут?.. опять в суматохе из башки вылетело.

Травина (улыбнувшись). А кличут меня Полина Акимовна Травина.

Похлёбкин. Так вот, указанная... (недоверчиво покосясь) Полина Акимовна доложит вам потом, как и что, после чего состоится выступленье гостей. А покада кратенькое слово для доклада предоставим, как председателю, мне. (Поглаживая портфель). Итак, что мы имеем на текущий момент, товарищи? Отвечаю на заданный вопрос. На текущий момент

(ткнув перстом в окно) мы имеем пылающую Азаровку. Горе и слёзы мужицкие, вот какую картину мы имеем на текущий момент, дорогие мои товарищи. А это есть верный показатель того, что главный волк, наточив зубы на мелких державках, припожаловал к нам с волчатками за свежатинкой. И это я вам сейчас, как дважды два, докажу...

(Он раскрывает портфель. Мужики сокрушённо вздыхают и кашляют.)

В самом деле, товарищи! Ещё сам Фридрих Энгельс указал нам на всемирной заре человечества... Где это у меня тут? Чорт, точно провалилось куда. Повторяю, на заре всемирного трудового человечества...

(Он шарит в портфеле какой-то заветный листок, сердится и не находит. Травина неодобрительно качает головой. Лёгкий ропот идёт по собранью.)

Потапыч (нараспев). Проки-мен глас седьмы-ый...

Мамаев. Имей бога, Василь Васильич. Жжёной человечиною пахнет, а ты всё от книги проповедуешь.

Похлёбкин (настойчиво продолжая поиски). Не будем, не будем, товарищи. Это есть обывательский разговор. Душевно убеждаю вас, как председатель, давайте не будем!

Дракин. Он теперь не кончит, пока всю портфель не прочтёт.

Похлёбкин. А ты у меня, знахарь, помолчи. Недозволенной наукой кто лечит? Бабу Аксиною кто вылечил?.. Ктё в Питере лихачом всяких министров катал? Отвечай на заданный вопрос, кто?

Илья. Сократи его, Полина Акимовна, а то мы больно сердимся.

(Травина шепчет на ухо Похлёбкину. Тот зловеще щёлкает замком портфеля.)

Похлёбкин. Хорошо, Похлёбкин кончил.

Травина (выступив вперёд). Так вот, хозяева. Армия уходит. Старый русский враг у ворот стоит. Решайте, что делать станем. Кто просит слова?

(Молчание. Похлёбкин торжествующе смотрит на неё. Два глухих, как бы в большие литавры, разрыва. Втянув головы в плечи, мужики хмуро поглядывают на потолок.)

Стучатся! Отпирать им двери-то... или повременим?.. Как скажете, хозяева?

Похлёбкин (подсказывая собранью). Можно и в болотину уйти да оттоль злодеев наших тревожить.

Потапыч. Во-во, там теплы-ынь. Залез по шейку и сиди. (Вскочив, горячо). Уж инева по утрам-те. Избы-те на закорках унесём?

Травина. Армия уходит, но землянки остаются. (Помолчав). Кто ещё хочет ска-

зать? (Бирюку). Кажется, вы... руку поднимали.

Бирюк. Не, это я почесался. Чёво, гут и без меня, эва, умы пресветлые сидят.

(Тишина, потом топот в сенях, грохот опрокинутой бадьи, и бегом возвращается Устя.)

Устя. Артисты приехали...

(Она вклинивается в стайку девчат. Собрание волнуется. Ближние засматривают в черноту сеней, но холод сочится к ногам, и Катерина закрывает дверь.)

Травина. Ну, Похлёбкин, пускай они пока на гостей посмотрят, а мы... Там скотину угоняют. Взглянем, попоили ли в дороге.

(Поняв друг друга, они уходят. Наступает некоторое оживление.)

Баба с ребёнком (сторожно, оглянувшись на дверь). Сказывали, они мужиков-то не трогают.

Мамаев. Ясно: поползатъ пред ими, — так и не трогают. Кто ж свою скотину лупит? С неё и шкура, с неё и мясо.

Потапыч. А может, и стороной пройдут. Бонопарт-ге, как шёл, обыкновенно, трёх полковников послал: «Сыскать мне, Кутасово село. Жалаю видеть дураков, что... (метнув глаза на Дракина) волков посреде стада дёржат». «Можна», — полковники отвечают. Семь дён по болотам нашим ползали, кажный листочек подымали, мундиры промочили, Кутасова не нашли.

(Никто не смеётся на этот раз.)

Споём, что ли? Запевай, Доня, развесёлю.

Мамаев. Брось клоуна ломать. Потапыч. Болтает-болтает, язык за уши заплетается.

Старуха (крестя зевок). Ох, Господи. Сидим, как грибы, и артистов не видать.

(Дверь открывается. Нестарая, худая очень, со строгим, даже отречённым лицом женщина в чёрном, на брови приспущенном платке, помогает переступить порог высокому благообразному старику с каким-то снежным покоем в лице. «Тут порожек, дедушка, не ступись». На его штопаном пиджаке, одетом поверх белой, косой, со стеклянными пуговками, рубахи, в ряд — три георгиевских креста и орден Красного Знамени в пунцовой розетке. С другой стороны гостя поддерживает крохотная, в больших лаптях старушка, — и ветром её повалишь. Мужики пристально и недоверчиво взирают на это шествие нищих. Достигнув середины избы, гости кланяются; старика приходится потолкнуть при этом в спину.)

Женщина в чёрном (тихо). Дайте тубареточку, граждане. Ноги у ево плохие.

(Устя робко ставит перед ними табуретку и стремглав возвращается на место. Приехавшие женщины усаживают старика. Устремив голубые, точно утро в лесной чаще, глаза куда-то в матицу, он как бы слушает птиц милой родины. Чёрная гостья говорит почти без выраженья, от великой скорби или усталости.) Мы являемся, граждане, Колычевского района, села Малые Грачи. Вы нас не бойтесь, мы ничего не просим. Мы просто так... Нам мир повелел: «Вам теперь, сказано, жизни нет. А всё идите, леса и пустыни наскрозь, поколе в крайние льды не упрётесь. Покажите, сказано, раны свои русским людям. А уж как они порешат, так тому и быть».

Донька. Баушк, они настоящие, а?

Старуха. Шки-ты!

Женщина в чёрном. Сельцо наше, граждане, ничем не знаменитое. Сорок дворов было, как немец пришёл. И мы горем своим не выставляемся. У иных уж моря наплаканы... хошь кораблики пушай! (Её голос дрогнул; закусив губу, она помолчала, пока не справилась с собой). Тут пред вами находится русский житель, герой своей жизни. Фамилия ему Туркин.

(Не отрывая глаз от старика, Бирюк поднимается. Тяжелое мужицкое раздумье бороздит его лицо.)

Старушка. А иди поближе, миленькой. Глади на нас, что получилось. (Беспечально и разведя руками). Всё у нас тут. Батожка не осталось собачку отогнать.

(Бирюк недоверчиво отступает.)

Женщина в чёрном. При нас имеются карточки, за годок в газету смышлись. (Она достаёт их из глубокого кармана — три, обёрнутые в красный, как кровь, платок). Тут он у себя на пасеке стоит. При нём внучки Лида и Маня... Берите, берите, граждане, кто желает взглянуть для интересу. С платком берите!

(Карточки в молчании идут по рукам. Бирюк вглядывается в старика, как бы сравнивая портрет с оригиналом.)

Бирюк (неуверенно, Туркину). Слушь-ка, отец... ты не Филипп Демьяныч будешь... а? (И вдруг, припав на колени, чтоб заглянуть в опущенное теперь лицо старика). Эй, взводный... Это я тут, Максимка Дракин. Ты не смотри, что в бороде, а это я, я? И шапка, эва, что казак-то подарил...и дырочка в ей незащитая, держи! (Взволнованно, обёрнувшись к своим). Он это, он и есть,

Туркин Филипп. Служили месте... Осподи, история какая!

(Ребячливая нежность звучит в голосе Бирюка, когда руки гостя беспamięтно ощущают бороду его и шапку.)

Помнишь, Демьяныч, как Перемышь-то брали в пятнадцатом? Как курей-то шрапнелью шарахнуло, а одна, эка, личко со страху и родила... помнишь?

(Молчание. Распрямляя огромную спину, Бирюк переводит взгляд на старушку.)

Чего он у тебя, бабка, своих-то не признаёт? Он у нас великий стрелок был. Муже крылышко мог отстрелить... без остатнего повреженья. Совсем глумной стал.

Старушка (с доброй и лучистой улыбкой). А он, миленькой, чегыре часа в колодце, под мёртвыми, лежал. Доверху было у нас насовано. Спасибо солдатам нашим. Из колодца его, миленькой, достали.

Устя. Знать, тьма ему очи-то погасила.

Мамаев (крестясь). Эко злодеяние, господи!

Женщина в чёрном (строго). Граждане, нам на разговоры время не дадено. Росея-то больно велика... Имеете внимание, граждане!

(Бирюк пьтится. Туркин недвижим, но по мере того, как гостья произносит родные его слуху слова, еле приметный блеск родится в незрячих его глазах.)

Филипп Демьяныч, тут пред тобою граждане сидят, правды ждут. Расскажи им, как ты за отечество грудью стоял, поколе в силе находился. И как Грачи твои чёрным пеплом разлетелися, скажи им. И куда ты внучку свою, мёртвенькую, три дни на спине ташил, пока не почернела. И темно ли было в колодце твоём... Всё объясни им, не утаивай!

(Голос её звенит, как тетива, спустившая стрелу. И, эхо всемужицкого горя, единодушный вздох вздымается и замирает в избе.)

И ещё сознайся людям, Туркин. Может, ты жизньнюю свою обидел народ ерманский, что он железо поднял на тебя, как на пса? (Вся дрожа) Встань, перед родинной стоишь, Филипп Демьяныч!

(Старик поднимается, одергивая на себе рубаху. Невнятное клокотанье слышно в его груди. И вдруг, точно подломившись, он валится ничком перед собраньем.)

Туркин. Заступися, мати русская земля!..

(И когда его белая борода касается пола, всё собранье, как по команде, поднимает-

ся. Слышны возгласы: «Аль у их в Германии плакать некому?», «Что ж они делают-то с нами, изверги!» и один, Устин, навскрик: «Душить их, душить, всю серёдку из их вырвать...» Все стоят — прямые, с суровыми и торжественными лицами, новорожденные.)

Старушка (бабам). Не плачьте, миленькие. Через слезу гнев утекает. А вы глядите на его, силами запасайтесь...

Бирюк (не смея прикоснуться к лежащему). Филипп Демьяныч... Демьяныч! Что ж ты во всех крестах-то перед нами. Чать не черти мы лесные, чать люди... (Пряча заплаканные глаза, Устя и Лена поднимают старика. Прежний беспмятный покой возвращается в лице гостя.)

Женщина в чёрном (поклонясь в пояс). Теперь прощайте, граждане. Нет у нас больше слов, одни угольки остались. Учитесь на нас. (Старушке). Давай пока тулупчик, не остудился бы. Где там карточки-то наши... спасибо. (Потапычу, подвернувшемуся на глаза). Узнай насчёт лошадки, дяденька.

Потапыч. Можна-а. (Всем, с важностью.) Эй, жители, кто вчера в Путилино ездил?

Устя (утирая лицо). Я, Потапыч, ездила.

Потапыч (подняв палец). Не реви. Марш за мной. Аллюр три креста.

(Они уходят за старушкой. И пока чёрная гостья, бережно завернув в платок, прячет карточки на дно кармана, старушка возвращается с одеждой Туркина. Гостей окружили полукольцом: Мамаев держит короткий латаный полушубок, Катерина — старую военную фуражку и дырковатую шаль, а Бирюк — детский шарфик с пёстрой бахромкой — видимо, даяния добрых.)

Катерина (кланяясь). Может, закусите... что осталось.

Старушка (повязывая шалью старика и высвобождая бороду наружу). Неколи, миленькая, сроку нет. Поедем людей будить.

Мамаев. Счас ехать-то хорошо, светлынь. Пожары кругом.

(Возвращаются Потапыч с Устей, одетой в брезентовый, с капюшоном и подпоясанный верёвкой, плащ.)

Потапыч. Ну, жизни своей ерой, сбрую тебе отыска-али... С бубенцом! На всю Русь прозвонит. Одолжи кучерёнку кнута, Мамаич!

Мамаев (подавая Усте кнут). У опушки, где селезни, силы-то подкопи да в нахлёт махани: стреляют.

Устя. Слава те, еживано.

Бирюк. Эй, может, и не встренемся... Демьяныч!

(Но Туркин не отзывается на зов друга, и руки Бирюка опускаются. Все провожают отъезжающих стоя — за исключением Дракина: явно потрясённый зрелищем народной беды, он сидит — локтями в колени и закрыв руками лицо. Катерина с краюхой хлеба бежит вослед ушедшим. В открытую дверь слышны — напутствие чёрной гостьи «обороняйтесь, родные, обороняйтесь...» и нещадный дребезг бубенца: Устя стегнула лошадей. «Э-эх ты, горе моё с колокольчиком!» — произносит Бирюк и надевает шапку. В сопровождении Похлёбкина возвращается Травина.)

Травина (обводя всех глазами). Ну... побеседовали, хозяева? За вами слово теперь.

Илья (решительно становясь с ними в ряд). Кто с нами, на жизнь и смерть, чтоб Германия плакала... называйся!

(Они стоят трое, на отлёте, и взглянуть на них сейчас, значит бесповоротно присоединиться к ним.)

Догорает Азаровка!

Похлёбкин (доставая бумагу из портфеля). Кстати, и в ведомость оформим.

Травина (вполголоса). Эти вещи, Похлёбкин, не записывают.

Илья. Ты, Василь Васильич, лучше на пальцах загибай.

(И опять пожалов плечами, Похлёбкин хлопнул портфель.)

Мамаев: Во-от!.. и начинай с хозяев. Мамаев с дочкой.

(Он обнял подошедшую к нему Лену. Со словами — «И я, и меня вставь!» — несколько человек переходят на сторону добровольцев. Донька тоже перебежал к ним, и бабка, поднявшая было руку, уже не успела произнести своё обычное — «Шши-ты!»)

И Устю! Вековухе ничего не заказано. И плакать по ей некому.

(Ещё двое-трое присоединяются к этому ядру будущего отряда. И вдруг Похлёбкин, зорко следивший за течением собрания, резко поворачивает голову в сторону, где, за спинами односельчан и под шумок, Потапыч пробирается к выходу.)

Похлёбкин (ударив, как бичом). Стой... Потапыч!

Потапыч (вздвигнув и не сразу). Можна-а...

(Среди расступившихся людей он виден весь, оторопелый и жалкий, застигнутый на месте.)

Похлёбкин. Ай в гости к немцам собрался, дружок?

Потапыч (глядя на лапти себе). Обыкновенно... тёлочка у меня непоена стоит. У меня и родни-то на свете одна эта тёлочка. С ей и посидишь, с ей и душу отведёшь, пра-а...

(Виноватый смехок вырывается из его груди. Собрание безмолвствует, -и он делает отчаянную попытку отбиться от этого молчаливого презренья).

Чево, ну чево! Какой я вояка? У меня сердце в час ударяет пять раз, а ему положено семьдесят. Видите, дело какое...

Илья (хлёстко). Трус ты, дядя... старый плешивый трус. И дурак к тому же.

Потапыч. Чево, у меня в голове-то, как в банке золота, во! (Воинственно). Мы его и тут, немца-то... пускай придёт. Харю-то наклонится помыть, а мы его, обыкновенно, по шее-то топором. Задремит, а мы ему в глаза-то лучинкой!

Дракин (насмешливо). Эдак-эдак, они этого страсть не лютят. (Поднявшись, сурово и гневно). Росея тебя кормила - не выкормила. Власть советская двадцать лет с ладошки тебя питала... всё забыл, стервец? Ай у новой-то коровы вымя сытнее, а?

Травина. Не задерживайте его, друзья. Тёлочка у него. (Потапычу, спокойно). Идите, куда вам надо, гражданин.

(Дверь Потапыч открывает медленно, в надежде, что его вернут, прикажут, остановят. Великое молчание. Он побито обернулся.)

Потапыч. Тёлочка-то, ведь она коровкой будет, точна. А то я и останусь, граждане, а?

(У всех на лицах кривая усмешка. Дверь закрывается нестерпимо медленно. И тогда, не помня себя, Дракин кидается к сенам.)

Дракин. Погоди, как пятки-то прижгут, - вернёшься, собачья радость!

(Рот его перекосило, он задохнулся. Илья торопится успокоить отца. «Папаша, успокойся, папаша... нас и без него хватит!» В одышке, раздёрнув ворот рубахи, Дракин обернулся к Похлёбкину.)

Заместо прсхвоста пристегни меня, Василь Васильич. Степан Дракин меня зовут.

Бирюк (в полной тишине). Предлагаю не принимать Стёпку Дракина.

Травина (с острым интересом). А почему бы так... поясните, товарищ?

Бирюк (угрюмо, поглаживая край лавки, на которой сидит). Больной он. Грыжа у него.

(Голоса: «Пожалел братана-то...», «явственно, однех кровей!»)

Похлёбкин (жёстко). Ничего, Бирюк, нам не на парад ходить. Помалкивай, и с правильных граждан пример бери!

Дракин. И ещё дивуюсь я на вас, козьява. Боевать собрались, а жевать... елову шишечку станете? Кланяюсь харчами, чем могу.

(Вышагнув вперёд, Бирюк кладёт руку ему на плечо.)

Бирюк. Ты что, что задумал... каторжный?

Дракин. Не жалея, всё одно сгорит. Пора нам человеками быть.

(Но Максим не отходит, и Степан сердится.)

Уйди с путя моего, Максим. Не хочу в такой день братнюю кровь лить. (Стрихнув с плеча его руку). Страдаешь, что не тебе достанется?

Бирюк (отойдя). Предлагаю ничего не брать от Стёпки Дракина.

Илья. Не мешай, дядя Максим. Отец дело говорит. (Отцу). Давай, папаша. Пора тебе, пора. Встань во весь рост перед людьми!

Дракин (невозмутимо). Вношу на мирское дело муки сеяной три мешка да немолотого четьре центнера. Капустка тоже есть, отдаю вместе с дубовой кадушечкой. Боровка я в заговены засолил, да повял малость...

Похлёбкин. Ничего, в мужицком брюхе долото сгниёт. Давай соды!

(Бирюк раскатило смеётся: «Вали, куча мала... а поверх он сам сядет!» Похлёбкин сердится.)

Лишаем тебя голоса, Максим Дракин.

(Поднявшись, Бирюк вызывающе смотрит на Похлёбкина: не уйти ли, дескать.) Не задерживаем!

(Бирюк отправляется к выходу. Голоса вслед: «Злоба какая!», «Бирюк, он Бирюк и есть...», «Шут с ним, посла сосчитаемся!», «Потапычев приятель...»)

Донька (вслед). И шапка-то на ём, как у главореза какого!

(Бабка его подслеповато шарит вокруг себя внучка, которого ей уже не достать.

Бирюк ушёл.)

Дракин (выждав тишины, ровным голосом). Ещё ядрицы вношу четьре мешка с половиной, а половинку старухе оставлю. Всё-таки - венчаные... Картошка не копана, корову я продал. За корову деньгами вношу три тысячи...

(Одобрительный возглас: «Эк его горем-то обожгло!») И по мере того, как он вываливает перед миром свои сокровища, пустеют его глаза.)

Также отрез вношу синего губернаторского сукна, с прикладом, как есть. Ещё имею при себе часы анкерного хода. Получено за отличную езду, в городе Санкт-Петербурге в девятьсотосьмом году... (Он долго отцепляет их, точно снимает с самой души, и, вдруг вырвав с лоскутком и наотмашь какое-то зацепившееся колечко, кладёт на стол.) Прошу принять. Ты загибай на пальцах-то, Василь Васильич!

Похлёбкин (зачарованный этим размахом, с чувством). Вот видишь... вот сняли мы тогда жирок-то с тебя, Степан Петрович, а ты через посредство этого человеком стал. Во всё вникаешь, очи имеешь открытые на картину людского горя!

(В порыве сердца он даже руку было протянул для жеманья. Тот как бы не заметил его движения.)

Дракин (отечески посмеиваясь). На тебе калошки, сынок, — всё собранье в их видать. А людей в дырках да в лапотинко на болотину посылает. (Мужественно и сухо). Вношу сапоги яловые с новыми головками. Да ещё пару хромовых, женихом носил. Да ещё дёржанные, резиновые, выменял надясь... отдаю. Да ещё...

(Голоса: «Ладно, хватит, дядя Степан. Чего ж догола-те раздеваешься!», «Не срами нас, Дракин!»)

...да ещё полсапожки новые, старухины. (Сыну, который блестящими глазами, не узнавая, смотрит на отца). Не жалеи, Илюша: куда ей! До Господа-то и босишком недалеко, добежит. Ну... пегушок ещё у нас остался. Пускай под окошком поёт, птичка божия. (Чеканно) Можете получить Василь Васильич. Местожительство имею — четвёртый дом от пруда, под осокорем. Теперь пойду дому поклониться последний раз. С приветом — Дракин!

(Среди благоговейного молчания он с достоинством надевает картуз. Следуют два глухих разрыва и сразу — гуденьё взмывшего в небо самолёта. Красноватый отсвет ложится на плечи сидящих у окна. Катерина выглянула и, по-мертвевая, привстала.)

Катерина. Горим... Опять бомбы горючие скинул.

Травина. Потом, старик, дому поклонисься. Людям помогай!.. На улицу, товарищи!

Похлёбкин (уже с порога). Сбор у конюшен внизу через двадцать минут. За мной..

(Изба пустеет. Из чужих только Илья в нерешительности стоит теперь посреди избы. С улицы приглушённо доносятся — мычанье скота и пожарные крики: «Багры давай, голова...», «Коней, коней отводи!»

Слышно, как, присев на ларе в сенцах, баба закачивает плачущее дитя. В эту адскую мешанину звуков вливается скрежет бредущего вдоль улицы самолёта. Короткая, с низкого захода, гулаёмная очередь. Где-то тоненько звенит стекло. Лена закрывает дверь, шум стихает.)

Мамаев (очень волнуясь). Ну, соберай нас, мать. Чего не хотели, то и придвинулось.

(Он уходит с женой в каморку. Илья делает шаг к двери, — Лена берёт его за руку.)

Лена. Куда тебе, хромому!

Илья. Уж подживает. Плясать могу.

Лена. Посиди со мной минуточку... словом не обменялись. О чём задумался?

Илья (неохотно). Так. Вдовой тебя делать не хочется. (Горько и убеждённо). Но что бы ни случилось — верь, Лена: ты мне жизни дороже. Прощай раскройся, и лягу мостком поперёк... И ты по мне ступай, и ничего не бойся.

Лена (неумело ласкаясь к нему). Ты хороший, ты лучше всех.

Илья. А тот... русский?

Лена (искренне). Что мне русский! Два разка и встретились, а с тобой... Помнишь, как в лесу заблудились, а ты за плечи обнял и вёл меня. Сквозь ночь, как в сказке. И звёзд в небе было, как дней впереди. Мне десять, тебе двенадцать едва пробило... (Доверчиво) Странно: с тобой как-то тревожно всегда, торопиться куда-то надо, а с ним...

Илья. С кем это?

Лена. С этим, с Темниковым... как на горе стоишь. Спокойно, и воздуху много, и лететь хочется. Отчего это?

(Он собрался ответить, она зажала ему рот ладонью.)

Погоди, в сенях скобку шарят.

Илья. Сиди, никого там нет.

Лена (трепетно, как во сне). Нет, я знаю. Пусти...

(Она движется к двери и открывает её. В сенях стоит высокий, в синем комбинезоне и кожаном шлеме танкист. За расстёгнутым воротом видны отличия лейтенанта. Не двигаясь, опустив руки, они смотрят друг на друга. Потом, чуть смутясь, гость снимает шлем и проводит рукой по русым, слипшимся волосам.)

Лейтенант (улыбаясь). Вот... заехали воды напиться, напоследок. Жарко...

Лена. Да... сегодня жарко. Есть молока... хотите?

Лейтенант (глаза в глаза). Нет... воды.

(Илья сердится. Ему понятно, что этот незначущий диалог — только оболочка других, из сердца в сердце, произнесённых слов. Лейтенант опускает взгляд и,

точно зовя на помощь, оборачивается лицом в сени).

Эй, Ваня... тут вода имеется знаменитая... Заходи!

(Входит другой, в чине сержанта, коренастый, с озорным и слегка закопчённым лицом.)

Сержант (про лейтенанта). Ни в один дом кроме твоего не заехал. Видать, здешняя вода вкуснее. А ну, попробуем... Ковшичка не найдётся, гражданочка?

(Лена подаёт ковш и снимает крышку с ушата. Сержант пьёт с видимым наслаждением. Взяв с полки миску блинов, Лена держит её в руках, наготове.)

Хороша-а, сытна земля родной водица. (Заметив угощение Лены). Извиняюсь, танкисты не закусывают!

(Вытирая чёрные свои усы, он передаёт ковш лейтенанту. Илья, похрамывая, приближается к ним.)

Илья. Это вы, значит, на такси тут... извозчиками работаете?

Лейтенант (оторвавшись от ковша). Про что это он, Вань, балакает?

Илья (упорно). Я спросил... это вы на боевой машине барышень по домам развозите?

Сержант (Лене). Интересный товарищ. Смешное говорит, а сам не смеётся.

Илья. Я когда засмеюсь-то — со страху помрещу.

Сержант (подняв палец). Сурьезный деятель. Если и воюешь так, то молодец. Как звать?

Лена. Это Дракин Илья, мой... знакомый.

Сержант. Илюша, значит... подходяще! А я Ваня. Так и зови меня, я простой. А это командир танка моего.

Лейтенант (кивнув). Темников.

Сержант (Илье). Не слышал? Глухая ваша сторона, и гром до вас не доходит. (С ударением) Герой Советского Союза, Дмитрий Темников.

Лейтенант (дружественно, Илье). Это просто так, звание такое. Мы все — солдаты.

(Покусывая губы, Илья отходит. Из коморки появляется Мамаев, уже одетый в поход. Сзади Катерина несёт корзину с провизией.)

Лена (со смущением, про гостей). Вот... напиток зашли.

(Стоя рядом, плечом к плечу, танкисты улыбаются, и это получается у них привеливой всякого поклона.)

Мамаев (со стариковской тоской). Покидаете, сынки?

Лейтенант. Ничего, там всё минировано. Раньше утра не взойдут... (Улы-

баясь) Что смотришь? Понравился я тебе?

Мамаев. Хороший, видать. Что будет-то, скажи!

Сержант. А ты взглядишь в него хорошенько. (Постучав в грудь Темникова). Слышишь, сталью звенит. Этот человек и танк его из одного мартена отлиты. Найдётся сила в мире такого опрокинуть?

Темников (сердясь). Брось, Ваня... не люблю, брось.

Мамаев. Не тебя, сынок, спрашиваю. Сержант. Э, кого огнём в бою спаяло, в тех и мысль одна бежит. (Задоря) Сказать им, Дмитрий Васильич, про что думка твоя сейчас?

Лена (поспешно). Не надо! Зачем вам это, не надо...

(Она оборвалась, поняв, что выдала себя с головой. Темников опустил глаза. Все заметили смущение Лены.)

Мамаев. Образá, мать.

(В молчании Катерина поднимается на лавку опрavit лампаду.)

Илья. Да, глухая наша сторонка. (Вымещая досаду, про бога) Он же бьёт, его же маслицем потчуют.

Мамаев (степенно). Не трожь его. Он в избе мене твоего места занимает.

Илья. Покланялся бы, чтоб дочку твою от великой печали упас. (Зловеще глядя на Темникова.) Уж, может, под окошком стоит судьбица-то!

Мамаев (не понимая значения его намёка). Я доли людской не бегу. Но попрошу, как приступит, и он мне не откажет.

Илья (дерзко). Аль ещё не приспичило?

(Стук в окно. Мамаев уходит в сени. Сержант, с усмешкой наблюдавший эту сцену, касается локтя Темникова.)

Сержант. Поехали, Дмитрий Васильич. А то гражданин нервничает.

Темников (Лене). Спасибо за воду. Никогда не пил такой.

(И опять они смотрят друг на друга долгим взглядом. Темников надевает шлем. Свидание кончилось. Гости ушли.)

Лена всё смотрит им вслед).

Илья. Одевайся, танкистка. Мать с одёжей стоит.

Лена (вздвонув). Вот видишь, они и ушли. Не дуйся, Илья. Кончится война, вернусь учительницей, ты станешь агрономом... будем жить. И как ценить станем всё! (оглянувшись на дверь). Давеча ехала — листья последние летят... и каждый, как родного в дальнюю разлуку, провожала. Прощайте до весны, милые! (тряхнув головой, весело). Мы даже и не вспомним о нём никогда. Ну, давай руку...

Мамаев (возвращаясь). За нами приходили. Прощайтесь.

(Катерина обнимает дочь; долго смотрит в лицо ей, зажмурится и опять посмотрит. Мамаев пожал руку жены; не обниматься же на людях!)

Всего не перескажешь. Присматривай!.. Присядем.

(Все присаживаются на долю минуты. Илья закуривает при этом. Слышен гул проходящей за окном толпы.)

Пошли!..

Катерина (низко кланяясь). Где ни придётся лечь костям моим — навещайте.

Мамаев (сурово). Как бог даст.

(Все ушли. Лена задержалась на пороге.)

Лена. Мама!.. пойдём с нами, мама. Что ты здесь одна останешься?

Катерина. Нет, Лёнушка. Я тут каждую половичку в лицо помню, по голосу признаю. Здесь я плясала, как замужшла. Отца тут на войну провожала. Тебя там, под окошком, родила... (И с суровой признательностью она обводит глазами эти места главных событий в её жизни) Ступай своим путём, солнышко!

(Лена ушла. Катерина поправляет сбившийся половичок, привёртывает фитиль в лампе и, прямая, бесстрастная, садится у стола.)

Уголёчек останется, и того уголёчка не спокину.

(Песня за окном стихает. Ярче горит лампада, освещая тёмное, ночное лицо бога.)

Конец первого действия



ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Пять крутых ступенек сводят из наружной траншейки сюда, в просторную землянку с низким накатным потолком. Налево вверху полуокно, полуамбразура, в которую смотрит ночь. Почти готовая дверь у входа в груде свежих стружек; дверной проём временно завешен трофейным брезентом с косою надписью: Reichspost. Чёрные готические буквы спорят в чёткости с белым шрифтом боевого кумачёвого лозунга, свисающего драпировкой со стены. Круглая, из бензиновой бочки и с походным котелком наверху, печка топится на переднем плане; бок её красновато светится в темноте. Справа нары в два яруса, слева — простой, ниже обычного, стол с чурбаками вокруг вместо табуреток и скамьёй по стене. На столе хлеб и, с краю, сделанная из маслёнки, пылает копилка. Положив лицо в ладони, Лена, не мигая, смотрит на высокое жёлтое пламя. Слабо слышна гармонь, даёкис паровозные гудки, и порывами сочится осенний холодок; пламя гнётся, и колеблется полотенце на верёвке, протянутой поперёк землянки. Лене холодно; она встаёт подкинуть в печь поленце. Падает железная, приставленная сбоку клюшка, и тогда приподнимается Устя, спавшая на соломе под пёстрым лоскутным одеялом.

Устя. День уж, аль ночь?

Лена. Вечер, спи. Илья зайдёт, когда нужно. Ты спи.

Устя (потягиваясь). Что же это случилось-то мне? Хорошее такое...

Лена. Хорошее, а забыла.

Устя. Не-ет... (Закрыв глаза, чтоб увидеть ещё раз.) Знаешь, будто иду я в крутую гору, высоко-высоко. И всё цветы кругом, краси-вые... Каких и на свете не бывает... Только без запаха. И будто, и не рябая я нисколько. Лё-ёгкая, в подвенечном платье иду... (строго) Ты не смеёшься? Сейчас надо мной нельзя смеяться.

(Улыбаясь, Лена заплетает самый кончик длинной её косы.)

И вот уж всё сокрылось... и гора, и облачки, а я всё иду-у. И только бареточки на мне, чёрненькие, поскрипывают: скрип да скрип... К чему бы это, Лёнушка?

Лена. За счастье бьёмся. Значит, я счастью, Устя.

Устя. Иду и радуюсь, а чему — не знаю. И спросить не у кого. Ни мамёнки у меня, ни милого дружка... Ты не верь, что про меня плетут. (Стыдась и еле слышно) Я ведь девушка... никого ещё не обнимала. Кому я нужна... такая! (Выставив руки, точно видит их впервые) Эва, какие лапищи...

Лена. А как ты ими часового-то задушила: пригодились, значит. Я тебя и на

признала тогда: словно рысь, кинулась. Как ты его разглядела? Ведь тьма была.

Устя. Не знаю. (Усмехнувшись) И не крикнул, как я его обняла. Только затрепетала весь. (Помолчав) Утром пошла взглянуть — высокий, лежит, с усиками... подлец.

(Она поднялась — сильная, размашистая, прежняя. Прижав каравай к кофте, под которой проступила могучая грудь, она отрезала домот и крупно посолила.

(Лена смотрит на неё, любуясь ею).

Может, и нынче женишка себе впотмах нашарю. В клочья... изорву!

(Откинув занавес, Илья всматривается в сумерки землянки. Оробев, Устя опускает руку с хлебом.)

Пора нам, Илюша?

Илья. Не пора, но скоро. За ужином небось не ходила?

Устя. Принесла, на печке греется. Уйти мне, Илюша?

Илья. Там Ефим ногу распорол. Спросишь у Похлёбкина, кто с нами третий пойдёт.

(Устя ищет себе накинуть какую-нибудь одежду, и всё попадает не то.)

Тебе и пробежать-то десять шагов.

(И Устя ушла, как была, с непокрытой головой.)

Лена. Зачем прогнал? Она тебе сердце своё под ноги стелет.

Илья. Всё равно ей девать его некуда! (Подойдя вплотную). Ну, награди меня за то, что будет.

(Лена отступает, пугаясь его).

Сейчас пойду поезд немецкий в преисподнюю спустать.

Лена. А мы с Устей третьего дня ходили... Ну?

(Он порывисто обнял её. Лена отбивается, как может.)

Не надо, несчастье у людей... Не надо, нельзя.

Илья (глухо). Всё можно. Ночь на земле.

Лена. Не хочу. Пусти. Укушу тебя.

(Илья разжал руки. Лена отошла, содрогаясь.)

Лучше дверь навесь, как вернёшься. Мёрзнем с утра.

Илья. Не вернусь я, Лена. Вот, закрою глаза и вижу, как лежу один, в росе, под насыпью. И птица ночная мне на лоб садится. Лапочки у ей холо-одные. Скажи... любишь меня?

Лена (шагнув к двери). Выпусти. Бойсь тебя.

Илья. Не выйдешь, пока не скажешь. В глаза говори: любишь?

Лена. Я не могу так, вслух, Илья. Это говорят на ухо, нежно. Это один раз в

жизни говорят... Ну, я ещё не умею... это слово. (Очень тихо, через силу). Разве без любви замуж выйдут!

(И, словно обожжённый её признанием, Илья садится и опускает голову. Приподняв бровь, Лена наблюдает его.)

Ты недоволен этим, Илья?

Илья. Предсказанье мне было. Убьют, кого ты полюбишь.

Лена. Кто... кто это тебе сказал? (Впервые она заглянула себе в сердце и удивилась, что не Илья отразился в зеркале её испуга.)

Глупости... кто же нынче верит в это?

Илья. Уж сбьлась половина. Гадали на тебя, а ты и приехала...

Лена (с холодком). Так ты... откажись от меня, Илья. (Громко, в сторону входа). Простудишься, Устя!

(И тотчас же, с мешком на плече, Устя, слушавшая у двери, виновато спускается в землянку.)

Устя. Сами идут сюда. (Ища глазами). Куда бы мне положить... Груз-то больно сердитый.

Лена. Клади к стеночке... Осторожней.

Устя (когда Лена наклонилась помочь ей). Шепни ему, чтоб не боялся. Гаданье в любви не сбывается. (Горько). Уж чего только я себе не нагадала!

Лена (громко и распрямясь). Мой жених, Устя, не боится ничего на свете.

(Лекарство подействовало. Илья поднимается, расправляя сильные свои плечи. В ту же минуту сюда деловито и безмолвно спускаются начальники: Похлёбкин, Травина, Дракин и ещё какие-то, — видимо, из дальних, глухих деревень, — мужики, из которых один, время от времени, произносит: «Вот это в аккурат будет», а другой — «присоединяюсь». Все они кажутся выше обычного, потому что тени их достигают самых брёвен наката.)

Травина (мельком, Илье и Усте). Закусили бы пока в дорогу. (Похлёбкину). Кого же мы им третьего дадим? У Ефима нога распухла. Садитесь, товарищи. Надо ещё Мамаева дожидаться.

Похлёбкин. Может, Потапыча пока примем? (Копаюсь в походной сумке, на которую сменил свой портфель). Хлебанул, старый телятник. Как на дрожжах, прискакал.

Дракин (неподкупно). Делом его проверить надоть.

Травина (одному из мужиков). Давай его пока сюда, до заседания.

(Мужик уходит. Устя, Илья и Лена едят кашу в стороне. Расстелив на столе обрывки карты, Похлёбкин знаком подзывает Илью; тот подходит с лож-

кой. Чертя ногтем по бумаге, Похлёбкин объясняет ему смысл предстоящей операции.)

Похлёбкин. За главного ты пойдёшь. Видать, наступление у них готовится. Всё под укрытием ночи поезда гонят. Ну, мы тоже не шапкой подпоясаны, в Европе живём. Значит, надо и встретить их (ударив на слове) могучим фейверком. Смотри сюда... Итак, что мы видим перед собою? Азаровскую пойму, вот что мы видим на данном участке. Это линия. И вот оно, то тихое местечко, где ты заляжешь... понятно? Перед мостом влево бродом берите, минирован. Здесь гнездо у них было, не напорись.

Дракин (сбоку). До сабуровской мельницы лучше низом, по ручью, итти. Там поглуше.

(Илья выражает своё согласие кивком. Подойдя, Лена из-за плеча Похлёбкина засматривает в карту.)

Кушай, красавушка. Каша остынет.

Лена. Я хотела себя предложить... вместо Ильи. (С вызовом глядя на Илью) У негр нога не поджила. Не уйти ему, если что...

Илья (Лене, твёрдо и непонятно для других). Я своего, что мне причитается, и самой смерти не отдам.

Похлёбкин (через плечо, без резкости). В другой раз женишка пожалеешь. Как вдвоём останетесь.

(Лена возвращается к Усте. Придержав брезент, мужик пропускает Потапыча. С берестяной котомочкой, держа руки по швам, тот смиренно, без прежней удалы, останавливается у лестницы. Похлёбкин бережно складывает карту). Ну, знаменитый скотовод... как тёлка твоя родимая поживает?

(Потапыч бормочет что-то.)

Не слыши-им!

Потапыч (приблизясь на шаг и не сразу). Съели, окаянные. (Разведя руками). Как увидели, загуготали враз — gros калюб, gros калюб... большая тёлка по-ихнему. Тут же голову, обыкновенно, отрубили, ливер в ведёрко выпустили... Конешно, вору тоже питание нужно: точна-а!

Дракин. Косточку-то дали на память сососать?

(Все дружно посмеялись над Потапычем.)

Потапыч. Глухое сердце имеешь в себе, Степан Петрович. (Стукнув себя в грудь). Во, где горько-то! Заветная была...

Похлёбкин (сухо). У тебя заветного-то отродясь не бывало. Ближе подойди. Что в Кутасове, сказывай.

(Все сидят, кроме Потапыча.)

Потапыч. Можна-а. Ну, в селе, обык-

новенно, стоит рота связи. Начальник у их вроде Хирнер. Особого зверства, сказать, не проявляет. А только, как взошёл к Мамаеву, наперво повелел кота сканить. Штыком. Больно чёрен, говорит...

(Лена, видимо, хотела спросить что-то о матери.)

Травина (предупредительно). Потом расспросишь, девушка. (Потапычу) Ты главное говори. Нам некогда.

(Потапыч в затруднении.)

Дракин. Вот, говорят, старостой у них Бирюк состоит. Правильно?

Илья (с места). Враки, поди. Он ещё эва когда с немцами воевал!

Похлёбкин. Не мешай, Илья Степаныч. Тут родни нет, тут войны. (Потапычу.) Обрисуй нам кратенько, какая его деятельность.

Потапыч. Это можна-а. Деятельность его обыкновенно такая. Ходит, посматривает, усмехается. Окроме того, шапкой страх наводит. Вчерась объявил картошку копать.

Травина. Так, дело ясное. Вопросов больше нет?

(Молчание. Дракин всем своим существом негодует.)

Вот, пришёл ты к нам. Что делать-то здесь собираешься!.. Спать что ли?

Потапыч. Зачем спать. Обыкновенно, что повелят, то и буду. К примеру, могу на часах стоять. У меня слух чу-уткой: скажи, вошка ползёт, а я слышу, как она лапочки переставляет... тук-тук-тук. У меня, заметьте, вострый слух. Эх, ты меня только приласкай, козяйка,—я, как собачка, за тобой побегу...

(И опять, посмеявшись, все подобрали к нему.)

Травина. Ладно, учтём. (Со значением взглянув на Похлёбкина) А на диверсии будешь ходить?

Потапыч. Чего, чего? (И хотя не понял, своеобразно потрянул головой). Можна-а! Что скажешь, то и можна.

Дракин. У нас связь нечем проводить, а он лапти проводом примотал. (Наклонясь рассмотреть). Да ещё, гляди, немецкий провод-то... Покормил тебя Хирнер-то твой?

Потапыч (безгневно). Ничего, я на дорожку жареной водицы похлебал. Половину отхлебал, половинку про запас в речку вылил!

(И ещё посмеялись они на его балагурство, и сразу точно ветром смыло их смех.)

Похлёбкин (придвинув хлеб на столе). Вот тебе паёк, пожуёшь в дороге. Котомочку оставишь нам на сбережение. И пойдёшь сейчас вместе с ними. (Он

указал на Устю и Илью, уже покончивших с ужином) Дорогой объяснят. Как вернешься, — получишь койку и параллелбаум, какой тебе по чину полагается. Всё! (Поднявшись и взглянув на дракинские часы) Отправляйтесь, товарищи. Поезд проходит в одиннадцать сорок, а вам ходу одного два часа.

Илья. Выноси пока мешок, Потапыч. Да не стукни.

Потапыч. Можна-а!

(Повеселев, нарочито кряхтя и охая, он тащит мешок к выходу и вдруг делает вид, что роняет его наземь. И хотя опасности нет, раздается общий вздох испуга. Мешок, однако, повисает у Потапыча в руках.)

Ничего, не пужайтесь, орлы. Уповайте на воробышка!

(И, окинув всех озорным оком, легко вскинув мешок за плечо, он покидает землянку.)

Травина (Илье). Присматривай... что-то не нравится мне этот воробышек. Дрезинка пойдёт — дрезинку пропустите сперва.

(Илья кивает, затягивая поясной ремень с оружием.)

Похлёбкин. На худой конец, под ключицу финкой бей, тише будет. Перец взял от собак?

Илья. В порядке. В полночь слушайте наш салют... проверку времени. (Мужественно и сильно) Ну, сыграем в большую орлянку, Лена!

(Она ободрительно кивает ему. Уходя, Устя кланяется остающимся. Невысказанная значительность сквозит в её поклоне. Никто не отвечает ей, потому что заседание фактически уже началось. Дракин раскрывает клеёнчатую ученическую тетрадочку: дневничок или книгу приказов.)

Травина. Ложись спать, девушка. Начинай, Похлёбкин.

Похлёбкин (когда Лена накрылась одеялом). Ну, товарищи полководцы, повесточка у нас небольшая, но довольно аккуратная. Расширяется наша картина, уж в полсотне ходим, товарищи! Поскольку народ понял, что врага в слезах не утопишь, а бога детской кровью не удивишь, прибывают к нам свободолюбивые граждане. Даже пришлось послать Мамаева на известный вам склад для пополнения оружия... Словом, начинает враг маненько от нас подрагивать. Вместе с тем, за неделю, как мы здесь, убыло из наличного состава шестеро. Двоих Мамаев секретно, под видом дров, отвёз в больницу. Доктор Иван Петрович уложил их на койки, будто попали в мелотильный привод, и велел ещё приво-

зить, когда нужно. (Вскользь) Пристяжка у тебя хромает, Дракин. Посмотри.

Дракин. Зайду утресь.

Похлёбкин. Остальных, в количестве — четверо, я совсем снял с довольствия. Предлагаю отметить ихнюю память стоянием.

(Они стоят некоторое время. Дракин листает в это время странички. Вздвонванный чем-то, в землянку спускается Мамаев.)

Садись, Мамаев. Сейчас дойдём и до тебя.

(Все сели.)

Теперь, засуча рукава, товарищи, выметем маненько грязцу. Армия ушла, мы одни тут остались... островочек в синем морюшке. Это накладает на нас особую строгость. Как насчёт Бирюка решим?

Дракин (жарко). Руку ему за это, руку мало рубить!

(Мужики присоединяются. Мамаев тем временем шепчет что-то на ухо Похлёбкину.)

Что в приказах писать?

Травина. Пиши проще: постановили казнить предателя.

Похлёбкин (бледный, вставая). И одну строчечку пустую оставь. Кого-то из нас вписать туда придётся. (Обведя всех глазами) Нечисто между нас, товарищи.

(Насторожась, все вопросительно поглядывают на Мамаева, сидящего с опущенной головой.)

Мамаев сейчас мне доложил... Ходил на склад с ребятами, и печальная пред ими раскинулась картина. Склада на месте не оказалось. А кроме винтовок да шнура, там спирту одного находилось, извиняюсь...

(невольно прищёлкнув языком), четыре бидона по десять кило да толу пудов сорок... Накат раскидан, ямина пуста. И на донышке кучка нам на сердечную память оставлена. Небольшая, кила в два... (простучав рукоятью ножа в стол) С чем и проздравляю, товарищи! (садясь) Одолжи табачку, Дракин.

Мамаев. Это ещё не всё: связь у нас порезана, граждане. И самый проводок увели. Теперь кричи и плачь, никто не услышит. И провод-то серый, немецкий провод-то.

(Молчание.)

Похлёбкин (со злостью, скручивая папироску). Духовитый табачок куришь, Степан Петрович. Немецкий, что ли?

Дракин. Потапыч даве преподнёс. В лесу нашёл пачечку.

Похлёбкин (недобро усмехаясь). Хотел бы я того солдата посмотреть, что на фронте хоть табачинку потерял.

Мамаев. Стыдись, Василь Васильич. (Прс Дракина). Этот человек всё именье на божье дело отдал.

Похлёбкин. Знал я одного божьего человечка: помолится да и зарезал троих. У вашего брата всяко дело свято. Вопрос — отколе смотреть!

Травина (с выговором). Тебе что-нибудь известно, Похлёбкин, про товарищей, которых ты порочишь?

Похлёбкин (наотмашь). Да мы и тебя, Полина Акимовна, толком не знаем. Откуда ты к нам хозяйкой в тёмную ночь свалилася. Документы и с мёртвого можно снять.

Мамаев (гневно). А коли не знаешь, так чего на людей, как пёс, кидаешься?

Похлёбкин. Кто... я пёс? (Вскочив и рванув рубаху у ворота, запальчиво) Пёс я, да. Я власти моей пёс верный. Я дом большой стерегу, где народ мой живёт. Я днём и ночью по цепи жожу бессонно... урчу, чтоб махоньки детки там (широкий жест куда-то за стены, в просторы страны) безгрозно спать могли. Я грызть, я жевать того стану, кто на них злодейскую руку подымет. Я...

(Он задохнулся, зубной стон его наполняет тишину. Разбуженная Лена поднялась на локте.)

Лена. Что это... тревога?

Травина (спокойно). Спи, спи, девушка. Это лес шумит. Спи.

(Зевнув, Лена снова накрывается одеялом.)

Сядь, Похлёбкин. Сядь, сказала. Велю.

(Похлёбкин повинуется.)

Он прав, товарищи. Страшно сказать: об этом складе знали только мы. Один завёлся, и вот, с ножом друг на друга кидаемся...

Мамаев. Это как сверчок в фатере заведётся: расстроишься, искамши. (Заметив котомочку Потапыча) Никак Потапыч приходил?

Травина. Стойте.. (Хватаясь за спасительную догадку) Как же это серый проводок на ноги-то к Потапычу попал?

(Все переглянулись, пронзённые одной и той же разгадкой. Выскочив из-за стола, Дракин молча вываливает из котомки имущество Потапыча. Там пара новых лаптей, рубаха стиральная, клубок лыка, кочеток и жестяная кружечка из консервной коробки. «Небольшой залог оставил, собачья радость...» — бормочет Дракин. И уже не садясь за стол, он с повинной обводит всех глазами.)

Дракин. Не ссорьтесь, люди (склонив голову). Насчёт склада это я, Дракин, виноват. К чему ни присудите, за всё поклонюсь.

(Все окаменели от внезапности признанья.)

Это я Потапычу намедни насчёт оружия расхвастался. Задорил он меня, распалил. С лучинкой, дескать, на всемирную державу выступаете... (Колотя себя по башке) Стар стал, ума не стало...

Похлёбкин (в бешенстве). Уйди лучше... Стрелять в тебя стану. Уйди, враг!

Мамаев (пока Травина усаживает Похлёбкина). Где же у тебя разум-то был, Степан Петрович! Кому доверился...

Дракин. У человека душа дремучая. Всею-то в кулачок сожмёшь, а вей заблудишься. (Открыто, поджав голову) Вместе нас с Потапычем судите...

Травина. Вот куда проводок-то нас привёл. Ну, хватит на сегодня Потапыча. Завтра, как вернётся, виду не показывайте: проследить.

Похлёбкин. А пока — охранение двойное выставить. И никому в згу ночь не спать. Сам буду ходить... (Поднявшись) Всё! Отправляйтесь по делам, товарищи полководцы.

(Подавленные происшедшим, мужики расходятся, — все, кроме Дракина, который, кривясь от внутренней боли, задержался на лестнице.)

Дракин. Побрани хоть ты меня, Акимовна. Языка, языка мне за это резать мелким ломтиком.

(Откинувшись к стене, Травина смотрит на разгоревшееся пламя свеча.)

Да есть хоть что-нибудь, кроме партбилета, в каменной грудё твоей, хозяйка?

(Она молчит, точно заснула с открытыми глазами, и Дракин на цыпочках удаляется. Ничто не двинулось в лице Травиной. Но, вот вздрагивают её губы, и слеза катится по щеке. Лена с удивленьем смотрит на командира, потом, испуганная и тронутая, босыми ногами приближается к ней.)

Лена. Полина Акимовна, Полина Акимовна...

Травина (глядя в огонь). Что тебе не спится, девушка? Ночь на дворе, спи.

Лена. Вас Похлёбкин обидел, да? Он злой теперь. Вся Россия на плечи ему легла. Он и ночью-то привалится к дереву и спит... стоя.

Травина. Он прав, девушка. Уж и адреса такого нет на свете, где я жила. Разве пепел спросишь: откуда ты летишь, пепел?.. Это я играю камень, девушка. На певичу когда-то училась, потом заболела, испортилось моё soprano... Ворон кружит над всем, что я любила. И всё у меня там осталось.

Лена (ласкаясь к ней). И карапузик маленький... да?

Травина. Уж большой был.. Всё забыть его хочу. Всё хочу уверить себя, девушка... может, плохой бы вырос. Мо-

жет — прогнал бы меня вашей, как со-старше... (Шопотом) Не могу. Добрый был. Лена. Они его убили?

Травина (не ответив на вопрос). Ты счастливая. Когда твои родятся, светло будет на земле. За большой кровью всегда большое счастье идёт. Береги его, девушка. Дерись за него!

(Мелкая, как по воде, дрожь пробегает по брезентовому занавесу.)

Лена. Войдите.

Травина. Это ветер, девушка.

Лена. Нет... (Нетерпеливо, в сторону лестницы) Войдите же, кто там?

(Она легко взбегает по ступенькам и с силой отдёргивает тяжёлую намокшую ткань... Никого, и тишина. Могучая лапа старой ели простёрлась над входной трапезной да ещё молодой, точно росой омытый, с востренькими рожками висит месяц. Потом возникают голоса, треск бурелома. Лес оживает.)

Несут... (Сама отвечая на свою тревогу) Неужели Илья? Выйти не успел, напорлся...

(Крылом подстреленной птицы стелется понизу пламя света. И опять где-то глухо фальшивит гармоника. Потом, весь в копоти, точно вырвавшийся из ада, с прожжённым у локтя рукавом комбинезона, без шлема, появляется сержант Темникова. Держась за косяк, он мутным неузнающим взглядом глядит на Лену.)

Говорите же!

Сержант. А, гражданочка!.. (Сплюнув чёрную слюну и тыльной частью ладони устало проведя по обгорелым усам) Вот, опять к тебе... за живой водичей припожаловали. Принимай гостей...

(Слизывая коготь с губ, он оседает на чурбак. Не сводя глаз с проёма двери, Лена растерянно ждёт. Её ладони сжимаются в кулаки, когда в просвете входа показывается множество ног. Сержант знаком подзывает Травину.)

Повесь что-нибудь... загородиться. Нельзя ей глядеть на него теперь.

(Травина успевает сдёрнуть полотнище с лозунгом со стены и накинуть на протянутую поперёк землянки верёвку. Тотчас показываются со своею ношей мужики; шестие замыкает Похлёбкин. Они спускаются медленно, чтоб не колыхнуть тяжело провисшее на большой мешковине тело человека, и проносят за самодельную занавеску, на скамью. Сержант уходит к ним.)

Не кладите, ему только сидеть можно. Привалите к стеночке... так, ладно.

Травина (Лене). Кто это?.. кого это принесли?

Похлёбкин. Танкист один знаменитый. Им вся округа гремит. (Качнув головой.) Эка власть над собой: стону не подаст!

(Сержант вслед за мужиками выходит из-за занавески.)

Сержант (не поднимая голоса, вполоборота ко всем). Кто здесь главный? (Похлёбкину) Судя по усам — ты?

(Похлёбкин кивает на Травину.)

Так вот. Тут Дмитрий Темников сидит. Это лев русский, понятно? Срочно нужен хороший врач. Даю минуту, думай. (Он посмотрел на часы под рукавом и махнул рукой.) Э-э, и тут сторело!

Похлёбкин. Нести его больше нельзя. Не выдержит.

Травина. Постой, я сейчас... дай сообразить.

(Она заметила Доньку среди мужиков, который, размазывая слёзы по лицу, смотрит с лестницы за занавеску.)

Иди сюда, Доня. Вот, ты всё подвига искал... Бегом отправившись в Кутасово, к доктору Ивану Петровичу. Тропками проведёшь... Скажешь — я сама прошу!

Сержант (задержав внимание на мальчишке). Что ревьешь-то, бесстыдник?.. ая звал Темникова?

Донька (всхлипывая). Как, бывал, едет мимо... всё уговаривал: полно, говорит, тебе курей гонять, Данил Захарыч. Пойдём, Данил Захарыч, врага громить... Сержант. Так слушай же меня, Данил Захарыч. Теперь детей нет, все взрослые. Помни: славу русскую в руках несёшь. Ранят — ползи. Землю кусай и ползи. Пошёл.

(И легонько толкнул в плечико. Набрав воздуха в грудь, мальчишечка метнулся и исчез.)

1-й мужик (вслед). От луны кройся... подшибут.

2-й мужик. Э ево и стрелять-то, изволите ли видеть, некуда: одни глаза да ноги!

Травина (Мамаеву). Дракина сюда и лампу мою большую. И посторонние уходите все. Пока — спать ребята будут там.

(Мужики удаляются вслед за Мамаевым. Лена идёт на середину.)

Лена (надтреснуто). Он ранен... да?

Сержант (неохотно и глядя в сторону). Горели мы с ним, гражданочка. Они нас болванкой на развороте жакнули... Эх, хороша была машина, три четверточки!

(Лена нетерпеливо ждёт продолжения.)

И ведь до чего ж дерзкий характер у человека. Я уж лок открыл, чтоб кодом пламя сбить. Огонь рычит, в ноги ему хлещет, а он... (Утратив спокойствие) Слабый я человек, в голос ему кричу: бастуй, Митя, смерть!.. Упёрся. Всё — «гони, скрипит, гони!», пока проводка не сгорела. (Сквозь боль свою) Что ж, сыт ты теперь, Дмитрий Васильич?

Лена. Ещё.

(Травина, Похлёбкин и вернувшийся с лампой Мамаев с удивленьем прислушиваются к её необычной, чуть повелительной интонации.)

Ещё говорите про него!

Сержант. Три гнезда змеинных подавили, больше не осталось. Вытащил я его через люк, из пламени, — дымится весь, а в рост, в рост идёт... «Сам, пусти, я сам!» До опушки шёл, пока не рухнул.

Похлёбкин. Я как-раз дозоры проверял, видел... костёр среди ночи мечется.

(Мамаев зажигает лампу. Слабое шевеленье слышно за занавеской, и непонятно скрипит дерево. Похлёбкин, глядевший за занавеску, отвернулся. Лена шагнула вперёд.)

Травина. Что тебе надо, куда?

Лена. Пустите меня... к нему.

(Травина обняла её плечи.)

Я плакать не стану. Пустите меня.

Травина. Не нужно это, девушка. Дождёмся доктора, он скажет.

(Она ведёт Лену к скамье. В землянку входит Дракин.)

Вот, кстати... Слушай, Степан. Тут большой человек горит. Можешь хоть временно облегчить ему... это?

(Дракин молчит.)

Сержант (недоверчиво). Доктор, что ли?

Похлёбкин. Доктор, да не тот. Конский доктор-то. (Просительно Дракину) Степан Петрович, этот человек всех нас вместе стóит.

Дракин (зло и тяжко). Выдай мне сперва казённую бумагу... людей лечить.

Мамаев. Не сердчай на обиды, Дракин. Люди мы.

Похлёбкин. Может, на коленки стать, знахарь?

Сержант (тряхнув за плечо). Да ты русский аль не русский! Камень кричит, не слышишь?

Дракин. Посмотреть надоть. (Насмешливо). Комиссию давай... Ну-ка, посвети, власть.

(Похлёбкин вслед за ним уносит лампу за занавеску. Сержант идёт

туда же. Лена бессильно опускается к ногам отца, присевшего на чурбак.)

Мамаев (касаясь её волос). Эх, ты, так разом весь секрет свой и раскрыла.

(Лена прислушивается к происходящему за занавеской.)

Сержант. Дмитрий Васильич!.. Дмитрий Васильич, это я, твой Ваня близ тебя. Тело твоё нам нужно посмотреть.

(Молчание. По кумачёвому пологнищу сквозит свет и двигаются силуэты.)

Ты отбивайся от боли-то, Дмитрий Васильич. Сейчас доктор придёт, примочку наложит, порошки даст. Теперь доктора хорошие, не в старину живём... (Окриком) Тише, чорт, не дерево ворочаешь!

(Молчание. Кто-то за занавеской присел на корточки.)

Дмитрий Васильич, ты кричи... кричи, Дмитрий Васильич, легче тебе станет. Тут лес, тут можно.

(Молчание.)

Лена. Тишина какая...

Травина. Когда на войне тишина, это крадётс я кто-нибудь.

Мамаев. Небось, Донька к больнице подпалывает.

Лена (с болью). Не подстрелят его, папаня?

Мамаев. Бог милослив, достигнет. Мостик он уж давно миновал. Ишь ты, верхом на ветерке скачет. Вот, к доктору перстиком стучится. Тук-тук-тук. Докторица поднялася, волосья со сна, роено тина, висят... к окошку присунулась. (Подражая женскому голосу) «Чего колотишься, человек аль ветер!» Это я, Серафима Платонна, Донька!.. Ну, тотчас его выпускают. И тут зачинают они доктора тормошить...

Лена. Скорей, папаня. Это жизнь моя!

Мамаев (рассудительно). Безо времени ничего не бывает. Доктор не наш брат: топориче за пояс, и пошёл. Ему пузырьрчки надо захватить, опять же часового обмикитить...

(В полном составе из-за занавески появляется «врачебная комиссия». Все смотрят на конского доктора. Дракин проводит руками по лицу, как бы в потребности стереть с лица ощущение чужой муки.)

Похлёбкин. Пошарь, пошарь в чёрном своём мешке, Степан Петрович, Тряхни недозволенной наукой!

Дракин. Тут моя наука бессильная.

Мамаев. Может, водки нагреть да влить в него, чтоб оглушило... а?

Дракин (с учёным видом). Водка-то, чай, она тоже горячая.

Травина. А если раздегь его?

Дракин. С кожей вместе, хозяйка? (Угрюмо и торжественно). Перьво-наперьво облачите его в холод. Воды на него болотной, да котора со льдинкою...

(Захватив ведро, **Травина** торопливо уходит. Блестящими глазами **Лена** смотрит в закопчённые брёвна наката.

Дракин понижает голос.)

Окроме прочего, не давайте ему о смерти думать. Сказывайте ему... про сад цветущий, про вино, про невесту, про всякое несбыточное мечтанье. Зудите его, чтоб жадней стал. Партейный он у вас?

Мамаев. А то как же!

Дракин. А раз партейный — значит, выживет. (Надевая шапку.) Так-то. Ну, занимайтесь, с богом, а я ужинать пошёл.

(И уходит, провожаемый безмолвием бес-
силия. Памятуя наставленье конского
доктора, сержант тотчас переводит
взгляд на **Лену**.)

Сержант (осторожно). О тебе спраши-
ваа, гржданочка: жива ли, мила ли... И
чего, говорит, голоска её звонкого не
слышать.

(**Лена** поднимается с полу.)

Лена. Покажите мне его.

(Из состраданья к ней, сержант ста-
новится ей поперёк дороги.)

Хочу. Откройте его.

(Уже не в силах противиться её воле,
сержант протягивает руку к занавеске.)

Сержант. То ли ветер в него бил,
то ли ты мысленно в лицо ему глядела...
лицо-то целое у него.

(**Лена** делает жест нетерпенья. Тогда
рычком вниз сержант сдвигивает за-
навеску... Легко узнать его и теперь,
знаменитого лейтенанта, сидящего на
подложенном сенике. Он похож на из-
ваяние из дерева, побывавшее в пожаре,
и кажется больше обычного человеческо-
го роста. Он осунулся, чёрное пятно на
виске, глаза закрыты, руки сложены на
коленях ладонями вниз. Горелые клоцья
комбинезона свисают с его широко рас-
ставленных ног.)

Полевой стань, чтоб прямо на глаза
ему попасть. Ему ворочаться-то нельзя.

Лена. Скажите ему... пусть он меня
увидит.

Сержант (склонясь к уху лейтенан-
та). **Дмитрий Васильчич!** Взгляни, **Дмит-
рий Васильчич**, кто стоит-то перед тобой.

(Глаза **Темникова** раскрываются не сразу.
И проходит некоторое время, прежде чем
он различает **Лену**. С расстояния в
четыре шага й точно через непереходи-
мую реку, они смотрят друг на друга.
Потом ясная и безбольная улыбка осе-
няет лицо лейтенанта. Она проходит, по-
добно солнечному лучу, и исчезает в не-
подвижных губах, успев отразиться в
лице **Лены**. Веки снова опускаются.)

Легше ему стало... (Благодарно и горя-
чо) Хороша, сытна ему глаз твоих про-
хлада. Стой так! Отдохнёт минуточку,
опять на тебя посмотрит.

(Тишина. С топором и инструменталь-
ным ящиком рослый плотник ввали-
вается в землянку.)

Плотник (размашисто, со второй сту-
пеньки). Тут, что ли, велено дверь-то на-
вешивать. **Илья Степаныч** уходимши
наказал.

(Все шикают на него, машут руками,
чтоб уходил.)

Мамаев (шопотом). Потом, часа через
два придёшь.

Лена (медленно, не отводя глаз от
Темникова). Оставьте нас одних. Все
уйдите.

(Они подчиняются. **Сержант** произно-
сит перед уходом: «соскобляю копать
с себя... я тебя сменю потом». С
молчаливого позволения **Лены**, **Ма-
маев** привёртывает огонь в лампе. Сла-
бое лунное сиянье вливается в землянку
через верхнее окно-амбразуру... **Лена**
переступает незримую границу, которая
их, чужих, разделяла до сих пор. С су-
хими глазами она опускается в лунное
пятно у ног **Темникова**. Она прикасается
щечкой к руке лейтенанта...)

Темников (глухо и ясно). Кто... это?

Лена (трепетно, подняв к нему лицо).
Это я с вами, **Лена Мамаева**. Слушайте
меня... Я скажу вам слово, которое гово-
рят раз в жизни. Которое я берегла для
вас. Всей душою слушайте меня... И вам
станет легко...

(Глаза **Темникова** раскрываются. Он
смотрит в лунный свет поверх её голо-
вы. Голос **Лены** спадает до шопота.)
Слушайте меня...

Конец второго действия



ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же землянка, и, на первый взгляд, ничто не изменилось, только дверь уже навешена, и минула первая ночь лениной любви. Красноватым нагоревшим фитилём светит иссякающая коптилка, и синеватая белизна рассвета сочится сверху... Ночью выпал первый снег. В том же положении, с руками на коленях и закрыв глаза, сидит Темников; кажется, что он стал ещё большего роста. Усталая и похудевшая, в стареньком пуховом платке, Лена у его ног несёт свою скорбную вахту. Порою голос её слабеет, и рвётся непрочная нитка её псевствозанья; тогда с бездумной пристальностью она следит за какой-то пылушей перед ней пылинкой, пока снова не вспомнит о своей обязанности. Горячая волна опять пробегает по её телу, и время отступает перед волевым усилием Лены...

Лена (борясь со сном). Это будет правда... и когда всё кончится, вы сойдёте по нарядной лестнице, будто ничего и не было. И все красавицы будут глядеть на вас, но я не жадная, пускай!.. Вы поедете ко мне, прямо в школу, в Кутасово. (Доверчиво) Моя наука — география... Ещё девочкой любила забраться иногда по карте в такие дебри, куда никто не забредал. Брожу по гора-ам, пою разные песни... я смешная, правда?

(Она замолкла, покачнулась с закрытыми глазами, и опять —)

Нет, я не сплю. О чём я только? Да-а... Ты приедешь ко мне прямо на урок. Я увижу тебя в дверях, — «ребятки, скажу, это Темников, командир всех наших танков!» О, что будет!.. И я шепну тебе — «не сердись, посиди на крылечке. Нам ещё нужно в Бразилию заехать на минутку!» Ты сядешь на ступеньках, там у нас вишенник кругом. Конечно, это будет ма-ай...

(И вот дремота одолела её. Платок соскользнул с плеча. Глаза Темникова раскрываются: два немигающих блеска, отраженье потухающего огня, стоят в его зрачках. Его рука движется, преодолевая расстояние в несколько нескончаемых сантиметров. Пальцы потягивают на плечо девушки сбившийся платок... Голоса снаружи, — глаза лейтенанта закрылись. Травина и Мамаев спускаются в землянку.)

Травина. Спят, обручённые. (Она находит занавеску так, что остаётся видна только Лена.) Сменить её надо, Мамаев.

Мамаев. Три раза ночью заходил. Прогнала. (Он смотрит на дочь, прикидывая щекой к чёрному и рваному колену лейтенанта, и, видимо, переполнилось его сердце.) Вот, дочку лелеял, пробивайся, цветик, к солнышку: взросло. А уж и стучится чёрной рученькой в окошко судьбица-то: выводи дочку, старик!.. И

ведь всё равно одолим, так почто же мука-то такая?

Травина. Об этом бога своего спроси, Мамаев. (Она наклонилась накрыть одеялом ленины ноги. Очнувшись, та с надеждой устелилась на дверь.)

Лена. Что... доктор пришёл?

Травина. Теперь уж ско-оро. Сама жду.

(Расправив занавеску во всю ширину лавки, Мамаев остается с Темниковым. И вдруг, прочтя скрытую тревогу в лице Травинной, Лена начинает торопливо одеваться. Та молча наблюдает за этой бесполезной вспышкой.)

Лена. Я сама пойду. Я его в Москву, на санках, повезу... Пустите!

Травина (по-хозяйски, удержав за руку). Я тебе не давала приказаньяитти. Под Москвой сражение идёт, деушка. (Ласковее) Приляг, засни на часок. Хочется ведь?

Лена (идя с нею к лавке, по-детски). Хс-очется...

(Смирясь и поджав озябшие ноги, она положила голову на колени Травинной, но сон не приходит и не закрываются глаза.)

Куда же механик-то его увёл?

Травина. Танк пошёл проведать. Там у них ещё башенный стрелок остался.

(Лена задвигалась в тоске.)

Ленушка, ему больней твоего. Эх ты, Шахразада моя! Ночку провела, а уж объяла, как цветок. А их ещё тысяча впереди.

Лена (монотонно). Да. Илья вернулся?

Травина. Нет, ещё. Спи.

(Смирясь, Лена вслушивается в голос отца за занавеской.)

Мамаев. Та-ак-то! А как приедешь ко мне зятем, в сад я тебя, на пчельник поведу. Медов наломаем, брагу сварим... э-эх, Дмитрий Васильч! И вспомним, как сидели мы с тобой во глубине мёрз-

лой земли, один на один ...и посмеёмся над болью нашей. А после пиру сам тебе дождю мою приведу. «Вот она, скажу, вся... как молочко в кувшине серебряном. Пей, зятёк, исполни закон жизни!..»

(Лена спит. Травина поглаживает её плечо. Скрипит дверь, и заглянул Похлёбкин. Он не входит и тотчас опускает голову.)

Травина (тихо, чтоб не разбудить Лену). Я выйду. Подожди меня... там.

(И тотчас, опередив её, Лена распахивает дверь. Рядом с Похлёбкиным, держась за полу его мехового пиджака, стоит Донька. Доктора позади них нет. И хотя всё ясно теперь, происходит этот, уж ненужный разговор.)

Чего тебе, Василь Васильч?

Похлёбкин. Да вот, Донька вернулся. Мокрый весь.

Травина. Это хорошо, что вернулся... Входи, мальчик.

(Они входят. Донька виновато косится на занавеску. Его заметно знобит.)

Садись у печурки, грейся. (Она сама устраивает его у печки.) Был в Кутасове?... что там?

(Донька молчит.)

Похлёбкин. Речь в нём замкнулась, с напугу. Сначала бойко так разговаривал... (И точно махнул рукой и на присутствие Лены, и на всё на свете.) Словом, не состоялось, Акимовна. Хирнер этот, которого Потапыч за тихий нрав похвалил... больницу навестил с автоматчиками. (Пожевав усы) Так что нету их там больше, наших-то. И доктора нету, девушка. Увели нашего Ивана Петровича... в одной рубашке ночью увели. В Германию, землю копать, в рабы увели!

(Покусывая ноготок, Лена безотрывно смотрит на маленького вестника больших несчастий.)

Чужие в лазарете лежат, чужой доктор промеж чужих ходит.

Травина. Знал, верно, Потапыч-то... а смолчал. (И что-то захрустело в её голосе, как сминаемая бумага) Шагу не ступишь без Потапыча. Как вернуться, допросить его надо поостроже.

(Мальчик смотрит на неё, шевеля белёсыми губами. Травина склонилась к нему.)

Ты что-то сказать нам хочешь, сынок? Донька. Они не вернуться, тётенька.

(Безмолвие крайнего недоумения.)

Они висят...

(Общее движение и тишина. И вдруг, что-то сообразив, привстав на колени,

Похлёбкин задаёт Доньке самый главный для этой минуты вопрос.)

Похлёбкин. Доня!.. ты не торопись, не бойся нас. (Необычно ласково для него) Сколько, сколько их там висят-то, Доня... ты считал?

Донька (плачевно). Двое висят. На ветерке качаются... (И слабо обозначил это движение рукой.) Их ещё издаля, от больницы, видать.

Травина (глядя на Похлёбкина). Ночью, значит. При факелах, что ли?

Мамаев (выходя от лейтенанта). Так ведь наших-то трое было.

Травина. Эх, борода! (Бессильно) Третий-то Потапыч был. Они нарочно третьего подослали... (Похлёбкину, гневно) Живьём достать. И сразу, как приведут, судить. Общее собрание назначить в большой... если успеют печь сложить. Заготовишь речь минут на пяток, не зятягивай...

Похлёбкин (насмешливо). Не увлекайся, хозяйка. Рыбку ещё поймать надо... (Мамаеву) Сходи, Дракина надо поддержать. Илья-то один у него был.

(Мамаев уходит. Напряжение спадает. И вдруг розовый луч из окна молотче врывается сюда, по диагонали расчеркнув землянку. Взошло солнце. В эту минуту возвращается сержант. Донька жмётся и прячется от его взгляда за печку.)

Ну... навестил свой танк?

Сержант (раздеваясь). Стоит.

Похлёбкин. Сидит твой башенный стрелок?

Сержант. Сидит. Чёрными глазами из люка смотрит. (Чуть повысив голос) Россию караулит... Доктор не пришёл?

Похлёбкин (по-мужски твёрдо). И не придёт.

(Только теперь сержант заметил Доньку. Потирая руки, точно вдруг озяб очень, он скрывается за занавеской.)

Да... великодушны мы. (Зло и горько) Великое имеет сердце. Пройдёт сто лет, и всё забудем. И некому напомнить будет им!

(Он шагает из угла в угол, лицо его дёргается. Травина подкладывает полена в печку, чтобы скрыть волнение.)

А боле всех Ильи мне жаль. Парень со всячинкой, но гордый... и наш. Устя с малых лет души в нём не чаяла. Вот мы повенчались, значит, пеньковым венчиком...

Травина. Ты ступай, мальчик, на кухню. Покушай, посушись. (Лене) Отведи его, Ленушка!

(Донька и Лена, взявшись за руки, послушно покидают землянку. И пока открыта дверь, видно ещё издалека, как

Мамаев ведёт под руку согбенного и постаревшего Дракина. Старики спускаются. Похлёбкин заблаговременно устанавливает чурбак посреди землянки. Дракина сажают; он в чужом, криво надстом треухе и пёстрых варежках.)

Вот, Степан Петрович. В гору пошёл Потапыч-то! Выше всех хочет забраться. И мы хороши...

Похлёбкин (вторя ей). Да, доверили выгану коня постеречь.

(Стащив варежку с руки, Дракин вытирает ею нос и опять бессмысленно смотрит в солнечное пятно на полу.)

Мамаев. Крепись, Петрович, не надламывайся. Копи в себе: за каждую травиночку спросим. А на подвиг сына твоего весь мир сейчас дивуется!

(Из-за спины Дракина он жестом подсказывает Похлёбкину, чтобы дали подкрепительного старику. Похлёбкин достаёт из шкафчика на стене бутылку, наливает — скупю, как лекарство — в кружку и, отложив на стол варежки Дракина, протягивает ему водку. Не сразу постигнув, чего от него хотят, тот пьёт в одно дыханье, морщится...и потом все смотрят, как пробуждается биенье жизни в этом оглушённом человеке.)

Ну, как, легче стало?

Дракин. Крепка-а...

Мамаев. Крепка да хороша. Ишь... и вывил-то пущяковинку, а фигулирует. Может, ещё?

Дракин (вытирая усы). Хватит. Понемножку лучше. Чего зря-то лить!

Похлёбкин. И смех, и слёзы. (Отставив на стол бутылку и кружку) Ну, на данном этапе хватит и нам лить этот бесполезный материал. Слушай нас, Степан Дракин. Твоё горе сейчас пятеро злей нашего... значит, не один ты, а как бы пятеро тебя. Через час пойдёшь в Кузасово... навести старушку свою, утешь. (Помедлив) Кстати, исполнишь приговор над старостой. Они сына твоего умергвили, как пса... помни!

(Стук в дверь.)

Войди!.. (Дракину) Да не сбрехни кому по дороге-то, как тогда Потапычу. Беречься нам надо.

(Повторный стук. Похлёбкин сердится.)

Войди же, дьявол....

(И сразу же, как от дьявола, пятится на шаг. Без шапки, один, живой и невредимый, без кровинки в лице, там стоит Илья. Сзади, стеснясь кольцом, хмуро смотрят на него люди отряда. Стараясь держаться независимо и твёрдо, Илья спускается. Махнув рукою мужикам, чтоб расходились, Травина сама, спиной, прикрывает дверь.)

Илья. Вот... пришёл. (И что-то дрогнуло в его голосе). Устю-то, Потапыч-то... а?

(Дикими, опустошёнными глазами он обводит лица стоящих перед ним: знают ли? Да, знают.)

И шапку потерял...

(Растопырив пальцы, он смотрит на свои сильные и пустые руки, из которых выпало счастье. С отвисшей губой, подавшись вперёд, Дракин уставился на сына; он больше всех потрясён его внезапным возвращением. Илья поворачивается повесить на гвоздь свою овчину. Тем временем Мамаев произносит, широко крестясь: «Прости, Потапыч, что помыслом погресли мы на тебя». Вешалка рвётся, и тогда с глухим воплем боли Илья взмахивает рукой, словно отбивается от кого-то, незримо стоящего рядом.)

Э-эх!

Похлёбкин (негромко и почти спокойно). Ты потише, Илья. Мы сами нервные.

Травина. Больные у нас тут.

(Ширкая сапогами, Илья движется к занавеске, которую только теперь заметил, и все видят, как отяжелели за ночь его ноги.)

Илья (видимо, узнав Темникова). А, заболел, что ли?

(И не нуждаясь в ответе, он тянется к бутылке и наливает себе, много. Струя сперва не попадает в кружку. Подойдя без единого слова, Дракин наотмашь сшибает кружку со стола. Илья следит, скосив глаза, как она, гремя, катится по полу.)

Дракин (сипло). Не торопись. Доложи сперва народу, где воинство твоё, командир!

(И слышно, как он дышит. Мамаев с силой отводит его за плечо. Весь дрожа и комкая бороду в кулаке, Дракин не сразу отступает от сына.)

Пусти... тебе зять нужен, а мне... Я по нём ведро слёз пролил, а он... он мне дёгтем бороду вымазал! Дай мне его...

Мамаев. Полно, полно тебе, Степан Петрович. Бог слышит. Чем он тебя избидел?... что в петле не висит?

(И почему-то не столько увещания Мамаева, сколько пристальный, из-под приспущенных век, взгляд Похлёбкина заставляет утихнуть Дракина.)

Похлёбкин (Илье). Не волнуйся. Сядь здесь. Никто тебя пока не обвиняет.

(Илья садится, озираясь.)

Теперь поделись впечатлением. Как такая картина получилась.

Илья. Спрашивайте.

Травина. Сам скажешь.

(Илья молчит, точно ему не под силу сдвинуть первое, чугунное слово своего рассказа.)

Не молчи, Илья. Тебе теперь нельзя молчать. Ни минуточки.

(Дракин сунулся было что-то сказать.)

Не мешай, Степан Петрович.

Дракин (ударив себя в грудь). И проклятый, а сын он мне, сын мой единственный...

(Он идёт к Илье, и тот жадно ухватился за эту первую, протянутую ему руку.)
Ничего, сынок, тебя природа бережёт. Разоришься, такими кусками кидаться!. Потешь их, как из пети на волюшку-то маханул. Всё им очерти.

Илья (насторожась). Я в пегле не был... Они в засаде у ключа сидели. Выскочили враз, по пятеро на брата... и лозинка не хрустнула. Взорваться бы, да не успели!.. Я в обнимку покатылся, с одним, а как подняли меня, их уже уводили. Устю волоком во тьму волокли. Только и крикнула напоследок...

Мамаев. Что крикнула-то?

Илья (потупясь). «Прощай, Илюшенька»... крикнула.

Дракин. Вишь, как она тебя жалела. Вот бы тебе невестушку, не за кралями гоняться... Ничего, что рябая. Рябая креше!

Травина (с досадой). Не мешай, Степан... сказано тебе.

Илья. Я тоже итти приготовился...

(Опять его треплет лихорадка воспоминанья). А тут офицер ихний подошёл, посветил в лицо фонариком. Посмеялись, полопотали... он ещё в плечо ткнул, в снег уронил. И ушли...

Травина. Добрый, значит, офицер-то!

Похлёбкин. Погоди, не там шарить, хозяйка. (Илье, с непонятым умыслом). А ты не удивился, он ещё в плечо ткнул, в снег уронил. И ушли...

Дракин (не давая сказать сыну). Экой, догнал бы да и попросился с ними в пещёлку. Там места мно-ого!

(Уже с нескрываемой неприязнью все посмотрели на Дракина.)

Травина. Ты ступай пока в Кутасово, Дракин. Время теряешь.

Дракин. Эдак, эдак... переобуюсь и схожу. Долго ли до Кутасова. (Протянув руку сыну). Обьемся на прощанье, Илюша. На бога я вышел. Брата убивать иду...

(Он сосредоточенно смотрит на сына, в намерении вложить что-то своё ему в душу, и точно испугавшись своего отраженья в этих прищуренных болотных

озёрках, окаймлённых рыжей осокой речениц, Илья отпрянул от отца.)

Мамаев (даже и теперь не разгадав намерения Дракина сорвать допрос Ильи). Ступай, Петрович. Бог простит. За деток бьёмся.

Травина. Выполняй приказание, старик.

Дракин. Есть... выполнять приказание.

(Он надевает шапку и уходит. Он нарочно затворяет дверь неплотно. Захватив со стола оставленные Дракиным варежки, Похлёбкин в мгновение ока оказывается у выхода.)

Похлёбкин (намеренно громко). За что вы ёго так! Он последнюю рубаху миру отдал.

Мамаев (не поняв его уловки). Под рубахой-то ещё душа есть, Василь Васильич.

Похлёбкин (изготовясь тем временем и весело подмигнув всем). Рукавички за был, Дракин. Бери!

(И, рванув на себя дверь, наугад протянул варежки. Звук досады, точно душу вывихнул с размаху, вырывается из него. Дракина там нет.)

Играет знахарь. Ну, поиграю и я с тобой, Степан Дракин.

Мамаев. Так, может, не пускать его в Кутасово?

Похлёбкин: Ничего, здесь сын его любимый останется... Далеко не уходи, Илья: под водой сыщем. Прикинь пека, отдохни, подумай...

(Он кончил как-раз во-время. Снаружи ударом ноги открыли дверь. Слышны голоса: «Иди, волчина, не огрызайся!», «Придьярживай его за шею-то...» Заметно робея людей, Илья уходит в глубь землянки. Четверо мужиков торжественно вводят громадного человека, с головой накрытого мешком, из-под которого виден чёрный нагольный тулуп да рука с грязным и грузным кульком. «В могилу, что ль, ведёте?» — громоздко сходя, спрашивает добыча из мешка. — «Иди, дядя, иди. Ты себе полгроба уже заработал!» — отвечают конвойные. Установив добычу перед Похлёбкиным, все четверо посмеиваются.)

Похлёбкин. Ну, и денёк выпал. Видать, крупный улов. Что за зверь?

(Задний мужик, безбородый и в рваном малахе, выскочив вперёд и мыча, пытается жестами и мимикой объяснить обстоятельство поимки.)

Травина. Это ещё что за чудо природы?

1-й мужик (видимо, любитель поговорить). Свояк даве из Путилина пришёл,

сиротка. Ценный человек, главный плясун на всю Росею. Немой только...

(Травина взглянула на Похлёбкина. Тот утвердительно кивнул в ответ.)

Главное, ему и питания особого не требуется... хоть в дупле проживёт. (Немому). Ну, чего суёшься, немота? Ну, объясни, объясни... не можешь?

(Сдавшись, немой сокрушённо отступает.)

То-то, го-оре!.. Пошли мы с Прокопом в Заберезник стог ломать. (Про добычу). Поддели вилами-те, а он и вылез. В кровё весь, а потом встряхнулся, ничево.

2-й мужик. Медведь ранетый, видите ли что... он травой рану себе затыкает. Поплюёт, заткнёт дырку-те и отправляется, куда ему надоть, по делам!

Добыча (из мешка). Запарился я тут, Василь Васильич.

Травина. А ну, покажите вашу добычу.

(Сдёргивают мешок. Похлёбкин, привыкший к неожиданностям, только усы поглаживает. В знаменитой своей шапке с красным донышком и приставшими к ней сенинками, перед ним стоит Бирюк. После долгого мрака, он жмурится в прямом солнечном луче.)

Обыскали его?

1-й мужик. Ножичек нашли, в цехауз сдали. (Про кулёк). А это, говорит, суприз Похлёбкину, не даёт!

Похлёбкин. Ступайте, ребятки... и молчок, кого привели. А то я плохой, когда сердитый.

(Мужики уходят на цыпочках, косясь на занавеску.)

Поговори с ним, Акимовна. Знобит меня будто, как посмотрю на него.

(Он принимается свёртывать цыгарку, но бумажка неизменно рвётся; он бросает её и принимается за другую, третью...)

Травина (Мамаеву). Задержи Дракина. Поход отменяется.

(Мамаев уходит.)

Отдыхал, что ли, от злодеяния своего... в стогу-то?

Бирюк. Не дождал, пока ваши выйдут. Боялся, один-то, на мину напороться. Да сном меня и замело...

Травина. При тебе, значит... наших-то?

Бирюк. При мне. Караул построили, костёр запалили... Ну, и я назади, по чину моему стоял.

Похлёбкин (остро и быстро, точно выстрелил). Потапыч-то ведь дружок тебе был!

Бирюк (любовно). Как же, за утвой вместе хаживали. Сла-авный...

(Присев и примостив кулёк между ног, он пытается вытрясти на ладонь хоть

крупницу табаку из пустого своего кисета. Со страстной ненавистью Травина дивится этой нечеловеческой выдержке.)

Да, убили Потапыча. «Влезай, рус!» Жирнер-то ему приказывает. А он понял, раз на табуретку показывают. «Можна» — отвечает, влез... В ём и весу-те не было, безгреховный. А потом как брыкнет его в нос лапотком, начальника-то. «Посторонись, говорит, свинья. Тут русский человек помирать будет!» Да-а, вот какого содержания... (Усмехнувшись, он концом сапога пошевелил зачем-то кулёк.) Так до самой кончины и слова не молвил. Всё утирался...

Травина. Кто же это... до самой кончины утирался?

Бирюк. А начальник-то этот.

(С достоинством равенства он берёт с колена Похлёбкина его жестянку и осторожно отсыпает табаку себе в кисет. Нахмурясь, Похлёбкин ждёт продолжения такой, ещё небывалой в его практике, игры.)

Травина. С чего же он помер-то вдруг... начальник-то?

Бирюк (занятый своим делом). Смерть причину отыщет.

(Молчание.)

Похлёбкин. А не много ли ты отсыпаешь, Бирюк?

Бирюк. Много ли тут, до утра нехватит.

Похлёбкин. А тебе и не надо... и не надо тебе до утра. Ты помирать, помирать к нам пришёл... понятно? Сквозь вижу, с чем тебя подослали. Только, брат, мы нынче тоже чёсаные. Хитёр твой Жирнер, мозговитую имеет головку... в руках бы такую подержать!

Бирюк (скручивая цыгарку). А не ужажнёшься?

Похлёбкин. Ничего, выдержим.

Бирюк. А раз ничего, так на... побалуйся, коли охота.

(И сапогом пихнул в ноги Похлёбкину принесённый кулёк, который с деревянным стуком перекатился на другое место.)

Травина (пугаясь). Что, что у тебя тут?

(Бирюк не отвечает, он заклеивает цыгарку. Похлёбкин сам заглянул в кулёк и тотчас выпрямился, содрогнувшись.)

Похлёбкин. Куда, куда ты стерву-то в дом тащишь... (Горячо). На нас Европа смотрит, а ты... ночной ты человек из дремучего леса, вот кто ты! С варварами боремся, а сам...

Бирюк. Что сам? (Он поднимается в рост, и чурбак катится в сторону). Чего

ты меня Европой стращаешь! Как мы в обнимку с бандитом по земле катались... где была Европа твоя? Туркина в колодец запхали, Устю, заголя подол, вешали... кофий пила твоя Европа? Я то буду делать, что мне мёртвый Потапыч повелит...

Трави́на (стараясь унять его). Максим Петрович, больные у нас тут...

Бирю́к (широко и могуче). Погоди, я ещё сам к ним припожалую. Сам желаю судить злодея моего. Чтоб и внучаткам ихним ночной Бирюк мерещился! (Во весь мах души). Э-эх, всё бы истребил... кроме птичек. (И бросив шапку на пол, наступил на неё ногою). Ты правило мне составь... как мне дрянь эту повежливей убивать.

Похлёбк и́н (поднимая шапку с полу). Уймись, сила лесная. Береги шапку-то, зима идёт.

Бирю́к. Куски братских телов в полях валяются. Куды не пойду, смрад меня с места гонит... и Потапыч мне в лицо глядит: что ж ты не мстишь за меня, Максимка? (И словно две раны, стали его глаза). Как он мне из петли-то подмигнул: и тогда мне верил. Милый, милый...

(Закатив рукав, Бирюк взглянул на руку, поплевал, потёр и опять спустил рукав.)

А Стёпк у ты поглубже засади... (Развелесясь.) Я у Хирнера с докладом был, а Стёпка к нему и заявился. Да шапку мою на лавке и увидел. Как зыркнет с порога-то... Шлюхи-то, ведь они пужливые!

(Вошёл Мамаев, и, пока не закрылась дверь, врывается гул голосов.)

Мамаев. Там народ пришёл, просят. Выйди к ним, Василь Васильич. (И уже гораздо тише). Ушёл Дракин-то. Уж я на дороге бегал, перехватить...

Похлёбк и́н. Вернётся!.. Ты отдыхай, Максим Петрович. Зайду через часок, обсудим совместную картину нашей жизни. (Травиной). Пошли!

(Он подтягивает на себе ремень с кобурой, садит шапку чуть набекрень и, придав себе молодецкватый вид, выходит первым. Слышно его приветствие — «здорово, русские жители!» и ответное, как бы лесной шум, эхо. Со словами: «Собакам на студень захватить», Трави́на поднимает кулёк и уходит за Мамаевым. Только теперь Бирюк различает в тёмном углу Илью, прижавшегося к нарам.)

Бирю́к. Чего, ровно убитый, стоишь! Илья. А я и есть убитый. Это я по привычке мигаю. Давиться мне теперь надо, дядя Максим!.. Ну, плюнь в меня. Я сын Стёпкин.

Бирю́к (идя к нему). Не дури, парень. Всё у тебя в руках, легче лёгкого.

Только теперь тебе такое надо сделать, чего никто не может, и всё.

Илья. Скажи... Руку буду целовать тебе, дядя Максим!

(Бирюк чешет затылок, не в состоянии разрешить такую задачу.)

Хирнера бы!.. да отнял ты его у меня. Где ты его настигнул?

Бирю́к. Он посла казни ко мне зашёл, диких медов похлевать. Дикой-то ведь духовитее... Ну, и нагнулся над плоской-то, такой неосторожный господин. (Усмехнувшись одними глазами). Как муха, помер, безо всякого рычания...

Илья (в тоске). Кто ж это меня наповал-то нынче уложил?

Бирю́к. Папана твоя. Он тебя у Хирнера выпросил... Махонькому тебе копить зачал. Ладил всю вселенную в пазуху тебе сунуть, а, эва, кость мёртвую сунул-то... (Он присел на солому и снял сапоги). Эка, хламной я стал. На всё расстраиваюсь.

(Он прилёт на солому, сунул шапку в изголовье, натянул тулуп и враз заснул. Илья стоит над ним; здесь и застаёт его Лена. Её глаза становятся глубже и темней: и эта знает!)

Илья. Лена... что случилось-то, Лена! (Он страшится подойти ближе. Кривая улыбка бежит в её губах.)

Лена. Тебя и смерть на берёт, Илья. Брезгует.

Илья (схватив её руку). Лена... что ты говоришь, Лена!

Лена. Тише. Тут человек горит. Герой. (И вдруг покачнулась ему в плечо). Это любовь моя... как змея, жалит. Шепни, шепни мне, что не я, не я его убила! (Молча, как когда-то в детстве сквозя ночной лес, он ведёт её к лавке и, уславив рядом, подкатывает под ноги ей короткий чурбачок.)

Их в танке зажгли. И врача нету. Угнали. Ничего у меня нету больше, Илья.

Илья. Ничего, поправится. Ещё поженитесь, всё будет хорошо. (Обняв за плечи, он укачивает её, как ребёнка) В гости буду ходить... я с маленькими умею. Белок им наловлю. Они меня любят, маленькие-то...

(И оба смеются, как дети, выдумавшие сказку. Потом из молчания возникает полужопот сержанта за занавеской.)

Сержант. ...враз, как прознают, санитарный за тобой пришлют. Может, в эту самую минуту докладает про тебя Сталин его первейший секретарь. Моментально карту всемирную он отодвигает, — «поставить мне Темникова на ноги. Не затем мы с ним на свет рожались, чтобы раньше срока разлучаться!» И, как ска-

зал, будто молонья вдарила!.. И не успел ты очей раскрыть, уж несут твоё тело под целебную машину, вяжут в ремни, пускают волшебные лучи. И, вот, Митя, Митенька мой, трамваи не ходят, фонари в столице не горят... весь ток на тебя одного даден. Ну, поболит сперва: эку силищу да по живому-то мясу. Только алый пар от тебя подымается... Зато уж к вечеру начнёт пробиваться свеженькая кожица, как пеночка на молочке. Дунешь — и сбежит, дунешь...

Лена. Спасибо ему, всем людям спасибо.

Илья. Не жмись ко мне, жaley меня... (С вязанкой хворосту спускается Мамаев и, присев у печки, начинает разводить огонь.)

Иди туда. Ты ему, как лекарство, нужна. Пойдём!

(И он сам ведёт её к Темникову. С полдороги, однако, Лена сворачивает к отцу. Илья осторожно выглядывает за дверь... Когда во утоление последней надежды Лена начнёт разговор с Мамаевым, Илья неслышно возьмёт кожан, чужую шапку и, взглядом попрощавшись с Леной, покинет землянку.)

Лена (опускаясь возле отца). Папаня, я дочка твоя любимая... да?

(Мамаев молчит, насторожась.)

Ты сказал, давно... попросишь, когда нужно, и он тебе не откажет.

Мамаев. Кого попросить, умница?

Лена. Бога твоего. Не для меня одной... для всех!

Мамаев. Разве можно, молчи!

Лена. Папаня... Если он не чёрный старый камень, которому в такой же пещере поклонялись голые, несчастные люди, пусть он сердце моё увидит!

(Мамаев оглянулся и уже не заметил отсутствия Ильи.)

Не бойся, я сама у дверей стану. (Страстно, сязвoз полуслёзы) Скажи ему: убить его — значит детей моих убить, которых я в мыслях уж на руках носила. Пусть он завтра придёт... когда лицо моё скоробится, как древесная кора. Что ему век людской! Ему, небось, зевнуть — тысячелетие нужно...

Мамаев (глухо). Ладно, ладно... Не гляди на меня теперь.

(Суетливой рукой он расстегнул ворот рубахи, чтоб высвободить тельный, на тёмном гайтане крест. Лена становится к двери. Отец уходит в угол, к полатам. Вскоре жаркий и рваный шопот его наполняет землянку.)

...не надоедал тебе, обходился. Всё в руке твоей, моря и горы, и звёздные путя. И мы скачем в страшном вихре твоём. Господи!.. Услыши мои мужицкие слова... исцели война Дмитрия. Он себя по кровиночке за родину милую отдавал...

(Резкий стук прерывает его, и Лене не удаётся удержать дверь. Без шапки, с оружием, в землянку врывается Похлёбкин. Позади него стоят люди отряда.)

Похлёбкин. Чего заперлися... колдуете?.. Илья!

(Молчание.)

Значит, это он по дороге бежал. Догнать!!

Лена. Тише. (Зарядив к Темникову.) Ну, что он?

Сержант (жмурясь и выходя на свет). Кажется, задремал.

Конец третьего действия



ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Вечер того же дня, и землянка та же, только трофейный брезент теперь с помощью колец укреплен на проволоке перед лавкой, где сидит Темников; да пёстрый домотканый половичок шестелем на лестнице для тишины; да лампа уже повешена над столом. Фитиль её привёрнут на малый огонь, чтоб не тревожить больного. Вокруг стола, с тою же целью сдвинутого подальше от занавески, идёт заседание. Под тулупом замысловато похрапывает Бирюк, после одного, в особенности затейливого пассажа, все — Травина, Похлёбкин и Мамаев, — оторвавшись от дневничка, с удивленьем и почтительно взирают на спящего.

Похлёбкин (почти с научным любопытством). Царапина, что ль, в горле у него? Спираль какую выгибает...

Мамаев. Всё забыл, дитя лесное.

(Травина дважды кашлянула погромче, — Бирюк заворочался и умолк.)

Травина. Продолжай, Похлёбкин.

Похлёбкин. ...итак, спрашиваю, товарищи: кто же именно, несмотря на все эти успехи, кто виноват, что темпы нашей подрывной деятельности всё-таки занижены? Отвечаю на указанный вопрос.

(Твёрдо). Я!.. Доверился в этом отношении Дракину! И хотя сей главный сверчок, как ценно отметил нам товарищ Мамаев, ещё не пойман, имеем надежду, что недолго покойный Хирнер поскучает без любимого дружка. (Мамаеву) Не марай, дружок, тетрабочки, а найди на прежней страничке. Фамилия та же... только Степана впиши, а Максима вычеркни.

(Мамаев тычет пером в склянку и старательно выписывает судьбу знахаря.)

Травина. Надо ещё решить, кто с тобой в ночь отправится, Василь Васильич? Удастся тебе в село ворваться — в одну ночь наверстаешь.

(Она не досказала: из-за занавески вышел сержант. Он посутуел, и что-то новое объявилось в его походке. Как человек, которому некуда спешить, он выпил воды из ведра, вытер укоротившиеся свои усы и стоит, бездельно глядя в лафетную ступеньку лестницы.)

Сержант. Эх, хороша, сытна земля родной водица...

(И сам вслушивается в невозвратимое эхо своих слов. Трое из-за стола смотрят ему в спину. Так идёт время.)

Похлёбкин. Что ж хозяина-то покинул?

Сержант. Там гражданочка сидит. (В полоборота ко всем и понизив голос.) Потешить бы его, 'други, напоследок. Провожать — так веселой песней, чтоб земля дрогнула. Шибко любил песню этот человек.

Похлёбкин (Травиной). Добеги налегке до четвёртой. Там у нас все песенные... Да немного прихвати на случай.

Травина (выйдя из-за стола). Не вреден ему шум-то?

Сержант. Теперь ничего ему не вредно, хозяйка.

(Травина раскрывает дверь и задержалась на пороге: на её лицо едва удивительный ложится отблеск далёкого зарева.)

Травина. Кажется, Кутасово горит, товарищи!

(Оповестив, она уходит. Все движутся к выходу взглянуть на багровое отражение в зимнем небе. На соломе ворочается от холода Бирюк.)

Похлёбкин. Епархия моя догорает... (Его голос дрогнул. Все стоит молча, опустив руки.)

Мамаев. Жена у меня там... была.

Похлёбкин (положив ему руку на плечо). Ты так войи, Мамаев, ровно ничего у тебя не осталось... ни жены, ни яблоньки под окном. Ничего... кроме гнева да громадного отечества!

Бирюк (приподнимаясь с соломы).

Тепло-то наружу выпускаете, окаянные. Чай, не лето!

Мамаев. Огонь в Кутасове, Максим Петрович.

(Потирая заспанное лицо, Бирюк тоже отправляется поглядеть.)

Бирюк. Огонь — хорошо. Всякая горячка бывалая погорает. (Отходя) Что это мне во сну-то представилось? Лошадь какая-то. Некованая. Должно, к морозу. (Два мужика появляются у входа. Очень довольные, они поталкивают друг друга локтями, блестят ровными зубами и молчат.)

Похлёбкин. Остальные-то где же, мигуны?

2-й мужик. Идут... (И ему как будто жалко разлучаться с таким весёлым известием.) Слыхали?.. Дракин вернулся. Пьяненькой, видите ли что, а глаз хитрый имеет.

1-й мужик. Чего врешь! Тоскливый, выпитой глаз.

Похлёбкин. Разошлись, значит, с Ильей-то? Взять-и!

Бирюк. Не торопись, спугнёшь. А как залетит, мы его враз шапкой моей и нароем.

(Он отводит Похлёбкина в сторону и, пока доверительно сообщает ему обстоятельству встречи с братом у Хирнера, в землянку возвращается Травина с обитателями «четвёртой». Между ними — парень с гармонью, Донька и немой. Сержант размещает это множество по краям, оставляя середину свободной.)

Сержант (отрывисто и стоя посреди). Ну, баяны... погостил у вас степной орёл, пора и улетать. Уж самолёт за нами вышел. Спасибо за хлеб, за угол, за тёплую русскую любовь. Повеселите напоследок молодых!

(Злым небрежным махом он откидывает занавес. Рука Темникова лежит на плече Лены, сидящей у его ног, Строгая, похудевшая, с чёрным пятном на щеке, Лена медленно обводит взглядом собрание.)

Дмитрий Васильич!.. песней хотя угостить тебя напоследок. Любимую твою. Давай, баяны...

(Несмелые голоса: «Кому заводить-то?» «Доньке надоть. У ево голосочек резвый, как на крылосе...», «Давай, Доня, не торопись!» Следует взмах какого-то добровольного регента, но нет песни. Закусив губу, Донька смотрит на лейтенанта, и детская слёзка катится по его щеке. И вдруг, глубоко заглотив воздух, точно птица вскинула крыло, он пронзительно и высоко, без сопровожденья гармони

пока, запеваёт про коня, как гулял он в последний свой разочек при знакомом табуне... С третьей строки подхватывают другие, а гармонист с силой разводит меха. Темников открывает глаза. И вдруг сержант, следивший за ним, движением руки и во всём разбеге останавливает песню.)

Что, Дмитрий Васильчич?.. ты очами, очами и скажи, я пойму. (Всем) Времени у нас в обрез, баяны. Давай сразу на главный накал... а ну?

«Длинносный музыкант кивает в знак того, что принял команду. Лица делаются истовей и суровей, когда кожаной грудью набирает воздуху гармонию... Это начинается издали, и сперва великая печаль звучит в протяжных и переливчатых аккордах. Тут предстаёт она вся, в злой и зимней своей красе, раздольная русская равнина, где ни птицы в небе, ни малой горочки на горизонте... лишь знойкий ветерок ударяется с разбегу в полысевшую рожицу; она струнно звенит. Нет, только нам гулять в этом обжигающем пространстве!.. И надо богатырски расширить плечи, чтоб не потерять здесь, чтоб заполнить эту бескрайнюю ширь, чтоб не раствориться без остатка в чудовищной и прекрасной тишине. Вот, убыстряется дыханье, и удаляя, как от вёсёлого вина, дрожь пробегает в коленях; звонким речитативом ударяет в землю каблук, и первый вздох, лёгкий, как стружечка, срывается с души. Так, верно, рождалась русская пляска, — так возникала она и на проводах лейтенанта.

Похлёбкин мигнул немому... Уже еле видны суматошливые пальцы гармониста, а тот лишь снимает елоховой дубки кожанок с наставными рукавами, складывает поверх сношенную жилетку и овчинный треушок и тихо, как бы робея, в васильковой выцветшей рубашке подаётся на середину. И сперва то ли балует он, плечиком подразнивая огневой мах пляски, то ли боится ступить ногою на это вертящееся колесо... Но кто-то понукает сзади — «разговаривай теперь, немота...» Потом приглушённое — «а-ах!» скользит с чьих-то закушенных девичьих губ. И пошёл, и заговорили ноги, и враз не стало на свете красноречивей немого мужика из горелой Путилки...

Порою всё спадает до прерывистого шопота, и только по стуку западающих клавиш да по скрипу половиц можно угадать ритм происходящего неистовства... Нёдвижно, с полуулыбкой Темников следит за этим русским вихрем, где пальцы гармониста состязаются с ногами

плясуна. Кто знает, о чём его гаснущая мысль? О девушке ли, с которой, не дав наглядеться до конца, разлучили вороги, о родине ли, которая с материнской скорбью подносит ему этот последний дар?.. Воровато скрипит дверь, и в землянку заглядывает Дракин. Он обводит глазами по кругу: нет, не видать Бирюка, что непостижимо пропал из Кутасова. «Эге, да тут полное кабаре у вас!» — произносит он для начала и пробы. По молчаливому сговору, никто не смотрит на него теперь; и хотя никто не смотрит на него, только одного его все и видит теперь. Он пьяновато спускается, обходит краем и, остановясь возле Похлёбкина, со склонённой набок головой, наблюдает за мастерством немого.)

Дракин. Выпил я с устатку, Василь Васильчич.

Похлёбкин. Не порть удовольствия, Дракин. Молчи.

(Пляс и грохот.)

Дракин. Максим-то убежал. Резвый, учуял...

Травина. Догоним.

Дракин (присев на корточки, чтоб в непосредственной близости изучить основные колена плясуна). **Талан имеет в ногах, собачья радость!**

(Умное озорство и ликование, что не раскрытым остался смертный грех его, овладевают Дракиным. Но ему нужно ещё глубже и прочней укорениться в доверии этих простодушных и грозных мстителей.)

Э, разве так у нас плясали в старину... А ну, сторонись, тараканушко!

(И верно, пора передохнуть немому; облизывая пересохшие губы, он конфузливо отступает в сторону... Ухнув, Дракин идёт первым кругом. Его шаг тяжеле, чем у немого, и тесно прижата к горлу круглая злодейская борода, и что-то, может — сребренники предательства, металлически позвякивает в его широких голенищах. «Наши-те хреновья, из земли огонь вырубает!» — слышен похвальный выкрик позади... Дракин усложняет ход. Он стар, но исправно выполняет дело, хотя, наверно, это самая опасная работа в его жизни. При этом левую, выкинутую с платком руку, он как правило, держит посреди, на уровне плеча, в магическом центре круга... И когда на короткую полминутку он оборачивается спиной к Похлёбкину, дробно работая полупудовым сапогом, тот быстро ставит на пол позади него, алым донышком вверх, бирюкову шапку и с невозмутимым лицом возвращается на место. Новая трель круто поворачивает Дракина... И тогда, подогнув голову, он видит

уажку под ногами; жарче кутасовского пламени пылает она теперь и гонит от себя своим сокрытым зноем. Следует чей-то возглас: «Берегись, Стёпка, укусит!» Дракин не прерывает пляски: теперь он живёт, пока пляшет. Но вот сбились ноги с такта, отяжелели, подогнулись, — смертным магнитом присасывает их земля.)

Похлёбкин. Доплясывай, доплясывай, Дракин. Подождём...

(Обрывается вихрь гармонии. В тишине, не сводя глаз с алого лоскутка, Дракин вытирает испарину со лба. Он поднимает голову. Как и остальные, чуть подавшись вперёд, Похлёбкин смотрит в него острым, смеющимся глазком.)

Ты у нас прямо артист, Дракин. За душу берёшь. Си-ильная картина у тебя получается! (Сержанту) Поясни хозяину своему: сейчас злодея судить будем, что руку на него со спины занёс. (Ближним мужикам) Оборудуйте, ребятки, что полагается под это дело.

(Передвигают стол и приставляют скамью. С клеёнчатой тетрадкой, и вздев очки, Мамаев присаживается на уголке. Прокурором сбоку становится Похлёбкин. Главное место за столом остаётся незанятым, но если продолжить через него линию от Дракина, она закончится в строгих глазах Темникова. Дракин присаживается на краешек чурбака, и оказывается, таким образом, в середине людского полукруга.)

Давай, Акимовна. Спрашивай для порядку.

Травина. Поднимись, Дракин. Народ твой перед тобою. (Мамаеву) Вкратце записывай... Подробности потом проставишь.

(Мамаев скрипит пером. Время от времени Похлёбкин наклоняется к столу записать мысль на клочке бумаги.)

Лет сколько, Дракин?

Дракин (озираясь). Пятьдесят шесть пошло. С рождества богородицы. Эдак, эдак... а что?

(Он ещё не свыкся с мыслью, что это уже конец. Потом он видит Бирюка, на голову возвышающегося позади других, и отводит померкшие глаза.)

Травина. Женат?

Дракин. Я являюсь бывший женатый. С женой не живу. Ослаб, по старости годов.

(Смех. Мамаев укоризненно качает головой.)

Сержант. Он, что, чудак у вас или ярятворяется?

Дракин. А чево преставление-го делать из меня! Дракина тут все знают.

Травина (терпеливо). Нам для похоронного акта нужно, Дракин. И ты не мне, ты ему отвечай... (и показала на Темникова.) Он твой главный судья!.. Чем занимался до семнадцатого года?

Дракин (переступив с ноги на ногу). В лихачах ездили. Имели обоз, двадцать семь лошадей. (Почесав бороду и кашлянув в рукав). Бывший город Санкт-Петербург.

Травина (для присутствующих). Почему бывший? Весь простреленный, он ещё стоит и дерётся, Дракин. А, вот, ты, например... много ты против отечества потрудился? А в прежние годы воевал за него?

Дракин. Как Бирюка забрали, я единственный сын у отца остался. (Быстро, опережая следующий вопрос) Имею срочное заявление к суду.

(Заминка и настороженное внимание. И даже Лена вопросительно подняла голову.)

Золото закопано у меня. Браслеты, также цепи разные, на ценных камнях. Могу указать место. По соглашению.

(Пока Похлёбкин кратко совещается с Травиной, нарастает гул гневных голосов — «насосал злата-те!», «экой Минин наизнанку выискался...» Один даже выскочил на средину, яростно потрясая гранатой: «Ты почём, почём на рынке за морковку-те взимал? Женщинка одна в голос над мешком твоим ревит... при ей двое писклят за юбку дёржатся, а ты скребёшь её железною рукой!»)

Мамаев (горячо). Не надо нам. Через сто годов найдут твой клад и скажут... подлец, скажут, в какую пору у отечества похитил. Не надо нам злата твоего!

Травина. Тише, товарищи!

(Следует ещё запоздалый возглас из толпы — «купить нас хочет, банкир какой!»)

Товарищи, больные у нас тут.

(Шум стихает.)

Бирюк. Вынай, Степан, что на душе-то у тебя смердит. Вынай, облегчи себя.

Травина. Слышал? Скажи людям, какие причины толкнули тебя на это чёрное дело?

Дракин (сперва обдумав ответ). Я давно обрёк себя... на это. Двор вы мне разорили... молчал я. Коней моих увели. На Гнедом-то, бывало, без дубчика на башню вкатишь! Ему б в тот раз, как зазяб, сороковку спойть да поездить погуще, он бы и теперь... (С вызовом) Где Гнедой!? (Подавив вспышку) И Гнедого смолчал. А нынче сына вы у меня отобрали.

Трави́на. Не хитри. Сбежал твой сын. Дракин (скорбно). Дурак, вернётся. Не наш, не наш, не дракинский...

Мамае́в. Твой-то отец богаче был, а эка, убивца выросил. А у нас Илья агроном, человек станет. Он в тайну рошёнья всякого проник...

Дракин (грубо и властно, перебив его). Он бы у меня король был. Король, понятно? И ты бы в яшках при столе его стоял, пока тебе не свиснут.

Похлёбкин. Врёшь! (Смаху кулаком в стол) Он бы на конюшне спал у тебя, твой король. Бирюк-то дитём от отца сбежал...

(Голоса: «Заткни ему глотку-то!», «особой ценности не представляет», «дай ему девять грамм шесть десятых!»)

Ничего, пускай, пускай всё говорит. Теперь советская власть ничего не боится. Трепись дальше, Дракин!

Дракин. Тот настоящий король и есть, кто из солдата выходит. Ты человек молодой, Василь Васильич. Дай тебе господь при полном коммунизме сон такой радостный увидеть, как бы сын мой жил.

Трави́на (покачав головой). Слышали? Запомните, в ком ещё сомнение осталось!.. Есть у кого-нибудь вопросы?

(Молчание. Трави́на повернулась к Похлёбкину.)

Похлёбкин (сбирая листки со стола). Пять минут мне нужно.

Трави́на (так же, вполголоса). В полторы укладывайся... некогда, Похлёбкин. Давай!

(И тогда Похлёбкин прячет в карман эту шумную, скомканную, ненужную ему больше бумагу.)

Похлёбкин (торжественно, почти мудро и без крупницы прежней злости). Всенародно обличаю тебя, Дракин. Пойман ты на месте, народной жизни вор. Кто же ты есть, враг? Отвечая на указанный вопрос. Ты есть явленное временное. Ты жил, пока ночь землёй владала. Но поёт петух, и пора тебе собираться в дорогу... Да, пора, пора всемирному человечеству исходить из пустыни его зверства. Это я ему нонче совет даю, русский мужик из спалённого Кутасова... (Коснувшись сердца под гимнастёркой) Что это со мной... сердце-то как щемит!

(Голос в тишине: «Воды ему!») Зачерпнув из ведра, Бирюк отправляет к Похлёбкину по рукам ковш. Тот отпивает глоток и ставит на стол, расплёскивая часть воды при этом.)

Какая же картина ныне расстилается перед нами, товарищи?.. Немирный век в могилу сходит. И это ты, Дракин, под руки его ведёшь, кровавого своего папашу. Слушай же, в последний раз, как

лес шумит. Славно шумит, слаще девичьей песни. Думаешь, силу свою считает, либо мелку зимню ёлочку прибажковывает? Нет, это он вас славит, русские рабочие и мужики. (Повышая голос). Вся дикость земная из пещер своих на вас рванулась, и вы её грудью окровавленной отшибли. Думается мне теперь, весь шар земной вам за это поклонится... если только не свинья!.

(И опять, сам дивясь недугу своему, замолкает с закушенными губами. Неожиданно он садится. В ту же минуту, подойдя к Трави́ной, сержант произносит одно какое-то слово, которое меняет всё.)

Трави́на. Ладно, кончили... (Торопливо, про Дракина) Уведите его пока. И сами, и сами.

(Тревожно поглядывая на лейтенанта, которого не видно сейчас из-за спины сержанта и Лены, народ покидает землянку, увлекая в своей волне и Дракина.)

Василь Васильич... догорает наш гость. Отойдём в сторонку, пускай простятся!

(Все они отходят в противоположный угол. Глаза Темникова закрываются.)

Лена. Открой, открой. Я забыла, какого цвета твои глаза. Покажи мне их, покажи...

(Обезумев, она трясёт его колено. Веки Темникова поднимаются.)

Темников (тихо и внятно). Руку дай... Лена.

(Как в самом начале, они смотрят в лицо друг другу. Улыбка родится и потухает на устах лейтенанта. Глаза закрываются, и падает разжавшаяся рука.)

Лена. Ещё, ещё гляди... (Распахнув платье у ворота) Смотри... это я, Лена твоя... Не оставляй меня, не уходи!

(Она ещё ждёт чего-то, может быть, чуда. Надоумленный жестом Трави́ной сержант задёргивает брезентовый занавес. Визжат проволочные кольца. Мамаев крестится, Похлёбкин намелко ломает какую-то щепочку... Шум и ругань слышны снаружи. Мамаев заранее открывает дверь и сторонится. С громадной ношей и в кожане с оторванным рукавом, растерзанный и в поту, появляется Илья. Он ещё не понимает значения предостерегающе поднятых ему рук. Сложив на ступеньках рогожный узел, который скатывается вниз, в землянку, он шапкой вытирает лицо.)

Похлёбкин (подозрительно). И ты падал какую-нибудь притащил?

Илья (хрипло). Смерти ходил искать,

не взяла... Доктора не было, я фершала ихнего приволок. Развяжи... поосторожней. Я, кажется, руку ему сломал.

(Развязывают рогожный узел, накрест опутанный верёвкой. Смертно запуганный, там съёжился человек в немецкой врачебной форме. Его подняли. Он в ужасе пятится к печке, когда к нему приближается Илья.)

Чего, не тигры мы, люди. Только осерчали на подлость вашу!

(Поочерёдно глядя на всех, пленный жмёт плечами. Рука его, как тряпичная, висит вдоль тела.)

Мамаев. Потихе с им говори. Бойтся.

Илья. Слушай меня, фриц. Смерть твоя говорит с тобой. Хорошего человека вы убили, и девушка моя любит его. Лечи! Не вылечишь... (и глаза Ильи темнеют) выпью рыжие твои очи, сердце в тебе задушю!.. (Тише и кивнув на занавеску) Иди.

Пленный (поняв смысл приказанья, воодушевляясь и скороговоркой). Болной? Можна. Можна. Ich soll mir den Kranken ansehen! (Приосанясь, он отправляется за занавеску и тотчас выбегает оттуда. Челюсть его отвисла, неразборчивое мычанье срывается с перекошенных губ.)
Aber einen Toten kann ich nicht heilen.
Ich bin Kein Herrgott. Ich bin nur ein Sanitäts feldwebel!

Илья (замахнувшись). Лечи!..

(Похлёбкин ловит в воздухе руку Ильи. Появляется Лена, и это даёт пленному время забиться в угол землянки. Платье Лены раскрыто на груди; она стоит, ничего не видя перед собою... и как непохожа она на себя — в начале этого повествованья! Мамаев спешит укрыть её плечи платком.)

Мамаев. Закройся, дочка... люди тут. Лена. Что ж он молчит, твой старый чёрный камень, папаня?..

(Мамаев опускает голову перед этой великой и гневной печалью. Сержант распахнул дверь и, привалясь к косяку, смотрит в небо. Зарево погасло, светят звёзды, шумит ночной лес.)

Трави́на. Вот, и тихо стало у нас. (Деловым тоном). Скольжо на часах у тебя, Похлёбкин?

Похлёбкин (взглянув на часы). Пора собираться... Нет, шумно будет в эту ночь, хозяйка. Эй, не хочешь на большой тризне погулять, сержант? Облачайся тогда. Там, в углу, выбери ему что пострашней, Мамаев.

(Мамаев идёт в угол, где под нарами сложено оружие.)

Скажи ребятам, чтоб наготове были.

(Трави́на уходит. Сержант одевается.. Лена тоже движется к стене, где висит одежда. Пугаясь её решимости, Илья с раскинутыми руками становится на её пути.)

Илья. Не ходи, Лена.. (Ища поддержки во всех) Не пускайте её, она не вернётся. Не ходи!

Сержант. Пусти её. Она имеет право. Она забыться хочет... Таких и смерть трепещет!.. (Сдёрнув с гвоздя ленин полушубок) Пойдём с нами, бездомная. Заплатим им горем за горе, ударом за удар...

(Лена стоит посреди. Великая печаль уходит из её глаз, и как бы стальное забрало опускается на её похуевшее лицо.)

Лена (затягивая ремень на себе). Остановись, земля. Содрогнитесь, немецкие девушки. Плачь, Германия!

Конец

Авг. 1942 — янв. 1943 гг.

БАЛЛАДА О ДВУХ РАКЕТАХ

ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ



Он по карте маршрут свой проверил опять,
Взял ракетный с собой пистолет
И сказал батарейцам: «Огонь открывать
По сигналу двух жёлтых ракет».

И пополз по высокой, как волны, траве,
Обогнув укреплений ряды.
И на небе вечером зареяли две
Призывающих к бою звезды.

Но противник, чтоб этот запутать сигнал
И от нас отойти поскорей,
Из укрытия третью ракету послал —
И... не слышно огня батарей.

Притаился разведчик в высокой траве,
Снова вверх разрядил пистолет,
И вечернее небо прорезали две
Обусловленных вспышки ракет.

Но противник, чтоб этот запутать сигнал
И от нас отойти поскорей,
Снова третью ракету вдогонку послал —
И... не слышно огня батарей.

Тут разведчик нарушил опять тишину,
Снова вверх разрядил пистолет
И послал наудачу ракету одну,
А противник — вторую вослед.

Постепенно запутался в гуще ветвей
Этих звёзд замирающий свет,
И слышали рожи огонь батарей
По сигналу двух жёлтых ракет.

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Исторический роман в 2-х частях

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ



Часть II. ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО*

Глава шестая

БРУСИЛОВ В г. РОВНО

1.

Вбирая в себя мутные воды всех Икв, Пляшэвок, Слонёвок, Ситнёвок и прочих, река Стырь гонит их в реку древних древлян — Припять, чтобы та принесла их, как вековечную дань, Днепру.

На Стыри — Луцк. В Луцк, вскоре после того, как был он взят частями 8-й армии, — срубившими виселицы в саду за окружным судом, на которых австрийцы вешали иногда по сорока человек в день, — вернулся старый русский уездный исправник. Однако фронт пока ещё не продвинулся дальше Стохода, другого притока Припяти, следующего за Стырью, такого же полноводного и с такими же болотистыми берегами, весьма удобными для защиты.

Если за Стырью укрепились, местами стремясь переходить в контратаки, австро-венгерцы, подпёртые германцами, то за Стоходом германцев теперь было гораздо больше, чем австрийцев, так как тут развёртывалась упорнейшая борьба за Ковель и за Пинский район, который был всецело германским.

В самом Ковеле уже не было австрийских полков, — германцы целиком в свои руки взяли его оборону. Реквизировав у кителей всех лошадей, всю вообще живность, все запасы продуктов, они поставили всех, кто не лежали больными и не были явно дряхлы, на работы по укреплению города. На бетонных площадках с юго-восточной стороны его устанавливались тяжёлые орудия; с запада к городу проводились узкоколейки; не только ежедневно, — ежечасно подвозились новые и новые эшелоны войск. В то же время

обречённое на голод население видело, как из города на запад вывозилось всё ценное, так что и сами германцы не питали прочных надежд, что им удастся отстоять город, тем более, что сгустились над ними тучи и засверкали в этих тучах молнии, как на западе, на реке Сомме, так даже и на востоке, по соседству с фронтом правофланговой армии брусиловского фронта, — у Эверта.

Жестокая канонада на Сомме гремела уже несколько дней под ряд, переключаясь с канонадой у Вердена, где французы контратаками отбили у немцев форт Тиомон, потом вновь потеряли его, потом, через день, вновь отбили, наконец, вынуждены были уступить весьма упорному и настойчивому врагу всё изрытое на большую глубину снарядами место, где был форт, оставив за собою склоны холма.

Ещё не ясно было из поступающих донесений, каков размах действий англо-французских армий на Сомме, но известно было, что эти армии численно гораздо сильнее германской и лучше снабжены снарядами.

Неясно пока было и то, кто первый начал действовать на русском Западном фронте, где долго царило затишье. Штаб верховного главнокомандующего сообщал, что немцы открыли сильный огонь к юго-западу от озера Нарочь и одновременно на другом участке при помощи газовой атаки захватили окопы, но потом были из них выбиты; а возле Барановичей русские войска взяли в плен до полуторы тысячи человек.

Наконец-то и на втором фронте, у Эверта, началось то, чего долго и напрасно дожидался Брусилов: загремело, — и он уже не мог усидеть в своем Бердичеве.

Когда не день, не неделю, не месяц, даже не год, а уже почти два года изо дня в день мозг одного человека вмещает в себя сотни тысяч людей, раскинутых на многовёрстных пространствах, —

* Окончание. См. «Новый мир», № 2—3.

людей, то убывающих, то прибывающих снова целыми полками, дивизиями, корпусами, — людей, стоящих на страже и обороне огромной страны, творящих историю великого народа, — это не может быть и не бывает лёгким делом.

Но по странному, однако же неуклонным законам, такой человек начинает чувствовать величайшее облегчение, если в его мозг вливаются ещё сотни тысяч, даже миллионы других людей, занимающих место рядом с прежними.

Несмотря на всю свою неприязнь к Звергу, Брусилов чувствовал себя безмерно помолодевшим, когда расказался, наконец, эвертов фронт, пусть даже зачинщиками в этом были сами же немцы: важно было ведь не то, своя или вражеская Ставка вывела его из состояния летаргии, а то, что он выведен, ожил, действует и непременно будет действовать в будущем, так как в ближайшие же дни он продвинется вперёд, и немцы не в состоянии будут остановить движения всего русского фронта, поскольку они зажаты теперь в тугие тиски на Сомме и у Вердена.

Именно это стремление вперёд всеми силами, как своими, так и соседними, так и союзными, дальними, там, на западе, двинуло на фронт Брусилова: он ринулся в схватку, как юный кавалерист, который не может ведь усидеть спокойно на коне, когда всё поле перед ним полно топота бешеной атаки, гиканья, выстрелов, оружейного гула и дыма, ослепительного блеска сабель...

Он был таким и прежде, этот «берейтор», как презрительно называли его иные «моменты», то-есть академики, стремившиеся исключительно к штабным тёплым местам, где можно было уверенно и быстро двигаться в чинах, не двигаясь при этом с просиженных другими подобными же карьеристами кресел. Кроме того, 8-я армия, которой поручена была труднейшая и почётнейшая задача, не успела ещё совершенно оторваться от него и поблудеть в его представлении. Он не мог поставить её в ряд с остальными, если бы даже и захотел этого: слишком сжился он с нею за двадцать месяцев войны.

— Казалось бы, — пустые, затрёпанное слова: «сроднился с армией», — говорил в своём вагоне, прислушиваясь к ходу поезда и глядя в окно, Брусилов Клембовскому и Дельвигу, — однако, это так... Что-то есть, чего не выдерешь из памяти, не говоря, конечно, о том, что вместе переживались походы, наступления и отступления, победы и поражения... Я ведь очень многих офицеров знаю и помню не только среди штабных, — из строевых тоже... Мне кажется, что решительно всех командиров полков даже, не только начальников дивизий, я отчётливо помню... И удельный вес каждой крупной там ча-

сти мне хорошо известен: я знаю, что одна часть может дать больше, а другая, — всё от командного состава зависит, — меньше... «Сродниться» — это значит «знать», а «знать» — это значит гордиться, потому что... потому что нельзя, господа, с тем и сродниться, чем нельзя гордиться... Вот вы, например, Сергей Николаевич, — обратился он к Дельвигу, — говорили мне как-то о своём отце, что был он в Севастопольскую кампанию командиром полка; какого именно?

— Владимирского пехотного, Алексей Алексеевич, — ответил светловолосый, широколобый и широкоплечий Дельвиг, человек лет пятидесяти. — Полк этот теперь в 6-м корпусе, у генерала Гутора, Владимирский полк.

— Вот видите, как: вы всё-таки следите за ним, — где он и как, — хотя вы сами и артиллерист и никогда лично во Владимирском полку не служили. Вы только слышали об этом полку от своего отца ещё в детстве, — и этого довольно: Владимирский полк стал уже вам родным... Этим-то и были сильны армии в прошлом, когда тридцать-сорок тысяч человек считалось уж целой армией, — а теперь, конечно, у нас, как и у противника, даже, по существу, и не армия, а народ с оружием, но требования к этому народу в двадцать раз более повышенные, чем к солдатам и офицерам, например, боевой кавказской армии в турецкую войну. Правда, молод я ещё тогда был, однако, помню...

— А что будет ещё через тридцать-сорок лет? — вставил Клембовский. — Какие требования к человеку будут предъявлены тогда?

— И успеет ли человек за такой промежуток времени настолько измениться психически, чтобы вынести войну, какая тогда будет? — спросил и Дельвиг. — Ведь техника может развиться чудовищно за тридцать-сорок лет...

— Да, вот именно, — перебил Брусилов, — разовьётся техника... Между прочим, если бы мне, когда я был на Кавказе поручиком Тверского драгунского полка, в 77-м году сказали, что я буду через тридцать девять лет главнокомандующим армии в полмиллиона и даже гораздо более человек, разве я бы этому поверил? Уверю вас, что счёл бы за глупую над собою шутку и сгоряча мог бы обругать подобного шутника... Однако, как это ни странно, худо ли, хорошо ли, руковожу вот огромной армией... Значит, что же, собственно, из этого следует? Славобив ли я? Нет, нисколько. Мечтал ли я непременно выскочить в Наполеоны? Смеем вас уверить — никогда! К чему-нибудь я стремился всё-таки? Только к тому, чтобы выполнять свои обязанности.

— Если даже только так, Алексей Алексеевич, — сказал, улыбнувшись, Клембовский, — то ведь это, выходит, тоже редко-

отное явление. Обязанности ваши росли вместе с повышением по службе, и вы оказывались им по мерке, — значит, вы тоже росли вместе с ними. Вот и ответ на серьёзный вопрос, какой задал Сергей Николаевич: успеет ли человек психически измениться, чтобы вынести будущую войну?

— Какой же это ответ? — недоуменно спросил Дельви́г. — Я ведь говорил о рядовых людях, а не о главнокомандующих, — и тем более не о лучшем из них в России... А рядовых людей, которые будут втянуты в войну, скажем, через тридцать лет, будет, может быть, не несколько десятков миллионов, как теперь, а... боюсь сказать, — вдруг сотни миллионов, — например, вся целиком Европа, и Азия, и Африка, — весь старый свет...

— Значит, война всех против всех, — досказал Клембовский. — Как же тогда?

— Вот именно, — как же тогда будет выносить эту войну обыкновенный средний человек? Ведь тогда она будет вестись главным образом аэропланами, так что, может быть, и артиллерия будет громить города и сёла в тылу с воздуха... Не пропадёт ли тогда у человека вообще, у человека en masse, вкус к жизни? К чему тогда целую жизнь стремиться приобретать знания, семью, имущество, если в один день, — хотя бы ты был уже и не призывного возраста и жил бы вдалеке от государственных границ, — семья твоя истреблена, имущество уничтожено и сам ты, если уцелеешь даже, — сделаешься инвалидом, бобылём, нищим... Перестанут ли в виду таких чудовищных средств истребления воевать люди?

Дельви́г переводил глаза с Клембовского на Брусилова, и Клембовский, подумав не больше трёх секунд, сказал убеждённо:

— Нет, всё-таки не перестанут.

Бруслов же несколько задержал ответ. Он смотрел на Дельви́га, как бы издали, хотя и сидел против него в купе обычной ширины. Продолговатое лицо его, ровно половину которого занимал лоб, нисколько не загорело, несмотря на июнь, — ему некогда было выходить на воздух, — и на этом белом лице внимательные, как бы пронизывающие, глаза его были слегка презрительны, когда он проговорил медленно:

— Какими бы средствами ни велись войны, они, конечно, не прекратятся, несмотря ни на какие наивные Гаагские конвенции, раз только существуют государства, опоздавшие к разделу колоний... И какие бы жестокие они ни были, инстинкта жизни в человеке они тоже не истребят... И самая постановка вопроса вашего, Сергей Николаевич, мне кажется, простите, несколько отвлечённой. А ближе к делу был бы другой не менее прожаренный вопрос: почему мы так дурно подготовились к войне в Европе, когда

получили уже урок в Азии? Почему мы не разглядели, что если есть у России заклятый враг, то его не надо искать за тридевять земель, — он рядом с нами и ест наш хлеб, и имя этому врагу — германец!

Не меня выражения своих глубоко сидящих, неопределённого цвета, но не серых, не светлых глаз, Бруслов остановился на момент и продолжал, снова обращаясь к Дельви́гу:

— Я говорю это при вас, не считая этого безтактною, так как вас не считаю способным быть на меня за это в обиду: вы — русский душою и телом, вы — сын доблестного защитника Севастополя, для вас интересы России так же дороги, как и для меня, — я имею в виду только германцев, которых наблюдал как-раз перед самой войной в Киссингене. Вот это было зрелище! Вот это была демонстрация ненависти к России и больше того — какого сатанинского презрения к ней, если бы вы это видели!

— Об этих эксцессах по отношению к русским, застрывшим тогда в Германии, писалось в газетах, Алексей Алексеевич, — приходилось много читать, — сказал Дельви́г.

— Видеть, видеть нужно было своими глазами, и видеть именно то, что мне с женой пришлось видеть! — оживлённо отзывался на это Бруслов, нервно пригладил синеватые, но не совсем седые, стоявшие ёжиком короткие волосы, и продолжал: — Мы поехали в Киссинген в начале лета 14-го года. Я был тогда командиром 12-го корпуса. Корпус этот был большой: кроме двух пехотных дивизий, в нём было две кавалерийских, стрелковая бригада, сапёрные части и прочие, — целая суворовская армия... А штаб корпуса находился в Виннице... Корпус был разбросан по всей Подольской губернии, но лучшего города в этой губернии, чем Винница, не было... Лучшие воспоминания у меня об этом миллом городе, но это между прочим... В Киссинген я поехал подлечиться водами просто потому, что был как-то в нём раньше. Это — курорт в весьма красивой долине, вблизи его горы. В городе много гостиниц, большой парк. Всегда там бывал большой съезд курортных, преимущественно из России... Не знаю, известно ли было вам в то время, что война с Германией у нас ожидалась в высших командных кругах, но ведь все сходились на том, что мы можем быть готовы к ней только в 17-м году, и никак не раньше; о Франции тоже на этот счёт не было двух мнений: — к 17-му году... Однако мы знали, что Германия очень сильно опередила в вооружениях и нас, и Францию, и вполне могла начать войну в 15-м. Вот почему я и мог получить отпуск для лечения за границей, да ещё и в Германии. И ведь разве я один? Многие в то лето восполь-

зовались отпусками, кто для лечения, кто просто для отдыха... Живём с Надеждой Владимировной, — с женою, — в прекрасной гостинице; табльдот, — прекрасный стол... Был у нас там и постоянный сосед, усатый мужчина военной выправки, — всё на нас цоглядывал, так что я уж шутя говорил жене: «Причаровала ты этого молодчину!»... Чтобы тут же его разъяснить, скажу, что это был, как потом оказалось, субъект из берлинской разведки, которой отлично было известно, что я — командир корпуса, стоящего на русско-австрийской границе... Итак, мы приехали в конце мая и дожили тут, в этом Киссингене, до двадцатых чисел июня, так что заканчивался уже наш курс лечения, начали мы готовиться к отъезду, и вдруг сюрприз приятный приготовили отцы города для нас, русских курортных: на центральной площади парка, среди цветников появились декорации, — московский Кремль с Успенским собором, с Иваном Великим, с башнями, с зубчатыми стенами, и несколько поодаль — Василий Блаженный! Отлично сделано, всё очень похоже, — смотрите, мол, русские гости наши, как мы к вам внимательны, как мы ценим то, что вы у нас оставляете свои деньги!.. Афиши повсюду в городе: объявляется большое гулянье, фейерверк и прочее... В назначенный день парк, конечно, полон, — двигаться по аллеям можно только в сплошной стене гуляющих... Гремят оркестры, — несколько оркестров, и духовые, и струнные, — и что же именно гремят они? — Русский гимн «Боже, царя храни!»... Какое реверанс в сторону России, а?.. Только-что отгремело это, — началось новое «Коль славен»... Величественно, что и говорить! Все русские, и мы с женой тоже, чувствуем себя, как на своих именинах... То-и-дело взлетают разноцветные ракеты, грандиознейший фейерверк ослепителен... Но вот... вот тут вдруг начинается что-то совершенно непонятное, — точно пушечная пальба откуда-то с гор, и летят огни оттуда, очень точно рассчитанная пальба, — вроде снарядов с дистанционными трубками, — прямо на Кремль, на Василия Блаженного, — и вдруг все эти сооружения вспыхивают и начинают гореть, и вся публика ахает и пьитится, дым, гарь, — рушатся кресты и купола и стены, а все оркестры гремят уже увертюру Чайковского «12-й год»... Я смотрю в недоумении на жену, она на меня, — готовы даже дёрнуть друг друга за руки, чтобы убедиться, что мы не спим, не сон видим, что это действительность... Однако, какая же подлая действительность, господа!.. Только-что отзвучала увертюра Чайковского, как заревели все оркестры и все немцы кругом свой национальный гимн: «Дейчлянд, Дейчлянд юбер аллес!»... Как вам это нравится?

— Очень нагло! — изумлённо сказал

Дельви́г, а Клембовский спросил, высоко подняв брови:

— Это было, вероятно, уже после выстрелов в Сараеве?

— В том-то и дело, что раньше! В этом-то и соль всей этой комедии, очень старательно подготовленной!... Ведь, как хотите, это требовало мастеров своего дела, режиссёров; это требовало порядочных всё-таки затрат; наконец, подобное издевательство над русскими святынями, — над Кремлём, над Василием Блаженным, с явным наёмом на пожар Москвы в 12-м году, как оно могло быть терпимо в любое другое время? Ведь это — политический выпад очень большой заострённости, — раскрытие всех карт, притом чрезвычайно самоуверенное, — однако же киссингенские немцы решили, что стесняться уж нечего, и... ошеломили нас этим чрезвычайно!.. Однако даже после такого явного оскорбления нам, русским, нанесённого, все курортные, так же, как и мы с женой, всё-таки заканчивали курс лечения: вот как велика была у нас вера в немецкую бальнеологию! Вдруг, — полная неожиданность, но уже с мировым резонансом, — выстрелы в Сараеве, убийство четы — эрцгерцога Франца-Фердинанда с женой, — буквально, как громовой удар с пока ещё ясного неба!... Тут уж сомневаться в близости войны было никак нельзя, однако же до того чудовищной всем казалась война между культурными европейцами, которые только-что за одним табльдотом обедали, что, уверяю вас, девяносто девять процентов русских, бывших тогда в Германии, всё-таки не хотели верить, что война вот она, — растворяй ворота! Мы с Надеждой Владимировной тоже не верили, думали, что как-нибудь уладится дело, хотя уже ультиматум Франца-Иосифа Сербии был нам известен... Несколько дней было у нас таких, как говорится, между страхом и надеждой, наконец, когда я с точностью до пяти дней определил, что не позже 25 июля должно начаться, мы, разумеется, не медлили с отъездом ни одного часа... И всё-таки в Берлине улицы были полны уж тогда народа, буквально бушевавшего, особенно возле нашего посольства... Вот где ругали Россию! Вот где требовали войны немедленно!... Вот где окончательно и уж теперь на всю свою жизнь понял я, что заклятый враг наш Германия.

Брусилов закончил взволнованно, так что Клембовский счёл нужным, чтобы разрядить эту взволнованность, заметить:

— До Москвы, однако, немцам далеко, как до звезды небесной!

— Но замысел-то, замысел был, оказывается, каков у этих степенных колбасников с их увесистыми дражайшими половинами! — возбуждённо подхватил Брусилов. — Откровеннейший замысел сжечь без остатка Москву, притом со ссылкой

на 12-й год!.. Если б вы видели, как они хлопали в ладоши и как визжали обрадованно, эти Амалии и Берты, — откуда у них и темперамент взялся! — когда горел и валился Кремль! Но ведь раньше, чем сжечь Кремль, надо сжечь половину России, — и на это, значит, шли, как и надо, с пафосом, с визгом, с аплодисментами!.. Понаблюдали бы вы их, как они рассаживаются на зелёной лужайке в праздник для того, чтобы по фунту свиного сала съесть и по три бутылки пива выпить: они, эти Амалии белообрывые, без всякого стеснения, как по команде, все задирают верхние юбки, чтобы их не зазеленить травой, и усаживаются на нижние!.. Юбки свои они жалеют, значит, а миллионов русских детей, которые по милости их воинственных настроений, осиротеют, а миллионов калек русских, миллионов нищих, которые лишатся всего, что имеют, — этого никого им, подлым тварям, не жалко! Я говорю об Амалиях, а не о Гансах, потому что отсюда же к нам пришла эта так называемая «вечная женственность», как не из Германии, и казалось бы, Амалия должна была, как Андромаха Гектора, остановить чересчур зарвавшегося Ганса, но в том-то и дело, что этого не было, господа, этого мне видеть не удалось. К ужасу моей жены, господа, Амалия была вне себя от восторга, когда «жёг Москву» её Ганс!

2.

От Бердичева до Ровно, где был штаб большой армии Каледина, прямая дорога вела через ту же старорусскую Волынь, из которой вышвырнула на своём участке врагов 11-я армия и почти вышвырнула 8-я: оставались в руках австро-германцев только Владимир-Воыньск и Ковель с частями своих уездов.

Поезд Брусилова шёл по живописным местам, вздыбленным, лесистым, богатым. Поля пшеницы, уже колосившейся, переливисто-волнистой, чередовались с плантациями кукурузы и сахарной свеклы, хотя уже много попадалось и пустополя, густо заросшего золотой сурепицей и другими буйными сорняками. Украинские хутора хотя и не везде блистали чинной и потому милой сердцу довоенной белой хат, но попрежнему красовались монументальными тополями, напоминавшими Брусилову Кавказ, где он родился и жил до конца отрочества, когда его отвезли в Петербург, в пажеский корпус.

Промелькнул, сверкнув здесь и там, извилистый крутобережный Тетерев, приток Днепра; должны были засинеть и другие большие воыньские реки — Случь, Горынь, которые тоже пересекала эта линия железной дороги на пути к Ровно.

У Брусилова была душа податливая к красоте природы, притом южной, как наи-

более пышной. Когда он вырывался в отпуск, начав свою службу с юных лет, он путешествовал по Италии, Греции, Турции; свои дни отдыха летом, будучи уж на больших служебных постах, он любил проводить за городом, в местах, подобных тем, по которым проезжал теперь, почти неотрывно глядя в окно.

Теперь он тоже как бы вырывался из привычной каждодневной обстановки своей штабной работы, яснее мог представить свою жену Надежду Владимировну, выскую, немолодую уже, свыше сорока лет, но полную кипучей энергии женщину, с лучающимися голубыми глазами; мог подумать и о своём сыне от первой жены, молодом офицере, которому предстоял важный шаг в жизни — женитьба.

От жены и сына он был оторван войною, точнее, той великой ответственностью, которую на него возложило его положение в армии. От его распоряжений, от его действий, от тех подписей, какие он ставил на тысячах бумаг, зависела судьба сотен тысяч людей на фронте и миллионов людей в тылу, и в этом великом многолюдстве тонули, не могли не тонуть два самых дорогих для него человека — жена и сын; впрочем, оба они жили своей жизнью.

Жена выявила себя как общественный деятель ещё в те годы, когда не была за ним замужем: во время русско-японской войны и позже она отдала себя делу помощи раненым и инвалидам и писала по этим вопросам статьи в журналах. Она не бросила этого и когда вышла за него замуж — года за четыре перед войной. Она отдалась этому снова во всю глубину своей деятельной натуры теперь, когда гремела война.

Но если свою жену он знал ещё тогда, когда была она девочкой и жила на Кавказе, если о ней он иначе и не думал, что она как бы предназначена была ему в жёны, то совсем другое было с его зном. Тут была просто ловля жениха с громким именем, причём невеста была взбалмошная мамашина дочка, а мамаша состоятельная помещица, желавшая вращаться в высоком обществе. Атака на сына со стороны этих обеих женщин велась до того настойчиво, что за него, которому, конечно, он желал счастливой семейной жизни, было очень тревожно.

Воынь входила в число тех двенадцати губерний, из которых состояли Киевский и Слесский военные округа, примыкавшие к Юго-западному фронту и бывшие в непосредственном подчинении Брусилова, так что на всё, что он видел теперь в окно вагона, он должен был глядеть хозяйскими глазами. Это и было в нём, и, разумеется, этого ничто не могло вытравить; строгий к себе самому, он был известен строгостью и к своим подчинённым, а очень наметанный зоркий хозяйский глаз он приобрёл ещё в те да-

лёкие годы, когда стал командовать эскадром в Тверском драгунском полку, и зоркость его росла с годами, чинами и повышением в должностях.

Он отмечал и теперь, как и где обработаны поля, назначение которых прежде всего кормить фронт; какие грузы, необходимые фронту, везут товарные вагоны и платформы, обгоняемые его поездом по другой колее; в каком состоянии лошади, оставшиеся у жителей после многочисленных мобилизаций; каков рогаый скот, — каковы, наконец, и сами эти жители, — как одеты, хмуры или довольны их лица...

Летнее, щедрое на ласку и тепло, солнце скрашивало, впрочем, всё, что могло показаться неприглядным в любое другое время; Волянь казалась радостной, как бы ни был подозрителен к этой радости любой насторожавший хозяйский глаз, и не показалось Брусилову ни в малейшей степени неестественным, когда подошла на одной станции к его вагону высокая красивая девушка с большим букетом скромных полевых цветов, шедшая впереди нескольких других сестёр милосердия.

Все сёстры были из санитарного поезда, направлявшегося на фронт так же, как и поезд главнокомандующего, но поставленного пока на запасной путь. Этой задержкой и воспользовались сёстры, чтобы набрать цветов.

Конечно, и комендант станции, и парадно одетые жандармы стояли на перроне, — был полностью соблюден весь декорум встречи главнокомандующего, который, впрочем, не выходил из вагона, а стоял у окна, так как остановка здесь по расписанию должна была длиться три минуты, но большой свежий букет цветов в узкой, голый до локтя, слегка загорелой девичьей руке, лучистые голубые глаза и эти несколько слов, сказанных застенчиво, но вполне внятно: «Ваше высокопревосходительство, не откажитесь принять» — растрогали Брусилова.

Он, так много на свободе думавший о сыне, собиравшемся ввести в их дом молодую жену, и о своей жене, высокой женщине с голубыми глазами, не только взял букет, но, удержав узкую загорелую руку девушки и перегнувшись к ней из окна, дотронулся до неё губами так же радостно-почтительно, как если бы перед ним стояла Надежда Владимировна. Он спросил девушку:

— Как ваша фамилия?

— Веригина, — ответила она.

— А имя?

— Наталья.

— Благодарю вас, — кивнул головою и ей, и другим сёстрам Брусилов.

Поезд тронулся, а он стоял в окне, глядел в их сторону, и улыбка, пробившись

на его строгом лице, так и не сходила с него, пока он был виден Наталье Сергеевне.

3.

Как-нибудь точно установить потери противника, конечно, не было возможности. Можно было только привести в известность количество пленных и взятых трофеев, и к середине июня пленных насчитывалось уже около двухсот тысяч человек, из которых свыше трех тысяч было офицеров, а трофейным оружием перевооружались целые дивизии, и это оказалось вполне удобным потому, что патронов к русским трёхлинейкам насчитывалось на складах гораздо меньше, чем захваченных австрийских патронов.

Из подсчёта убитых и тяжело раненных солдат и офицеров австро-венгерцев, а также из опроса пленных определялось в штабе Брусилова общее число потерь противника не меньше, как в семьсот тысяч человек. Однако и число потерь в войсках Юго-западного фронта было тоже велико: с 22 мая по 16 июня, то-есть, меньше, чем за месяц, вышло из строя четыре тысячи офицеров и двести семьдесят пять тысяч солдат. Миллион бойцов с той и с другой стороны вырвал брусиловский прорыв всего только за 23 дня боевых действий, причём далеко не все дни и далеко не на всём фронте за это время велись бои.

Конечно, легко и даже серьёзно раненные, подлечившись, должны были со временем снова влиться в строй с обеих сторон, но одних только убитых и умерших от ран за эти три недели насчитывалось во всех четырёх армиях Юго-западного фронта свыше сорока тысяч солдат и офицеров, — к подобным потерям не мог сразу приспособить себя даже и Брусилов, привыкший в эту войну командовать только одной армией, вся численность которой не превышала обычно полтора-два тысяч штыков и сабель.

Результаты подсчётов не выходили у него из памяти, пока он ехал в Ровно, и не один раз он спрашивал себя, не слишком ли щедро расходует он людей, не мотовство ли это, какое проявляют иногда неожиданно для себя сразу разбогатевшие люди. Соответствуют ли эти огромные потери достигнутым результатам? Очень трудно было ему ответить на такой прямой до жестокости вопрос, так как не было у него таких весов, на одну чашку которых можно было бы класть потери, а на другую — успехи и делать это уверенно, безошибочно и беспристрастно.

Но теперь не один уже только его фронт, а также и соседний с ним Западный разрешил себе, наконец, трату людей, и Брусилов ловил себя на том, что думал не без оттенка соперничества: «Ну,

вот, пусть теперь нам, молодым главным командующим, покажет старый и опытный Эверт, как можно добиваться больших успехов малой кровью, а мы посмотрим, поучимся, — учиться никогда не поздно!.. Что же касается нас, грешных, то мы твердо знаем только один непреложный закон: с волками жить, по-волчьи и выть; и раз противник, нам объявивший войну, ведёт её большою кровью, для чего заготовил неисчислимое количество снарядов, ружейных патронов, мин, то как можем мы победить его, ахая и хватаясь за голову при подсчёте наших потерь?»

Все эти и подобные им мысли во всей осязательности их встали перед Брусиловым, когда он увидел встречавшего его обычным рапортом командующего 8-й армией Каледина.

Он не видал его со времени совещания в Волочишке в начале апреля. Но если и там Каледин вызывал своим видом распросы о его здоровье, то это было вполне объяснимо: он только-что, незадолго перед тем, вернулся из госпиталя, где лежал от сквозной пулевой раны, считавшейся тяжёлой. Тогда он был бледен, почти прозрачнолиц, с испариной, выступавшей на лбу, над переносьем от слабости, и Брусиллов ещё тогда спрашивал его, не лучше ли ему всё-таки ещё отдохнуть с месяц вдаль от фронта. Однако самонадеянность ли излишняя это была, или что другое, только Каледин тогда очень решительно заявил, что совершенно поправился и не где-нибудь ещё, а только на фронте будет чувствовать себя на своём месте и окончательно укрепит здоровье.

Брусиллов видел теперь, что он, — апрельский Каледин, — переоценил свои силы: перед главным командующим фронтом стоял, держа руку у козырька и сухонным голосом произнося избитые слова рапорта, командующий основной армией генерал с георгиевским оружием и двумя георгиеями за храбрость, худой, пожелтевший, скуластый, с померкшими тусклыми рыбьими глазами.

— Здравствуйте, Алексей Максимович! Вы не больны, а? — спросил Брусиллов, подавая ему руку.

— Никак нет, — вполне здоров, — ответил Каледин как будто тоже какою-то заученной избитой сухонной фразой.

Он был выше Брусиллова ростом и старался держаться молодцевато, но из него как будто вынут был тот «аршин», который полагается «проглотить», чтобы получить настоящую военную выправку. Однако дело было уж не в этой внешней выправке, когда ему были вверены Брусилловым силы, действующие на ведущем участке фронта: важна была выправка внутренняя — армия в голове, и об этом был острый разговор по существу дела между двумя генералами от-

кавалерии, из которых один был старше другого на восемь лет, но смотрел на него с сожалением, недоумением и горечью, которую не только не мог, — даже и не хотел скрывать.

Правда, и два предыдущих дня, и этот, в который приехал Брусиллов, были днями ожесточённых контратак немцев по всему вообще фронту и, главным образом, на участке 8-й армии, однако такой приём немецких генералов не был новостью для Брусиллова, и он не понимал, почему им так явно даже для невнимательного глаза удручён боевой командир Каледин.

— Разведкой обнаружено, — тоном доклада, грудным приглушённым голосом, говорил он, стоя рядом с Брусилловым перед картой своего фронта, висящей на стене в его штабе, — обнаружено против меня большое количество новых дивизий. Здесь, — показывал он на карте, — 108-я германская дивизия... Вполне установлено, что она переброшена ко мне с Северного нашего фронта... Здесь — дивизия генерала Руше... Ведь она стояла против Западного фронта, — нашли возможным, значит, перекинуть её сюда... Кроме того, позвольте обратить ваше внимание, Алексей Алексеевич, — здесь вот так, охватывающей подковой, расположились дивизии: 19-я, 20-я, 43-я, 7-я и, наконец, 11-я баварская, — эти успели добраться ко мне из Франции... Это ещё не всё: на Владимир-Волыньском направлении появились: сводная ландверная дивизия и 19-я бригада, тоже ландверная, из Италии, — все части свежие, вполне укомплектованные, хорошо снабжённые...

— Ведь для меня, Алексей Максимович, всё это не новость, что вы докладываете, — я это знал и сидя у себя в Бердичеве, — нетерпеливо говорил на это Брусиллов. — Новостью для меня является только то, что вы придаёте этому слишком большое значение. Пусть восемь с половиной новых дивизий, но ведь и к вам частью подошли, частью подходят новые корпуса. Что могут вам сделать эти новые дивизии? Начали наступление? Но ведь ваши части отбивают пока эти попытки?

— Отбивают, совершенно верно, однако... кое-где уже начинают пятиться, вгибать фронт... — мямлил Каледин, — именно мямлил, — запущенные, лезшие в рот усы очень мешали ему говорить отчётливо, и это раздражало Брусиллова.

— Совершеннейшие пустяки, послушайте, Алексей Максимович, раз у них нет сильных резервов, — энергично говорил он, — а резервов нет и не будет! Откуда они их перебросят, если начались действия у Эверта, и на Сомме, и под Верденом, и даже итальянцы отжились уж переходить в контратаки, — откуда, а? Ведь началось оно, наконец, то самое, че-

го мы ждали три недели, — началось, и не с пустыми руками! А ведь «лиха беда — начало», как говорится. Мы были застрельщиками и сделали своё дело хорошо, — отчего же вы, как будто, в чём-то не уверены, чего-то опасаетесь, имеете подавленный какой-то вид?.. Вы мне говорили об этом по Юзу, — я приехал выяснить на месте, что именно вас угнетает. Против ваших, имеющихся в наличии, двенадцати дивизий действуют, считая с новыми, всего-на-всего двенадцать с половиной дивизий — только и всего. Что же это, — подавляющее превосходство в силах? Решительно никакого, и ваш план действий на ближайшие дни — переход во встречное наступление на Ковель!

— Мы чтобы шли в наступление? — изумился Каледин.

— Непременно, — тоном приказа ответил Брусилов.

Но Каледин, вдруг насупясь, глядя не на него, а куда-то вбок, буркнул:

— Наступать мы не можем.

— Как так не можете? — почти выкрикнул Брусилов.

— Стоит только мне начать выдвигать центр, как в правый фланг мой вцепятся немцы, — повысил уже голос и Каледин.

— Правый ваш фланг? Но ведь его прикрывает армия генерала Леша! Сражается она или нет?

— Там не может быть никакой удачи! Даже рукой безнадежно махнул и отвернулся Каледин.

— Как так не может? Столько времени готовились и «не можете»?

— Не может... и не будет... Кроме того, наступление на Ковель — это очень неопределённо, — вызывая уже поднял голову Каледин.

— Ковель и есть Ковель, — что же может быть определеннее? — раздражаясь, спросил Брусилов, стараясь понять, что имеет в виду его командарм.

— Прямо на Ковель ведёт шоссе... Оно перекрёстным огнём насквозь простреливается немцами... Обойти же его невозможно: там — долина Стохода и такая топь, что засосёт всю мою армию... А все обходные пути чрезвычайно сильно укреплены немцами, — с усилием проговорил Каледин. — Многие участки даже минированы на большую глубину, не говоря о превосходстве в артиллерии у противника... Я не знаю, сколько ещё могу выдержать их атаки, но итти в наступление на такую сильную крепость, как Ковель, это значит только бесполезно умножить мои потери...

«Потери» — это слово и без того острым шипом торчало в мозгу Брусилова, и теперь этот упавший духом командарм как бы надавил на него, вызвав резкую боль.

— Потери! — вскрикнул Брусилов. —

Тогда в Голландию!.. Тогда вам надо в Голландию!.. Там ловят и солят голландскую сельдь, доят голландских коров, делают голландский сыр, сажают голландские тюльпаны, и не имеют никаких потерь, а одну только прибыль, потому что совсем не воюют!.. А раз нам объявлена война и враги на нас хлынули миллионами, мы обязаны защищаться, то-есть, воевать, и мы воюем, как умеем, но раз мы воюем, то и несём потери, а без потерь воевать нельзя, и победить, сидя на месте, тоже нельзя! Кто не идёт вперёд, тот боится, а кто боится, тот уже побеждён!.. И что вы мне говорите о топях на Стоходе! Ваш же 32-й корпус перебрасывает свои полки через подобные топи у генерала Сахарова, и не кричит о том, что это невозможно! Пусть там даже утонула целая рота в дивизии этого молодчина Гильчевского, о чём он и донёс без утайки, но ведь река Пляшевка форсирована им под огнём противника, и противник опрокинут, выбит, наполовину уничтожен, наполовину бежал, — вот это — пример, достойный подражания, а вы, значит, просто не в состоянии зачесть войска, вам вверенные, верой в успех, — тогда так и скажите! Тогда мне, значит, придётся с вами расстаться, — вот что придётся мне сделать!.. Я представлял вас к георгиевскому оружию и к обоим георгиевским крестам, как заведомо храброго лично человека и умеющего владеть людьми. Но что же случилось теперь? Вы, мною отмеченный как выдающийся начальник кавалерийской дивизии, теперь, выходит, теряетесь, когда вам вверен верховным главнокомандующим ответственнейший участок всего моего фронта!.. Я отношу это к вашей болезни, к тому, что вы не совсем оправились от раны и взялись за дело, превышающее ваши силы... Значит, вам надо продолжить ваше лечение, отдохнуть...

Каледин выслушал всё, что, волнуясь, говорил Брусилов, с виду спокойно. Они были один на один в комнате с закрытыми окнами и дверью. Их могли, конечно, слышать из соседней комнаты, если бы подслушивали у дверей, но этого нельзя было предположить. Из приехавших с главнокомандующим штабных генералов Дельвиг уехал дальше, непосредственно на фронт, как инспектор артиллерии, а Клембовский говорил с начальником штаба 8-й армии генерал-майором Сухомлином, обсуждая с ним тот же вопрос о переходе во встречное наступление на Ковель.

Брусилов, наблюдая своего собеседника, замечал, что худые пальцы его рук как-то странно дрожали, но лицо не менялось, и глаза были попрежнему тусклыми.

— Я не думаю отрицать, что я несколько устал, — заговорил, наконец, Каледин. Но не настолько всё-таки, чтобы нуждаться в отдыхе... Нет, не отдых, а успех,

только настоящий успех мог бы меня возродить, — прошу мне верить, Алексей Алексеевич! И вот сейчас я полагаю, что успех мог бы быть на одном направлении: если бы Туркестанским корпусом атаковать район Новосёлки-Колки.

Брусилов даже не взглянул на карту, к которой повернул голову Каледин: он и без того хорошо знал этот район.

— Допускаю, вполне допускаю, что Туркестанский корпус имел бы здесь успех, но разъясните мне, какие же были бы результаты этого успеха? — спросил он откровенно ироническим тоном.

— Противник был бы сломен в этом районе и отброшен назад, — вот какие могли бы быть результаты, — сказал Каледин.

— Отброшен куда же именно? В район Ковеля? Чтобы сгустить ряды врага там, где они и без того густы?.. Нет, этот план не годится!

— Выходит, что командарм не имеет даже права действовать хотя бы где-нибудь по своему плану? — с заметным вызовом в голосе заметил Каледин.

— У меня несколько армий, Алексей Максимович, и если каждый командарм будет изобретать свои планы, какие полече для выполнения, то что же это будет такое, подумайте! Конечно, был бы полный разброд, совершенно в конце-то концов безвредный для противника и очень вредный для нашего дела...

Брусилов хотел продолжать, усиливая экспрессию, но Каледин вдруг перебил его, снова повернув голову к карте:

— Вполне согласен с вами, Алексей Алексеевич, что участок Колки-Новосёлки удалён от интенсивного нажима противника. Но вот соседний участок — Колки-Копыли, — он будет гораздо ближе к главным его силам и, кажется, более удобен для нанесения сильного удара.

— Совсем другое дело! Колки-Копыли — это совсем другое дело, Алексей Максимович, — обрадованно подхватил Брусилов. — Против такого плана действий, если только он у вас вполне обдуман, не только ничего не имею, но разрешаю и благословляю! Отсюда вы зайдёте при удаче действий, — а неудачу я всячески отрицаю, — во фланг немцам, и пусть-ка они потом попробуют вырвать эту занозу, когда вы нажмёте на них главными силами со стороны ковельского шоссе! А вашему левому флангу для охвата их группы с правого фланга поможет правый фланг 11-й армии, который тоже получил свежее подкрепление и готов к действиям...

— Ежедневно жалуются мне командиры корпусов, что у них нехватает патронов, — снова упавшим тоном проговорил в ответ на это Каледин.

— Что делать!.. Ежедневно весь Юго-западный фронт тратит в среднем три с

половиной миллиона патронов, и ежедневно мне отпускают всего только три миллиона. Недостающее я покрывал из запасов на складах, теперь они приходят к концу... Выходит, что надо внушить, чтобы всё-таки исключительно прицельный огонь: тогда всё-таки меньше будут пасть в белый свет, — сказал Брусилов и добавил: — Кстати, вы сказали, что не может быть удачи у Леша, и очень уверенно сказали это; почему вы так думаете?

— Почему?.. Армии генерала Эверта привыкли к тому, чтобы терпеть одни только неудачи, — безнадежно кивнул головой Каледин.

— Но раз теперь 3-я армия входит уже в мой фронт, то может быть... — Брусилов не договорил, так как очень удивлённое вдруг стало лицо у Каледина: не договаривая, можно было понять, что он не то чтобы забыл, но, очевидно, как-то выпустил из вида, что произошла уже перемена в решении Ставки, — то-есть, Алексева, — и 3-я армия, о которой пришёл было категорический приказ, что она как была в распоряжении Эверта, так на его фронте и под его началом и остаётся, — дня через два после того передана была всё-таки Брусилову.

Кому, как не Каледину, соседу Леша, было лучше всего знать об этом, тем более, что в его же штабе появились офицеры из 3-й армии, и вдруг он, вследствие какого-то странного затмения памяти... Лицо Брусилова невольно сделалось таким же изумлённым, как и лицо Каледина, и жалкой увёрткой показали ему слова его командарма:

— Я не сомневаюсь, что раз 3-я армия попала в ваши руки, то она и... переменит теперь свои привычки...

«Переменить его, — думал о нём Брусилов, — в сущности, больше ничего не остаётся... Но кого назначить на его место?.. Ведь у него не дивизия, не корпус, а целая армия, притом армия в действии.. кого назначить?..»

— Я сейчас должен ехать обратно, — заговорил он сухо, но сдержанно. — У меня нет времени, к сожалению, на детальный разбор вашего плана наступления на Колки-Копыли, но я уверен, что вы, Алексей Максимович, проведёте его с энергией, вам присущей.

— Я приложу все усилия, — ответил Каледин, теперь уже не стараясь держаться по-строевому, а действительно отыскав в себе старую выработку.

— Счастливы оставаться, и желаю вам успеха, Алексей Максимович!

— Честь имею кланяться, Алексей Алексеевич!.. Постараюсь оправдать ваше доверие ко мне!

Брусилов, поезд которого был готов к отправке в обратный путь, уехал вместе с Клембовским, поговорив ещё перед отъездом с начальником штаба Каледина,

генерал-майором Сухомлином, которого знал ещё до войны, который был ещё и тогда у него лично начальником штаба 12-го корпуса, как после был при нём в 8-й армии.

Это был человек ясного ума, крепкого здоровья и внушал Брусилову уверенность в том, что даже раздёрганного Каледина он всё-таки сумеет предохранить от опасных для дела шагов.

Глава седьмая

В СТАВКЕ

1.

Если Николай II не говорил торжественно, как Людовик XIV: «Государство — это я!», то потому только, что это подразумевалось само собою. Вступив на престол, как самодержавный монарх, назвав «бессмысленными мечтаниями» жалкие посягательства на некоторые, очень маленькие, урезки власти, с которыми обратились было к нему представители правящих кругов в первое время его царствования, он вынуждён был дать в октябре 1905 года, после потрясений, вызванных революцией, свою подпись на проект образования Государственной Думы. Однако Дума эта, — русский парламент, — была такова, что вызвала ядовитое замечание одного из царских же министров: «У нас, слава богу, нет парламента».

Несмотря на Думу, где обсуждались государственные мероприятия, Николай всё-таки продолжал попрежнему считать себя самодержцем, божьим помазанником, и теперь, когда шла война России с Германией, он воспринимал её, как войну свою личную с Вильгельмом II, императора с императором.

Но Вильгельм был не просто император, он был «любящий кузен и друг Вилли», как подписывался он чаще всего под своими к нему письмами.

Вильгельм был старше Николая по возрасту и на шесть с лишком лет раньше его стал императором; этим и можно было на первый взгляд объяснить менторский тон писем и телеграмм Вильгельма, писавшихся исключительно по-английски. Но сам Николай знал, что дело было не только в этом: Вильгельм был неоднократно его гостем, ездил на длительные свидания с ним и он сам, — можно было поэтому им обоим в достаточной степени изучить друг друга. Свидания не изменили установившихся между ними отношений. Шли годы, оба они старели, но при всяких обстоятельствах выходило так, что одаряющим был Вильгельм, одаряемым — Николай, хотя империя первого могла бы утонуть в необъятных пространствах империи второго.

Как младший на старшего, почтительно и вполне сознавая его над собой пре-

восходство, смотрел Николай на Вильгельма. Когда они бывали вместе, всем их окружавшим бросалось в глаза, как шумно, как непрерываемо авторитетно вёл себя император Германии, этот самоуверенный человек с лихо подкрученными кверху жёлтыми усами, и как ступивший перед ним, точно робел и терялся малорослый, не имевший ни в одном из военных мундиров подлинно-военного вида русский царь.

Не кого-либо другого, а именно Вильгельма пригласил Николай в крестные отцы для своего новорожденного сына, — в почётные, так сказать, крестные отцы, — действительным был генерал-адъютант Иванов.

Рождение сына после четырёх кряду дочерей было исключительно радостным событием в семье последнего царя на русском троне, хотя в то время шла во всех отношениях несчастливая, даже просто позорная война с Японией.

«Солнечный луч», как назвал в своём письме Вильгельму Николай новорожденного, был объявлен наследником престола, — династические воцеления, наконец, утолялись, колокола трезвонили во всех городах и селах России...

Что ответил Николаю Вильгельм?

«Милейший Ники. Как это мило с твоей стороны, что ты подумал о том, чтобы пригласить меня крестным отцом твоего мальчика! Ты можешь себе представить нашу радость, когда мы прочли твою телеграмму, сообщающую об его рождении! «Was lange währt, wird gut» (что долго длится, венчается успехом), — говорит старая германская пословица, пусть так и будет с этим дорогим крошкой. Да выйдет из него храбрый солдат и мудрый, могущественный государственный деятель... Прилагаю при этом для моего маленького крестника кубок, который он, я надеюсь, начнёт употреблять, когда сообразит, что жажда мужчины не может быть утоляема одним только молоком! Может быть, он тогда примет к заключению, что поговорка «Ein gut Glas Branntwein soll mitternachts nicht schädlich sein» (добрый стаканчик водки в полночь повредить не может) не только всем известная ходячая истина, но что часто «im Wein ist Wahrheit nur allein» (в одном вине истина), как поёт дворецкий в «Ундине». В заключение же приведу классическое изречение нашего великого реформатора, д-ра Мартина Лютера: «Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang» (кто не любит вина, женщин и песен, тот всю жизнь остаётся дураком) — таковы правила, в которых мне хотелось бы воспитать моего крестника! В них глубокий смысл, и против них ничего нельзя возразить».

Однако воспитатель на другой же странице письма уступил место стратегу,

поскольку тянулась война, в которую втравил Николая не кто другой, как тот же «любящий кузен и друг», иногда менявший эту подпись на другую: «Адмирал Атлантического океана», иногда объединявший обе.

«Ход военных событий был очень тяжёл для твоей армии и флота, — писал он дальше, — и я глубоко скорблю о потере стольких храбрых офицеров и солдат, павших и потонувших во имя долга, честно выполняя присягу, данную ими своему императору... По моим расчётам, у Куропаткина должно быть 180 000 человек действующей армии. в то время как японцы собрали 250 — 280 000, — это всё ещё большое несоответствие сил, которое крайне затрудняет задачу твоего доблестного генерала... Старое изречение Наполеона I всё ещё остается в силе: «La victoire est avec les dros bataillons (победа — на стороне крупных сил)».

И дальше (нужно сказать, что письмо это писалось в августе 1904 года):

«Когда в феврале началась война, я выработал для себя план мобилизации, основываясь на численности японских первоочередных войск. Так как последние насчитывают 10—12 дивизий, то для безусловного перевеса над ними нужно 20 русских дивизий, т.е. 10 армейских корпусов; принимая во внимание 4 сибирских корпуса, которые уже на месте и составляют манчжурскую армию, остаются 6 корпусов, которые должны быть присланы из России. Из них должны быть сформированы 2 армии по 3 корпуса каждая, при них по кавалерийскому корпусу из 8 бригад с 4 батареями на каждую армию. Вот что, по моим соображениям, должно было быть послано и чего было бы достаточно для победы. Манчжурскую же армию следовало оставить в качестве как бы передового заслона, прикрывающего подход корпусов из России к их базе, их формирование и развертывание...»

Советы эти, правда, несколько запоздали, но «друг и кузен» не постеснялся всё-таки изложить их, чтобы показать, как глубоко, как близко к сердцу принимал он интересы русского императора.

Казалось бы, откуда, каким ветром могло нанести вдруг, через десяток лет всего, ожесточеннейшую войну между закадычными друзьями, из которых один как трогательно заботился о другом, а другой, — подопечный, — был так примерно почтителен?

Бывало, однако, кое-что, что в империи Ники, «адмирала Тихого океана», не совсем нравилось Вилли, «адмиралу Атлантического океана», и в отношении чего ему непременно хотелось бы установить там свой порядок.

Например, совершенно не нравилось Вилли, что Россия, как это случилось ещё при отце Николая — Александре III,

была в союзе с Францией; и во многих письмах своих во время русско-японской войны изобличал он французское правительство и французов, которые злорадовались по поводу русских неудач и содействовали англичанам в их открытой будто бы пособничестве Японии. В то же время он старался сбывать свой уголь русской эскадре, отправленной из Балтики на Дальний Восток под командой Рожественского, и выставлял это, как особую услугу Николаю, навлекающую на него, Вилли, недовольство не только в Англии, но и во Франции. Наконец, он предложил Николаю подписать составленный им договор о союзе на предмет обороны, если на одну из империй нападет какая-либо из европейских держав. Конечно, он имел в виду Англию.

Его замыслы шли очень далеко. Быть может, никто в Европе не следил так прилежно за русско-японской войной, как Вильгельм. Точнее, он сам вёл эту войну, сидя у себя за картами Дальнего Востока, хотя его стратегические планы так и оставались при нём, а царские генералы и адмиралы действовали по своим, возмутительно бездарным планам, почему и проигрывали так постыдно войну.

Но Вилли пользовался и всеми их неудачами, чтобы указывать время от времени на «главного виновника» этих неудач — Англию — своему кузену и другу Ники. Он напоминал ему и о картине своей «Жёлтая опасность», написанной им маслом ещё за несколько лет до японской войны: это должно было показать Николаю, какого тонкого, проницательно-го политика имеет он в лице своего «друга», это должно было склонить «милейшего Ники» верить ему непременно во всём и следовать его советам. «Верь мне!» — часто взывал он к своему подопечному в письмах и телеграммах.

Указывая на то, что англичане продали японцам два новых крейсера — «Ниссин» и «Кассуга», — причём и офицеры, и экипажи на этих судах были будто бы британские, и что японский адмирал Того одерживал свои победы «благодаря тому, что его суда снабжались кардифским углём», Вилли вполне одобрял роковую затею царя послать балтийскую эскадру на Дальний Восток и брался снабжать её своим германским (тоже победоносным) углём, а новые броненосцы для русского флота, по его мнению, нигде бы не могли построить лучше, чем на германских верфях: «Ибо последние стали бы работать, как для своей родины», — писал он.

Широкой натуре Вилли было явно тесно в своей небольшой империи. Затаённый скрежет зубовный: «Эх, не умеешь ты царствовать в своей стране! Вот я бы, я бы навёл там порядок! Вот я бы сделал из этого бесконечного пространства государство, способное покорить весь

мир!»... — этот скрежет так и прорывался из-за стоек писем и телеграмм «любящего кузена и друга», и иногда Ники его слышал. Так было, когда, подписав подсунутый ему при свидании в Бьорке текст договора о союзе, Ники всё-таки не решился сообщить этого своей союзнице Франции, чтобы не расколоть этим союз с нею.

Вилли не зря именовал себя «адмиралом Атлантического океана», а Ники предложил называться «адмиралом Тихого океана» для их секретной переписки: он всячески толкал его на Дальний Восток, чтобы отвлечь его от интересов на Ближнем Востоке. Предвидя (и сам идя навстречу им) столкновения в будущем с Англией на почве мировой торговли, он очень деятельно готовил к этому свой флот, но опереться при этом ещё и на многомиллионные людские резервы России венцом его желаний.

Он и не скрывал даже иногда от своего друга, что надеется на его большую уплату, оказывая ему мелкие услуги. Он писал в одной из телеграмм: «do, ut des (даю, чтобы ты дал)». Эта телеграмма была ответом на письмо Николая, в котором выражалось сомнение насчёт Франции, чтобы она могла вступить в союз с Германией против Англии.

«Обязательства России по отношению Франции, — писал Вильгельм в ней, — могут иметь значение лишь постольку, поскольку она своим поведением заслуживает их выполнения. Твоя союзница явно оставила тебя без поддержки в продолжение всей войны, тогда как Германия помогала тебе всячески, насколько это было возможно без нарушения законов о нейтралитете. Это налагает на Россию нравственные обязательства также и по отношению к нам: Do, ut des. Между тем нескромность Делькассе обнаружила перед всем миром, что Франция, хотя и состоит с тобою в союзе, вошла, однако, в соглашение с Англией...»

Желая отколоть друга и кузена от Франции, Вилли неоднократно напоминал ему о «крымской комбинации», то есть, о старинном союзе Франции и Англии, вызвавшем Крымскую войну, и, если не своими словами, то ссылкой на Бисмарка давал ему понять, что по существу, по крови, Ники совсем не Романов, а Голштейн-Готторп, чистокровный немец на русском престоле, и должен дуть поэтому в немецкую дудку.

Если о Николае I говорили: «Когда он сидел в кругу немецких владетельных особ, то казалось, что Германия уже объединилась под его, Николая I, главенством», — то и письма Вильгельма к Николаю II в период японской войны могли бы поразить тем назойливым вмешательством в русские дела, которое прояв-

лял импульсивный император Германии, пользуясь инертностью «милейшего Ники».

«Русское движение», как Вильгельм называет постепенно нараставшую революцию 1905 года, очень обеспокоило его; этому движению он посвятил длиннейшее из своих писем «кузену и другу». В связи с беспокоеством изменился и обычный тон Вилли.

«Ты согласишься сам, — писал он, — что подобный процесс в таком могучем народе, как твой, должен естественно вызывать живейший интерес в Европе и «*comme de raison*» (само собою разумеется) прежде всего в соседней стране».

Это письмо полно не советов уже, а прямых поучений, как надо управлять государством, чтобы непопулярным в народе не быть, непопулярных войн, как русско-японская, не начинать и умных государей, как сам Вилли, слушать.

Он внушает своему подопечному, что ему следует самому стать верховным главнокомандующим, а Куропаткина держать при себе только в качестве начальника штаба, но перед этим шагом обратиться к дворянам и общественным деятелям, собрав их в московском Кремле. «После этого царь, окружённый духовенством с хоругвями, крестами, кадилами и святыми иконами, должен выйти на балкон и прочитать только-что сказанную им речь уже в качестве манифеста своим верноподданым, собравшимся внизу на дворе, окружённом сомкнутыми рядами войск»...

Это писалось после «9 января», — понятно поэтому, что и Вильгельм не представлял себе беседы с русскими верноподданными иначе, как окружив их сомкнутыми рядами войск.

Государственная Дума (булыгинская) проектировалась благодаря внушениям того же Вилли, о чём он писал Ники несколько месяцев спустя после предыдущего письма: «Так как ты сказал мне, что соответственно идеям, которые я тебе высказывал, Булыгин уже выработал согласно с твоими указаниями законопроект, то, полагаю, необходимо обнародовать его немедленно, чтобы депутаты были избраны как можно скорее; это даст тебе возможность, когда тебе будут предложены условия мира, сообщить их представителям русского народа, на которых и ляжет ответственность за их отклонение или за одобрение. Это оградит тебя от общих нападков на твою политику, которые последуют со всех сторон, если ты сделаешь это единолично».

Посланный царём в Портсмут для заключения мира с Японией Вигте на обратном пути заезжает по приказу царя в Берлин, и от него Вилли раньше, чем Ники, выслушивает доклад о всех действиях и о всех терниях, сквозь которые

пришлось ему пробраться для достижения не очень постыдного мира. А Вилли потом писал Ники: «К моему удовольствию для меня выяснилось, что его (Витте) политические идеи и те взгляды, которыми мы обменивались в Бьорке, вполне совпадают в своей основе. Он усердно отстаивает мысль русско-германо-французского союза»...

Вильгельм уже строил обширнейшее здание «Континентального Союза» из пяти крупнейших держав: Германии, Австро-Венгрии, Италии, России и Франции, надеясь играть в них главную роль и заручиться даже поддержкой Англии и Японии. А Витте был мил его сердцу ещё и потому, что он подписал во время русско-японской войны очень выгодный для Германии и разорительный для России торговый договор.

Как нетерпеливо желал этого договора Вилли, видно из его энергичных выражений в письме, писанном в марте 1904 года: «Из газет для меня постепенно выясняется, что наш торговый договор стоит на мёртвой точке. Кажется, тайные советники и чиновники... впали в сладкий сон. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, каков был бы эффект, если бы ты внезапно ударил своим императорским кулаком по покрытому зелёным сукном столу, так, чтобы лентяи подпрыгнули!.. Я уверен, что обещание небольшой прогулки в Сибирь произвело бы чудо»... Впоследствии Витте говорил, — и Николай отлично помнил это, — что отмена этого договора непременно приведёт к войне с Германией.

Однако уже аннексия Австрией Боснии и Герцеговины едва не привела к войне. «Тройственное согласие» — Россия, Франция, Англия — явилось противником «Тройственному союзу» — Германии, Австро-Венгрии, Италии. Но внешне Вилли как бы примирился с тем, что Ники уклонился от его опеки.

Если в его письмах и появлялись иногда советы, то они касались то лифляндских и курляндских баронов, которые материально пострадали в революцию 1905 года и которым следовало бы, по мнению Вилли, подарить несколько миллионов на поправку их дел; то четырёх армейских корпусов русских, которых не мешало бы «милейшему Ники» убрать с пограничной зоны; то железной дороги, которую весьма нужно было бы ему построить и подвести непосредственно к конечной станции одной германской железной дороги в Восточной Пруссии...

Между тем Николаю было известно, какими бешеными темпами вооружалась Германия, как вырастал и становился грозной силой её флот, пушки которого были повернуты в сторону Ламанша.

Торговое соперничество во всём мире Германии с Англией не могло не приве-

сти к мировой войне. Заварилась «балканская каша», как назвал Вильгельм в письме Николаю весной 1913 года войну Болгарии, Греции, Сербии, Черногории против турок. Что она явится прологом к мировой войне, было уже ясно даже и для профанов в политике.

2.

Всю первую половину июня в Государственной Думе шли прения по крестьянскому вопросу, а когда он, наконец, решён, то на обсуждение другого важного вопроса — о немецком засилье — не было уже времени: по приказу царя Дума была распущена до ноября.

Вопрос о немецком засилье во всей широте своей решался на фронте от Риги до Черновиц, и решался силой оружия, а не слова. Но в заключительный день думских заседаний — 20 июня — выступил один из членов думской делегации, побывавшей в союзных странах, — Шингарев — с докладом, и в этом докладе среди обычных парламентских комплиментов союзникам, представители которых сидели на своих скамьях, было и несколько слов, не совсем приятных для русского правительства, представители которого, с премьер-министром Штюрмером во главе, тоже в это время явились в Думу.

— Мы должны стойко и терпеливо идти до конца, до победы, — говорил Шингарев, заканчивая свою речь. — Мы слышали там, за границей, какие-то толки о слабости России, о нашем желании, будто бы, пойти на мировую. Мы с негодованием должны отвергнуть все эти разговоры!

Оратору бурно хлопали все, между прочим, конечно, и Штюрмер.

— Нельзя мириться с попытками гегемонии железа и брони, нельзя мириться с порабощением человечества! Надо вырвать стальную цепину из рук врага. Мирное сожительство европейских народов должно быть закреплено победой... Победа есть долг и обязанность всех граждан страны, в том числе и нашего правительства!

И снова бурные аплодисменты на всех без исключения скамьях вызвали эти колкие для Штюрмера слова.

А как-раз в это время в Ставке, по успевшим уже просохнуть после утреннего дождя аллеям небольшого сада, верховный главнокомандующий всеми вооружёнными силами России, император Николай II, гулял рядом с необычайно толстым генералом и говорил ему об императоре Вильгельме:

— Трудно приходится теперь бедному!.. Он — обаятельный человек, и у него много достоинств, но он попал в положение Фридриха II в Семилетнюю войну. Фридриха спасло тогда только одно: се-

паратный мир с Россией. Не вступи тогда на трон Пётр III и не предложи он сепаратного мира, я даже не могу и представить, как мог бы выйти из тисков Фридрих!

Толстому генералу трудно было ходить. Его слоновьи ноги должны были неминуемо вызывать на размышление каждого, кто его видел впервые. Правда, он был уже стар, лет шестидесяти, но иным старикам как-то бывает иногда даже к лицу их старость; этого же массивного узкоглазого генерала старость не украсила ничём хоть сколько-нибудь привлекательным для глаз. По красному толстому носу и яркокрасным прожилкам на щеках видно было, что много было выпито за долгую жизнь этим генералом, вышедшим гулять без фуражки, чтобы ветерок мог обдуть его значительно лысую сафоновитую голову.

Этот генерал был командующий двумя гвардейскими корпусами — 1-м и 2-м — Безобразов. В начале войны он командовал только одним корпусом, но при первом верховном главнокомандующем, великом князе Николае Николаевиче, был отставлен. Однако царь, занявший пост своего дяди осенью 1915 года, не только вернул Безобразову его бывший корпус, но ещё прибавил другой.

— Ваше величество! — испуганно пытался возражать тогда новый начальник штаба Алексеев. — Ведь генерал Безобразов признан неспособным к дальнейшему командованию гвардией!

— Что вы, Михаил Васильевич, что вы? — сказал изумлённый царь. — Он такой милый человек, — я его давно знаю... Такой весёлый рассказчик и совершенно неистощим на анекдоты.

Алексеев никогда не был придворным и не мог поэтому понять, какое отношение могло иметь знание анекдотов к такому серьёзному делу, как командование гвардией во время войны. Но зато при дворе тем же Безобразовым пущен был анекдот об Алексееве, будто он, приглашённый к обеду царём, поднялся из-за стола раньше самого царя, не дождав-шись кофе. Алексеев не знал, как этот рассказ, хотя он и был выдуман Безобразовым, смешил и царя, и весь двор.

Неутолимая потребность в весёлом развивалась в царе с годами. и в этом он не выходил из ряда обычных сереньких, но обеспеченных людей, которых одолевает отрыжка после чересчур сытных обедов, лень слабого мозга и беспросветная скука.

И Куропаткин, и Сухомлинов, и Воейков сделали свою карьеру при нём только благодаря своей способности рассказывать анекдоты и тем заставлять хохотать владыку обширнейшей империи в мире.

Алексееву, когда был уже назначен Безобразов командиром гвардейского от-

ряда, пришлось не один раз убеждаться в том, что фамилия этого генерала приклеена к нему крепко. Впрочем, он уже хорошо узнал Безобразова и раньше, когда был главнокомандующим Северо-западным фронтом. Однажды без всякого на то разрешения этот весельчак бросил свой корпус, стоявший на фронте в районе крепости Осовец, и уехал ни с того ни с сего «отдыхать» в Киев.

Теперь его отряд стоял в тылу армий Западного фронта, сам же он был вызван в Ставку царём, так как Алексеев поднял перед главкомом вопрос о переброске бесполезно проводившей время в тылу гвардии к Брусилову. Конечно, вместо того, чтобы вызывать Безобразова, можно бы было послать ему приказ об этом, но царю было скучно, тем более, что семью свою он отправил в Царское Село, оставив при себе только наследника.

Казалось бы, трудно было сказать что-нибудь весёлое даже и Безобразову по поводу весьма трудного положения Вильгельма, но он сказал тем не менее хрипатым, однако, ничуть не сомневающимся в себе голосом:

— Да уж, для Вильгельма, как для одного нашего солдата в Манчжурии в японскую войну, климат сделался совсем неподходящий.

— В каком это смысле, Владимир Михайлович? — полюбопытствовал царь, несколько недоумённо, но уже приготовясь услышать что-то для себя новое, и Безобразов проговорил от лица этого солдата нарочито самым свирепым тоном:

— «Ну, и клей-мат!.. Без винтовки до ветру не ходи!.. Це-лых один-цать копеек одна иголка стоит!.. Все как есть с косами, а любовь крутить не с кем!»

И царь, едва дослушав, расхохотался. — Назначение на фронт, где пришлось бы сразу принять участие в жестоких боях, всё-таки очень не нравилось Безобразову, который не сомневался ещё так недавно в том, что до гвардии дело не дойдёт, что её будут беречь на случай подавления внутренних «беспорядков», и он сказал:

— Положение Германии скоро, кажется, будет австрийское, ваше величество.

— Гм... да, быть может... Будем надеяться... Хотя, надо отдать справедливость германским полкам, — сражаются они геройски.

— Как львы! — очень живо подхватила Безобразов. — А почему? — вот вопрос. Потому, что влезла им в кровь дисциплина, потому что там нет шатания в мозгах, и линия проведена прямая: бог, отечество, император! С колыбели и до могилы! На всю жизнь!.. Говорили, — приходилось мне слышать, — что там, в Германии, много пролетариев, рабочих, а про-ле-тарии, дескать, имеют солидарность с пролетариями всех стран, поэто-

му воевать друг с другом не будут. А что оказалось на самом-то деле? Чепуха! Образцово воюют!.. — Тут Безобразов сделал небольшую паузу и закончил уже безопасно: — А вот если потерпит поражение Германия, то будет нехорошо, пожалуй, и для России.

— Нехорошо, вы думаете? — больше автоматически, чем удивлённо, вполне понимая собеседника, спросил царь.

— Позвольте мне быть искренним, ваше величество, я всегда был того мнения, что если есть в мире страна, которая могла бы служить оплотом самодержавной власти в России, то это — Германия! — с заметным трудом, извинительным для чрезмерно тучного старого человека, однако, без запинок ответил Безобразов.

— Гм... Да-а... Может быть, вы и правы, — отозвался на это царь таким тоном, будто уж несколько раз даже за последнее время приходилось ему это слышать, а Безобразов, приняв это за поощрение, продолжал убеждённо:

— Представить только, что совершенно побеждена, поставлена на колени Германия, — это что же будет в конечном итоге? Получится, что страна, в которой все от мала до велика поддерживали императора, своего главнокомандующего, рухнула, а страны, где главноверхами были всевозможные Жоффы, одержали верх?.. Вот когда революционные партии наши взвоятся до седьмого неба!..

— С одной стороны, конечно, тут есть доля истины... — сказал Николай, смотря в это время на яркую, вымытую дождём зелень деревьев, и вдруг добавил как будто даже несколько мечтательно: — В такую пору хороша была охота на оленей в Крыму... Вилли тоже любил охоту на оленей, он и говорил, и писал мне об этом неоднократно... Он прекрасно стрелял... Кстати, вам не приходилось бывать на острове Корфу, Владимир Михайлович?

Вопрос этот был так неожиданно поставлен, что Безобразов как будто сразу потерял способность передвигать свои трёхпудовые ноги, остановился и ответил теперь уж совсем по-строевому:

— Никак нет, ваше величество, не приходилось.

— Корфу — это самый большой из Ионийских островов, — тоже остановившись и продолжая смотреть на зелень деревьев, говорил точно сам с собой царь. — Вилли называл его раем земным: он там провёл одно лето... А ведь все Ионийские острова при императоре Павле оказались под русской властью... То-есть, была, конечно, выработана какая-то автономия для тамошних греков, но, разумеется, призрачная... Потом от этих островов Павел Петрович отказался сам... А какая могла бы быть база в Средиземном море!

— Разумеется, ваше величество, их можно бы было укрепить так же, как англичане укрепили, например, Мальту, — привыкший уже к неожиданностям в разговоре с царём, однако, не понимавший, к чему клонила эта, нашёл что сказать Безобразов.

— Да, укрепить и сделать там стоянку Средиземноморского русского флота... Тогда не могло бы быть никакого вопроса о Дарданеллах, — закончил царь и повернул к своему дому, стоявшему отдельно от здания штаба, добавив: — А вы знаете, что здесь в Могилёве стоял одно время со своим войском Карл XII-й?

Безобразов не знал этого, но он понял, что вопрос об отprawке гвардии на брусилковский фронт решён окончательно и перерешаться не будет, а время для откровенных разговоров с царём о возможностях сепаратного мира с Германией или упущено или ещё не пришло.

3.

Бывают такие женские лица, которые как будто прячутся от всеразрушающего времени под совершенно прозрачной для глаз, однако же очень прочной вуалью. Это не сверкающие, притом чаще всего гордые тем общим вниманием, какое они возбуждают, лица красавиц; напротив, это — скромные лица. Однако они как-то непреходяще миловидны, они как будто излучают тепло и уют, неразлучные с ними, где бы они ни появились; им совершенно незнакомы искажения, будь от восторга или от злости; у них данный им в дар от природы понимающе-прощающий кроткий взгляд, с которым от юности до старости проходят они по жизни.

Дама неопределённых лет с таким именно лицом, по-летнему, просто и легко одетая, с нетяжёлым небольшим кожаным чемоданчиком и зонтиком, неторопливой, но лёгкой походкой подошла на одной станции к единственному в поезде, шедшем в Могилёв, вагону второго класса, показала свой билет кондуктору, вошла в вагон и отворила дверь купе, в котором должно было быть её место.

В купе плавали очень густые синие волны табачного дыма, и сердитый мужской голос прорвал эти синие волны:

— Сюда нельзя!

Присмотревшись, дама разглядела генеральские погоны и над ними тяжёлую на вид голову, встопорченные седые брови, толстые белесые, торчащие в обе стороны усы.

— Мне только до Могилёва... У меня пересадочный билет, — кротко сказала дама.

— У вас билет, а у меня доклад, — затворите дверь! — приказал генерал.

Из волнистого дыма проступил тогда и другой, бывший в купе военный сред-

них лет, — по жогонам жолковщик, — и объяснил несколько более пространно, но с меньшей твёрдостью в голосе:

— Здесь составляется секретный доклад, и входить сюда никто не имеет права!

— Закройте же дверь! — снова кричал генерал.

Дама не разглядела на столике перед закрытым окном в кухне ничего, кроме горлышек двух бутылок, но дверь закрыла и осталась в проходе, битком набитом пассажирами, из которых большинство были офицеры, едущие на фронт.

Час был ещё довольно ранний, окна открыты, и дама, с потёртым немного кожаным чемоданчиком и в простенькой шляпке с сиреневой узкой лентой, так и простояла около окна несколько станций до Могилёва.

Наконец, замедлив ход, поезд подходил уже к могилёвскому вокзалу, и двери всех купе отворились. Из таинственного купе, где составлялся важный секретный доклад, показались генерал-лейтенант и полковник, вполне приготовившиеся выйти, как только совершенно остановится поезд.

Вдруг кто-то из офицеров от дверей крикнул изумлённо-громко:

— Господа! На перроне сам наштаверх — генерал Алексеев!

Генерал-лейтенант переглянулся с полковником и заметно для всех начал оглядывать себя спереди и что-то подтягивать и застёгивать, и перещупывать свои ордена, проворно заработав негибкими руками, а дама, поглядев на него, слегка улыбнулась: ни папки, ни портфеля для бумаг, среди которых мог храниться таинственный секретный доклад, она не увидела ни у генерала, ни у полковника, но вид у обоих стал очень озабоченный, деловой. Впрочем, и все офицеры в вагоне заволновались точно перед инспекторским смотром.

Генерал даже пропустил её вперед, когда все стали выходить из вагона, и она расслышала, как он вполголоса спрашивал у полковника:

— Удобно ли будет мне представиться наштаверху здесь, на вокзале?

— Мне кажется, это в зависимости от того, зачем собственно прибыл сюда наштаверх, — весьма неопределённо ответил полковник.

И вот оба они увидели, как дама, которую они не впустили в купе, идёт лёгкой, быстрой походкой к самому наштаверху, а главное, имеет возможность так итти в густой толпе, потому что толпа почтительно расступается перед наштаверхом, который, радостно улыбаясь, движется навстречу даме, держа руку у козырька фуражки, так как офицеры, высыпавшись из вагонов, застыли, делая ему фронт.

При Алексееве был один только младший адъютант его, прапорщик Крупин, друг детства его сына корнета, а встречал он свою жену Анну Николаевну, мать этого бравого корнета, незадолго перед тем женившегося в Смоленске.

Генерал-лейтенант, приехавший в Ставку выпрашивать себе должность или, как принято было говорить об этом в Ставке, «наниматься», и совсем было уже решивший представиться наштаверху тут же, на вокзале, как только увидел, что простенько одетая дама с чемоданчиком и зонтиком, выхваченным из её рук молодым офицером — адъютантом, — обнимается с Алексеевым, поспешно отступил и спрятался за спину полковника.

Впрочем, он мог и не прятаться: Алексеев тут же подруку с женой повернул к задней площадке перед вокзалом, где стоял его штабной автомобиль, и на вокзале всё сделалось более-менее обычным.

Очень крепко сидело в хозяине Ставки семейное начало: это уже третий раз приезжала в Могилёв его жена. Ей удалось даже вырвать его на полтора дня в Смоленск на свадьбу сына, и Ставка осталась вдруг без того, кто был её основной движущей силой, её душой, хотя в ней тогда и жил сам верховный главнокомандующий, по обыкновению скучавший и соображающий, куда бы ему тоже поехать на смотр новых дивизий.

Конечно, Анна Николаевна уехала на другой же день, отняв очень немного времени у мужа, но она и в этот приезд слышала от него то же самое, что приходилось ей слышать и раньше: странные на её взгляд, но горько и искренно звучащие слова: «Полное безлюдье! Нет людей!»..

Людей были миллионы, сотни миллионов, но оказалось величайшим трудом найти даже нескольких человек, способных работать в Ставке, как того требовало суровое время великой войны. Но Ставка была перед глазами, но в Ставке за всех мог, имел ещё силы работать он сам, — а фронт? А вся связь между Ставкой и фронтом? А другая, гораздо более обширная связь между фронтом и тылом, между людскою стеной, защищающей Россию, и самой Россией?

— Нет генералов! — говорил он ей, своей жене, видевшей за долгие совместную жизнь с ним такое множество генералов. — Как может выиграть Россия войну, если при таких прекрасных солдатах, каких она даёт фронту, не в состоянии дать порядочных генералов?

— Как же так, Миша, нет генералов? — кротко возражала Анна Николаевна. — Их так везде много, и они такие приверженные службе, что даже в вагоне не отдыхают, а пишут для тебя секретные доклады.

— Нет генералов! — ещё горестнее повторил Алексеев. — Два-три, и обчёлся!

Пусть десять, двадцать, пусть даже пять-десять сколько-нибудь способных на всю армию. А ведь их нужно иметь тысячи таких, чтобы были они настоящими, не подделкой! Не разжиревшими стариками с микроскопическим свиным мозгом, не подагриками, как эта ни на что негодная развалина Безобразов, которому вручена почему-то вся гвардия!.. Ты представь только: цвет русского войска, гвардия, заведомо отдаётся царём на разгром!.. Почему же, я спрашиваю?... Потому ли, что царь не вышел ещё и сам в генералы, не успел выйти, — так и остался полковником?.. Эх! Ну, ничего, — это я расчувствовался, тебя увидев... Будем, конечно, тянуть свою ямку, пока не надорвёмся!..

Сказав это, он старался потом и улыбаться весело, и держаться браво. Таким он был всегда за долгую совместную жизнь с женой. Между служебным и семейным ставил он перегородку, чтобы одно не сливалось с другим.

Разговоры между ним и женой шли потом о маленьком, интимном, важном только для них двоих, а сетованье на безлюдье прорвалось потому, что наболело, что за ним виделось уже стихийное бедствие, угрожавшее и России, и их маленькому гнезду.

Глава восьмая

РЕКА СТЫРЬ

1. *

Как-раз перед тем, как бригада из дивизии Гильчевского должна была двинуться к реке Стыри, подброшено было в дивизию ещё пополнение, и вместе с маршевой командой прибыло три прапорщика. Один из них был назначен в Усть-Медведицкий полк и попал в четвёртый батальон, в котором офицерский состав был очень слаб.

Когда этот новый прапорщик представлялся Ливенцеву, то смотрел на него очень пристально и сказал вдруг радостно:

— Мне кажется, я вас где-то встречал уже, — простите!

— Может быть, — отозвался Ливенцев, тоже внимательно взглядываясь в этого немолодого уже, на вид лет за сорок, человека, серые глаза которого приходились как-раз вровень с его глазами.

— Дивеев — моя фамилия, — с особым ударением повторил свою фамилию вновь прибывший прапорщик, и Ливенцев сказал на это, чуть улыбнувшись:

— Я ведь слышал, что Дивеев, но... что-то не помню вас.

В то же время из каких-то дальних закоулков памяти выдвинулось было в нём подобное лицо, с белесовато-русой бородкой клинышком, с лысым белым высоким абом, но тут же снова исчезло, — зате-

рялось в метели человеческих лиц, виденных за военные годы.

Свою бывшую тринадцатую роту не хотел Ливенцев давать совершенно новому в полку прапорщику во время маневренных военных действий, когда рота не знает его, он не знает роты, а младшим офицером к подпрапорщику Некипелову его тоже нельзя было ставить, и он сказал:

— Вам придётся пока в 14-ю роту, к прапорщику Тригуляеву: он — боевой, притом раненный, остался в строю, представлен к награде... У него вам не стыдно будет поучиться, как управлять ротой в бою.

— Слушаю. Я буду рад... Я ведь добровольцем пошёл, но только-что из школы, и для меня такое руководство очень нужно, — торопливо согласился с батальонным новым прапорщиком и не менее торопливо, точно боялся, что его не дослушают, добавил: — Я пошёл добровольцем по убеждению.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал Ливенцев, которому что-то напомнил этот теноровый голос прапорщика Дивеева, и его манера говорить торопливо, глядя при этом пристально в глаза, тоже как будто приклеилась к чему-то в памяти... Какой-то самовар, усердно раздаваемый денщиком-ополченцем на крыльце небольшого казённого дома, весна, синее вдали бухта или море... А Дивеев продолжал, спеша высказаться:

— Есть враг и есть Враг, — с большой буквы. Враг — с маленькой — касается только вас, меня, личности, а раз появился у всех нас Враг — с большой буквы, то тот, кто сидит в это время дома и читает только газеты, или, скажем, дома там какие-нибудь для разбогатевших на войне строит, тот — мерзавец и тоже враг!

— Правильно, — сказал Ливенцев, — а почему вы вдруг о постройке домов?

— Потому это, что я — архитектор. это — моя профессия была до войны — дома строить.

Убеждаясь уже, что действительно видел его где-то, и даже слышал от него, что он архитектор, Ливенцев спросил всё-таки:

— Война идёт уже два года; немножко поздно как будто пришли вы к этой мысли, а?

— Совершенно верно, — так точно, — тут же согласился с ним Дивеев. — Но во мне долго сидела другая мысль, и та, другая, не пускала эту... А когда я вполне понял, и та мысль ушла, я пошёл в воинское присутствие, чтобы записали меня добровольцем... И был тогда жив полковник Добычин, — он это одобрил.

— Полковника Добычина вы знавали? Вот как! — удивился Ливенцев и вдруг очень отчётливо представил около крыльца казённого дома, где жил в Севастопо-

ле Добычин, — мачальник ополченской дружины, — этого самого Дивеева, который был тогда в штатском и показался ему очень странным, говорил сбивчиво и ни с того, ни с сего, очень доверительно говорил тогда ему, что стрелял в кого-то, но по суду оправдан.

Воспоминание об этом вдруг стало таким ярким, что он не удержался, чтобы не спросить:

— Позвольте-ка, — это не вы ли говорили мне, что стреляли в кого-то... или я тут вас путаю с кем-то другим?

— Нет, так точно, — действительно... в любовника моей жены, — ныне покойной, — в некоего Илью Лепетова, который, — я наводил справки, — сейчас служит в Земгоре... Но это во мне прошло, совершенно прошло! Крест, точка! — заспешил Дивеев и даже рукой прочертил перед собою крест, но тут же спросил сам: — Где же всё-таки я вас видел, простите?

— Это было давно, — в начале, — нет, уж весной, — прошлого года, в Севастополе, — охотно ответил Ливенцев. — Я тогда зачем-то заходил к полковнику Добычину, а вы как-раз были там, — сидели на скамеечке около дома... Потом я на одной станции услышал, что он был на фронте убит, и только... Поговорил бы с вами ещё, да, прошу извинить, — совершенно некогда... Направляйтесь, значит, к прапорщику Тригуляеву. Он — неунывающий россиянин, и вам у него хорошо будет.

Действительно, было некогда: нужно было поднимать батальон в поход с одной реки на другую, где положение должно было неминуемо привести к серьёзным боям в ближайшие же дни; иначе не вызывались бы полки ударной дивизии.

2.

Была ли это оплошность Сахарова и его начальника штаба генерал-лейтенанта Шишкевича, или получилось так случайно, вследствие перетасовки сил для успешности наступления на более важных участках, только участок в пятнадцать вёрст длиной по реке Стыри, занятый 7-й кавалерийской дивизией, оказался самым слабым на всём фронте 11-й армии.

Спешенные гусары, драгуны, уланы сидели, правда, и здесь в окопах, но занимались они, во всяком случае, не своим делом. Подготовленные для стремительных наступательных рейдов, они стали оборонять позицию, плохо приспособленную к обороне и до них и нисколько не улучшенную ими. Их конский состав приходилось держать довольно далеко в тылу, чтобы не пострадал он совершенно зря при действиях австрийских тяжёлых

орудий, в то время как 7-я дивизия имела только лёгкую артиллерию.

В общем австрийцы, хотя и перебравшиеся здесь на левый берег Стыри, не уничтожили даже многочисленных мостов, чувствуя себя гораздо более сильными, чем русская конница. А когда по плану фельдмаршала Линзингена, задумавшего контрнаступление, стала подходить сюда ещё и 22-я пехотная германская дивизия, обстановка сразу и резко переменилась. Немцы, частью выдвигнув вперёд австрийцев, частью сами заняв силою до двух полков участок на правом берегу, приходившийся против крутой излучины Стыри, очень быстро устроили тут предместное укрепление на фронте по кривой в 6—7 вёрст, в то время как вся линия фронта, оборонявшаяся русскими кавалеристами, не превышала пятнадцати.

Получилась подкова, опирающаяся на деревни Гумнице и Перемель левым флангом, имевшая против себя на правом фланге деревню Пляшево, расположенную при устье коварной речки Пляшевки, а в центре — деревню Вербень.

Позиция эта была сильная от природы по обилию речек, кроме Пляшевки впадавших тут в Стырь, и роц, и садов так как раньше это была густо заселённая местность, с несколькими усадьбами мелких помещиков, имевших каменные постройки. Однако не оборонять эту позицию пришли немцы, а ударить отсюда в стык армий 11-й и 8-й и только-что заканчивали приготовления к этому удару когда появились тут, один за другим сначала 403-й, потом 402-й полки. Стараясь подойти по-возможности скрытно они шли с большими интервалами не только полк от полка, но и в полках батальон от батальона. Впрочем, местности тут к востоку от Стыри была холмиста лесиста, овражиста, так что вдаль от фронта обнаружить переброску полков могли только разведочные самолёты противника.

Полковник Добрынин ехал верхом впереди своего полка рядом с бригадным Алфёровым. Иногда они останавливались, чтобы пропустить вперёд полк, посмотреть, — всё ли в нём исправно, — потом снова перегоняли его.

За дорогу новый в дивизии командир полка со старым командиром бригады успели поговорить о многом, между прочим, и о генерале Гильчевском.

Взятый из отставки в ополчение, а на фронте просидевший втихомолку почти год в обставленных с возможной уютностью блиндажах, Алфёров, как это заметил уже Добрынин, не успел ещё втянуться в настоящую боевую жизнь, хотя сам по себе был он старик ширококоштный и не слабый здоровьем; покряхтывал и ворчал, соблюдая, впрочем, при этом осторожность.

Годами он был старше Гильчевского, волосом седее, и как можно было ему не осудить своего непосредственного начальника за его пылкий нрав?

— Горяч, — говорил он, — людей не жалеет, а люди, разве они не замечают? За каждым из нас замечают всё, будьте покойны!

— В каком смысле «людей не жалеет»? — спросил Добрынин.

Крякнув потихоньку и скосив через погон назад глаза, не слышно ли будет, кому не нужно слышать, Алфёров объяснил:

— Перед тем, как к вам прибыть, дивизия что делала? — Пополнялась людьми. А куда люди в ней девались, когда их ещё 22 мая полный был комплект, даже и с надбавкой, в две тысячи? Вот то-то и есть, куда! А другие начальники дивизий всё-таки так не транжирили людей, поэтому в тыл их не вводили, чтобы там пополняться... Кхе, — да... А то, не угоднo ли, был с ним и такой случай, — это раньше гораздо, — мы тогда против Черновиц стояли, и люди, конечно, совсем ещё серые, — ополченцы, дружинники, а он их — в атаку... А там, у австрийцев, пулемётов, как у нас винтовок-трёхлинейек, потому что больше были берданки. Куда же им против такого огня в атаку? Сунулись было и опять легли... Так что же, вы думаете, он, наш Константин Лукич? Наган выхватил и давай в своих же палить! Кричит и стреляет, кричит и стреляет!

— Поднял всё-таки? — с живейшим интересом спросил Добрынин.

— Что же из того, что поднял? Пошли, конечно, а какой же толк вышел, вы это спросите. Только первую линию окопов взяли, а на другой день австрийцы их выбили. Да убитых, раненых сколько было, — 3-х!

— Однако рисковал ведь и сам, — сказал Добрынин. — Ведь под огнём противника это было или нет?

— Ещё бы не под огнём! Да ведь и свою пулю получить бы мог между лопаток, — разве случаев таких не бывает? Там после разбирай, кто стрелял, когда круговую пули летят.

— Мне он показался человеком весёлого склада, — а таких солдаты наши любят, — сказал Добрынин.

— Э-э, «любят»! Басни всё это насчёт того, чтобы солдат наш начальство своё любил! — решительно возразил Алфёров. — Бойтся, это конечно, а уж любить, — кхе-кхе, — за что же именно, — посудите сами!

— А там, куда идём, мы ведь будем под командой начальника 7-й кавалерийской? — встревоженно уже спросил Добрынин.

— Разумеется. Генерала Рерберга.

— Что же он, как полагаете, будет жа-

леть наших солдат или на них выслуживаться?

Алфёрову не пришлось ответить на этот вопрос Добрынина: галопом подскочил разъезд с офицером, и офицер, корнет, передал словесный приказ Рерберга поторопить полк, так как с часу на час ожидается контратака австро-германцев.

— Хорошо «поторопить», — полк и так идёт почти форсированным маршем... А скажите мне, корнет, мои полки как? — спросил Алфёров.

— Сегодня же с вечера должны будут занять наши позиции, ваше превосходительство, — ответил весьма отчётливо корнет, имевший стремительный вид, горячие двадцатилетние щёки и лихой залом выгоревшей от солнца фуражки, укреплённой ремешком под круглым подбородком.

— Вот, видите как: сегодня же, без всякого отдыха и на позиции! — обратился к Добрынину Алфёров. — Даже и осмотреться как следует не дадут!.. Куда именно мы должны прибыть? — повернулся он к корнету.

— Штаб нашей дивизии в деревне Копань, ваше превосходительство, отсюда будет вёрст семь, — беззаботным уже теперь тоном ответил корнет.

— Ваша фамилия?

— Корнет Кугушев, ваше превосходительство.

— Вы видите, — идут? — показал Алфёров на запыхлённых, потных солдат, отягощённых походной выкладкой.

— Так точно, вижу, — идут.

— Ну, вот... А скакать они не могут, как вы... У нас обоз — полковой и бригадный, — сколько полагается из дивизионного... У нас артиллерия... Обывательские подводы тоже есть. Мы ведь не налегке... Кхе, вот. Так и доложите.

— Слушаю, ваше превосходительство...

Козырнул, повернул коня и поскакал со своими людьми обратно, теперь уже рысью, корнет Кугушев, оставив Алфёрова в настроении весьма пониженном, хотя и суетливым.

Подтянулся и Добрынин, но ему всё-таки хотелось успокоить Алфёрова, и он сказал ему неспеша:

— Раз кавалерия стоит тут уже порядочное время, — то ей и книги в руки. Не уходят ведь их полки никуда, — остаются на месте, а мы им только в помощь... Ну, что ж, и должны помочь, если в помощь. Наконец, у противника есть разведка: узнают, что прибыла целая бригада, — по-стес-ня-ются, пожалуй, переходить в контратаку! Зря, кажется, наш новый начальник горячку порет.

Деревня Копань, до которой только к вечеру, когда уже село солнце, дошёл первый батальон 402-го полка, оказалась верстах в пяти от второй линии окопов. Ранее пришедший 403-й полк пока ещё отдыхал, расположившись биваком в

роще за деревней. Перестрелка с обеих сторон реки велась вялая, так что даже лягушки где-то поблизости на воде принимались урчать безбоязненно.

Сразу после захода солнца пала сильная роса, и стало прохладно.

В Копани, как и в других деревнях вдоль реки, жителей не было: австрийцы перед отступлением погнали их вперёд себя с подводами, скотом, какой у них оставался, и скарбом. Половина хат была растаскана на блиндажи; попадались и пепелища.

Штаб дивизии помещался в лучшем на вид доме — каменном, с резьбой на крыльце, с розовыми высокими мальвами в палисадничке. Спешившись возле штаба, Алфёров и Добрынин увидели двух генералов, спускавшихся к ним с крылечка. Оба были на вид одного возраста — между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, — рослые и добротные. Один из них, с усами светлорыжими, и с лицом продолговатым и важным, с академическим значком на тужурке, был Рерберг, другой — с усами краснорыжими, будто только-что подкрашенными, и с лицом одутловатым, круглым — оказался его бригадный командир Ревашов, генерал-майор. Никакого беспокойства ни в одном из них не мог заметить самый наблюдательный глаз. Оба они казались людьми, только-что плотно пообедавшими и кое-что пропустившими перед обедом по случаю подкрепления их бригадой пехоты.

Алфёров не забыл суетливо отрапортовать Рербергу о прибытии двух полков в его распоряжение, и тот выслушал его с подобающе значительной миной, но, только поздоровавшись с ним, тут же с заметным интересом спросил Добрынина, за что и давно ли получен им Георгий: командир полка с Георгием явно казался ему надёжнее, чем командир бригады без этого белого крестика.

Потом, пригласив ещё и Тернавцева в штаб на чашку чая, Рерберг сказал, когда все уселись за пару составленных ломберных столов, неизвестно откуда тут взявшихся и заставленных чайной посудой:

— Итак, господа, мы здесь несколько дней провели под знаком возможного на нас наступления противника, который стал очень активен с прибытием немцев, но теперь, теперь уж, мне кажется так, обстоятельства весьма переменились, так что если завтра утром он предпримет что-нибудь такое, то пожалуй, пожалуй, получит очень приличную сдачу, а?

Это последнее «а?», ни к кому лично не обращённое, прозвучало неожиданно, короткое и звонкое, как выстрел из игрушечного детского пистолета.

Для Добрынина, следившего за выражением его лица, не только за смыслом его слов, это «а?» как будто отворило в

нём дверцу: он стал ему вдруг ясен, этот генерал-лейтенант с академическим значком. Он понял, что никогда раньше этому начальнику кавалерийской дивизии не приходилось иметь в своём подчинении пехотных частей, и он своим «а?» как будто самого себя желает убедить в безусловной прочности позиции, ему вверенной.

Однако вопрос был задан затем, чтобы на него ответили, — Алфёров же молчал, — выходило неудобно, и, поймав на себе пытливый взгляд Рерберга, Добрынин ответил:

— Наперёд сказать трудно... Эту ночь, во всяком случае, спать не придётся, если положение стало таким острым.

— Ещё бы не острым! Ещё бы не острым, когда уж вот где у нас сидят! — и Рерберг похлопал себя по шее сзади. — Острее и быть не может... Итак: первый полк — ваш, полковник, — обратился он к Тернавцеву, — займёт линию окопов от деревни Гумнице, — вот, смотрите, пожалуйста, на карту, — от Гумница до Перемели, — как только стемнеет, — а моих людей сменил. Инструкцию ротные командиры ваши получат там, на месте.

Тернавцев поглядел на Алфёрова, но тот, придвинув к себе карту и доставая очки, шептал, точно боясь забыть: «Гумнице и Перемель... кхе... Перемель... Гумнице»... — и не поднял на него глаз.

— Ваше превосходительство, — сказал Тернавцев Рербергу, — инструкцию должен получить прежде всего я, так как, в случае чего, я отвечаю за неудачу своего полка.

— Неудачи ни-ка-кой не будет, я в этом уверен, и отвечать вам за неё не придётся, — несколько капризным тоном и с заметной гримасой отозвался на это Рерберг, а молчавший до того Ревашов добавил:

— Ведь вы будете сменять командира полка, он вас и посвятит.

Денщики, у которых было подготовлено заранее что надо, внесли: один — кипящий самовар, другой — поднос с ломтями белого хлеба и консервами, и это отвлекло Алфёрова от карты. Он решился сказать даже:

— Смена как смена, — порядок для этого один, хотя бы и кавалерия сменялась пехотой.

— В зависимости ещё и от того, какая будет ночь, — тёмная или светлая, — вставил Добрынин. — Может и дождь хлынуть, тут за этим дело не станет, — тогда смена выйдет не как смена, а похуже.

Но тут Рерберг, поморщившись, нетерпеливо постукал пальцем о стол, чтобы показать, что он не сказал самого важного, оглядел всех, даже и Ревашова, и проговорил тише, чем прежде:

— Если же противник не решится в эту ночь или утром начать наступление

против нас, то днём, после, разумеется, артиллерийской подготовки к этому, мы перейдём в наступление сами.. Мы их атакуем завтра, господа, а?

Он не сомневался, конечно, в том, что слова его поразят прибывших, и, казалось, даже любовался тем впечатлением, какое они произвели: у всех поднялись брови.

— Атаковать, не разобравшись, вслепую, ваше превосходительство? — спросил за всех Добрынин.

— Как же так «вслепую», когда я ведь ясно сказал: днём? — поморщился Рерберг.

— Люди только-что пришли, устаи, — ночью спать будет некогда, а днём атака, — какой же работы от них можно ждать, ваше превосходительство? — сказал Тернавцев.

— Да, это конечно, это... кхе... — подержал его Алфёров.

— Ну, люди — не лошади, люди могут взять себя в руки, — подержал, в свою очередь, своего начальника Ревашов. — Одну ночь не поспать для человека ничего не значит.

После этого переглянулись все командиры пехоты, попавшие в распоряжение кавалерийских генералов, и Алфёров, поняв, что сказать что-то надо ему, а не Добрынину, не Тернавцеву, обхватил левой рукой стакан налитого ему чая, правой провёл несколько раз по карте от Перемели до Гумниц, кхекнул и пробубнил:

— А какая необходимость так спешить нам с атакой, если приказа начальства на это нет?

— Надобность, или как вы выразились, необходимость, — тут же подхватил его замечание Рерберг, — состоит в том, чтобы пре-ду-предить, — вот в чём! Если мы не атакуем противника сами, то он непременно атакует завтра же нас!

— Он, значит, готов к атаке, но ведь мы-то совсем не готовы, даже расположить своих сил не успеем, — сказал Добрынин, теперь уже так же обеспокоенный за участь своего полка, как и Тернавцев, полк которого должен был броситься в атаку, почти очевидно, только затем, чтобы её отбили с большими потерями.

Рерберг посмотрел на него длительным, весьма недовольным взглядом, но ото-звался ему только одним словом: — «Успееете!», — давая этим понять, что больше ни о чём пока он говорить не желает, а Ревашов, сделав широкий жест над столами, сказал с напускным радушием в жирном голосе:

— Подкрепляйтесь, господа, с дороги!.. Водки бы, конечно, да, к сожалению, вся как-раз вышла!

3.

Квакали лягушки, жалили комары, устанавливались батареи, одна за другой уходили роты 403-го полка в окопы, один за другим приходили сменённые ими спешенные эскадроны, скрипели колёса повозок, вспыхивали в небе ракеты, разатри начинался, но не пошёл дождь, — в этом прошла ночь с 18-го на 19 июня в деревне Копань и возле неё в редколесье, где разместился батальон Ливенцева.

От Добрынина Ливенцев уже знал, что следующий день — 19-е число — будет днём атаки на предместное укрепление австро-германцев в излучине Стыри. По тому, что Добрынин говорил об этом возмущённо, Ливенцев видел, что дело будет тяжёлое, но он устал, очень хотелось спать, — в одной из хат, где уже жили офицеры-драгуны, он уснул на широкой лавке. Саких офицеров, — их помещалось тут трое, — правда, не было с вечера, они были в окопах, а в хате только денщики караулили их вещи, — но к утру, когда всех сменили, явились эти офицеры, и спать больше уже не пришлось, так стало возбуждённо и шумно.

Вместе с рассветом, — Ливенцев при-вык уже к этому, — началась орудиная пальба. По приказу Рерберга, она усиливалась постепенно, чтобы не сразу обнаружить замысел атаки, однако эта маленькая хитрость не обманула немцев. Они тоже усиливали огонь и даже пустили в дело тяжёлые батареи.

Часам к шести утра на этом небольшом клочке воынской земли всё уже напряглось, всё было в дыму, гари и грохоте.

Деревня Копань лежала по правую сторону шоссе на Дубно и Ровно, и телеграфная линия могла связать Рерберга не только со штабом 11-й армии, находившимся в Волочиске, но и 8-й, если бы ему этого захотелось, но он предпочёл не беспокоить высшее начальство. Оплошность, которую он допустил, позволив австро-германцам переброситься на правый берег Стыри и закрепиться на нём, он хотел исправить при помощи всего одного только пехотного полка, надеясь на то, что два битых уже австрийских полка, хотя и подкреплённые немцами, всё-таки уступают в числе штыков одному русскому.

Алфёров постарался отстранить себя от руководства боем, сославшись на незнание местности, да Рерберг и не настаивал на этом: напротив, распорядился он сам при помощи Ревашова. Это было первое в его жизни сражение, в котором он командовал пехотной частью, причём ему было известно, что 101-я дивизия числилась в армии ударной, то-есть, полки её могли сделать то, чего было бы трудно ждать от полков других дивизий.

Что 101-я дивизия была уже наполовину новая от только-что влившихся в неё пополнений; что полки её были далеко не полного состава; что офицеров в них было очень мало, — почти во всех ротах только по одному, и в числе их много новых прапорщиков, ещё ни разу не бывавших в боях, — всё это и знал и не хотел знать Рерберг, увлечённый одной только мыслью сбросить противника с правого берега Стыри на левый.

Отодвинувшись в результате майского прорыва на несколько десятков вёрст на запад, линия фронта стала только очень капризно изогнутой, однако она оставалась попрежнему сплошной, и к северу от участка 7-й кавалерийской дивизии стоял, растянувшись по той же Стыри до фронта 8-й армии, 45-й корпус, состоящий из молодых ополченских полков.

В то время, как Рерберг задавался мыслью сбросить австро-германцев с правого берега Стыри на левый на своём небольшом участке между двумя деревнями, начинал уже приводиться в исполнение гораздо более обдуманый, несравненно лучше подготовленный план фельдмаршала Лизингена прорвать русский фронт на стыке 8-й и 11-й армий ударом по 45 корпусу, и если скрытно удалось подойти пехотной бригаде на помощь 7-й кавалерийской дивизии, то не менее скрытно стянулась и 22-я немецкая дивизия на помощь к австро-венгерцам за Стырью, против деревень Гумнице и Перемель.

Привыкшие к неуклонным требованиям Гильчевского, батареи 101-й дивизии стремились бить только по проволоке врага, но далеко не все позиции его были видны, мешали холмы, овраги, роща, — связные работали плохо; кроме того, один наблюдательный пост, устроенный на высоком дереве, был снесён немецким снарядом вскоре после начала перестрелки; потом одно за другим три орудия были подбиты, и эта удача немцев не могла не ослабить не только русского огня, но и выдержки Рерберга: он поторопился дать 403-му полку сигнал к атаке, когда она ещё не была подготовлена.

О том, что там, у реки, началась атака, Ливенцев догадался по тому, что артиллерия — и своя, и 7-й дивизии — вдруг замолкла. Он посмотрел на часы, — было без четверти семь. Он ждал минуту, две, — вот-вот заработают снова орудия, перенесут огонь глубже в расположение врага, но орудия молчали, продолжала бить только артиллерия противника. К изумлению Ливенцева, так тянулось минут шесть, пока Алфёров, как потом выяснилось, не убедил Рерберга не лишать атакующих поддержки. Южнее, по Стыри же, стояли части 105-й дивизии, того же 32-го корпуса, но от командира корпуса, генерала Федотова,

начальник её не получил приказа действовать одновременно с частями Рерберга, который был ему подчинён, и в дивизии этой было спокойно. Впрочем, и самому Федотову только утром 19-го доложил Рерберг, что атакует противника, так велика была у него почему-то уверенность, что атака окончится блестящим успехом, и так, видимо, боялся он, что комкор может чем-нибудь и как-нибудь лишить его этого успеха. Даже распоряжение, которое получил от него Добрынин, о том, чтобы 402-й полк был готов идти на помощь 403-му, выражало не этот смысл, а другой: «Для расширения успеха 403-го полка».

4.

Успех и был, — 403-й полк не посрамил славы ударной дивизии, — но успех этот мог бы быть полным, если бы не поспешил с атакой Рерберг, если бы дождался он, когда артиллерия сделает своё дело, — пробьёт проходы, сколько их было нужно.

Передовые роты полка кинулись в атаку дружно, но только там, где проволока была разбита снарядами, они ворвались в первую, а местами и во вторую линию окопов врага. Это было против деревни Перемель, лежавшей на том берегу Стыри: тут местность была открытая, цели для наводчиков видны. Совсем не то оказалось против деревни Гумнице, где окопы были закрыты лесом. Там пулемёты прижали атакующих к земле, потому что проволока местами была совсем не тронута, местами же, хотя и изувечена, всё-таки непроходима.

И вот тогда-то, только-что получив от полковника Тернавцева донесение о неудаче на своём правом фланге, Рерберг приказал 402-му полку «расширять успех».

— Приказано вам начальником дивизии вести свой полк бегом! — энергично прокричал Добрынину Ревашов с наблюдательного пункта.

— Бегом? — переспросил Добрынин.

— Бегом, да, именно! Как можно скорее, — это значит бегом! — подтвердил Ревашов.

— Отсюда, где стоит полк, до позиций пять вёрст!.. Вести полк придётся лесом, — пытался уяснить приказ Добрынин.

— Лесом? Почему лесом?

— Во избежание больших потерь, а как же иначе? — удивился Добрынин. — Иначе я не доведу и двух рот из полка.

— Хорошо, лесом, — только непременно бегом!.. И не теряя ни одной минуты!

Когда Добрынин передавал приказ своим батальонным командирам, те не удержался, чтобы не добавить:

— Вот что значит попасть под команду кавалерийских генералов! Самое важ-

ное для них это — аллюр, а что мы с вами не лошади, об этом они забывают.

— А как же можно людям бежать в лесу и собласто при этом порядок? — спросил Ливенцев. — Ведь это всё равно, что скачка с препятствиями!

— И куда же будут годны люди, когда пробегут пять вёрст? — добавил поручик Воскобойников.

— Об этом самом и речь!.. Ну, всё равно, спорить с ними некогда. Бегом так бегом...

И Добрынин, откинув назад голову, скользнул глазами по первому взводу первой роты и скомандовал твёрдо:

— Полк, вперёд! Бегом, ма-арш!

И первая рота, когда повторил команду ротный, с места ринулась бегом, как на ученье. Здесь, возле деревни Гумнище, откуда ни своих, ни вражеских позиций не было видно, это можно было сделать, хотя по лицам солдат никто бы не мог сказать, что понятно им, зачем они бегут в полной походной амуниции в жаркое летнее утро и долго ли придётся бежать.

Сам Добрынин ехал верхом на небольшой, молодой ещё, гнedenькой ординарческой лошадке, а командиры батальонов шли рядом с ротными своих первых рот, так что Ливенцеву пришлось и теперь быть во главе своей прежней тринадцатой роты, а заботиться о направлении было не нужно: батальон двигался, как ему и полагалось, в хвосте полка.

— Бежать на бой это всё-таки гораздо почётнее, чем бежать с боя, — говорил на бегу Ливенцев Некипелову, — однако... должно быть, труднее.

— Ну, ещё бы, — отзывался Некипелов. — Ведь тогда люди бегут — ног под собой не слышат, а мы теперь что же, — мы спрехвала бежим.

— Спрехвала-то, спрехвала, всё-таки пяти вёрст так не пробежим.

— Да уж нам немного ещё, — вот батареи обогнём, и лес будет... А в лесу разве бегать можно? Что мы, волки?... В лесу, дай бог, обыкновенно итить — не растеряться, а то бе-жать!.. Приказал кто-то с большого ума чорт-те что!.. А спроси его, где был он раньше, этот генерал?..

— Раньше? — не понял Ливенцев.

— Ну, да, — почему раньше наш полк не приказал в лес завести? И были бы мы тогда всё-таки версты на две ближе к своим... А теперь, видали, вон, вьётся?

Некипелов показал рукой вверх, и Ливенцев увидел немецкий аэроплан.

— Разведчик!.. Не начнёт ли бомбы в нас швырять?

— А может, и корректировщик с тем вместе, — предположил Некипелов. — Зачем тогда ему трудиться, — нас и артиллерия немецкая взять под обстрел может.

От залпов русских и вражеских батарей гремел, как огромнейшие железные листы, и рвался, как прочнейшая парусина, воздух кругом. От этого ни на одну минуту не выпадало из сознания Ливенцева, что там, куда их послали и куда они могут не успеть во-время, под залпы с обоих берегов Стыри, совершается, быть может, последний уже акт трагедии — боя одного русского полка с двумя австро-германскими, к которым через реку по четырём мостам гораздо скорее могут быть переброшены на помощь ещё полтора-два полка...

Залпы орудий как будто и не где-то здесь и за рекой гремели, а в голове, в горячем мозгу, и сердце шаг за шагом колотило в грудную клетку, как в барабан.

Передние роты полка, скрывшиеся уже в лесу, открыли из винтовок стрельбу по самолёту, и он потянул обратно за Стырь, но никто не сомневался в том, что дело своё он успел сделать.

Обежав, наконец, батареи, четвёртый батальон вслед за третьим вошёл в лес. И с первых же шагов всем стало ясно, что бежать взводами в таком непрореженном молодом и сильном дубняке, среди которого часты были невыкорчеванные пни, было невозможно. В нём стояла тень, прохлада. В нём можно было вытереть потные лица и шеи рукавами и подолами рубах. Но, главное, в нём нужно было строго соблюдать те самые правила движения рот в лесах, которым незадолго до того учил на отдыхе свою дивизию Гильчевский, тем более, что лес этот раскинулся на холмах, перерезанных крутыми балками.

Добрынин возмущался Ревашовым:

— Что же это, издевательство надо мной? — говорил он своему помощнику подполковнику Печерскому. — Что же этот парадмейстер никогда сам и не заглядывал в этот лес, что мне приказывал такую нелепицу? Ведь их дивизия тут стояла неделю, если не больше, а они, два их превосходительства, даже и местности не разглядели! Вот так чисто-плюи! И таким дали очень важный участок!.. Можно представить, что у них за окопы! А когда же нам их переделывать, когда с прихода — в бой?

Долго возмущаться не пришлось Добрынину: шагах в пятидесяти или меньше, — трудно было определить в лесу, — шипуче свистя, ломая деревья, упал и взорвался тяжёлый снаряд.

Что снаряды тяжёлых орудий залетали сюда и раньше, видно было по глубоким воронкам, какие уже попались на дороге полку, по вырванным с корнями, по изувеченным деревьям, но те снаряды были прежде, этот — теперь и по ним.

Пытавшийся ехать и в лесу верхом Добрынин слез со своего конька и пере-

дал его ординарцу. Это был первый момент почувствованной им строгой ответственности за полк, в который был назначен он командиром: до этого момента он только знал, что он — командир полка, теперь он мгновенно с ним сросся.

— Полк, правое плечо вперёд! — обернувшись лицом к передним рядам, прокричал он, увидев просветы, то-есть, опушку от себя влево.

Он понял, что вслед за первым снарядом будет искать в лесу его полк и второй, и третий, и десятый, и двадцатый снаряды, что эта канонада разбрызжет роты по лесу, как стадо; что не только довести до позиций, — их и собрать даже будет нельзя, — вот почему он решил вдруг вывести людей на опушку.

Компас был в руках у Печерского, — сбиться с направления на Гумнице было нельзя, но двигаться вдоль опушки можно было гораздо быстрее, и, чтобы видеть дальше вперёд и назад, Добрынин снова вскочил на гнездо, когда первый батальон выбрался весь из чащобы. Пусть это был батальон далеко не полного состава, — всё-таки в нём было до семисот штыков, как и в других батальонах.

Вперёд были посланы патрульные с компасами. Деревню Гумнице отсюда можно было видеть, только взобравшись на высокое дерево.

Едва свернул батальон на опушку, как в том направлении, какого он держался вначале, ударили в лес один за другим ещё два тяжёлых.

— Полк, бего-ом! — скомандовал Добрынин.

Нужно было проворнее проташить через открытое место две с половиной тысячи человек, чтобы потеря от оружейного огня было как можно меньше. И люди бежали, гремя котелками, прикрученными к скаткам шинелей и бившими о сапёрные лопатки. Теперь всем было ясно, что нужно было бежать вперёд, навстречу огню, а между тем впереди снова был тот же лес, — поляна кончалась.

Длинной змеей растянулся полк, идущий во взводных колоннах, в затылок одна другой, и, как чешуя, поплёскивали штыки и стволы винтовок, нагретые солнцем. Патрульные впереди, держась направления на Гумнице, снова нырнули в лес, и Добрынин поскокал вслед за ними, чтобы посмотреть, пройдёт ли там полк, и нет ли там где-нибудь вправо или влево ещё широкой поляны.

А в это время правее полка шестидюймовый снаряд взорвался и доплеснул до рядов пятой роты осколками, мелкими камнями, землёй, обломками веток. Несколько человек там свалилось раненых и контуженных, — это были первые жертвы полка. Их подобрали санитары.

Но воздушный разведчик, — прежний ли, новый ли, — появился в небе, теперь значительно выше и медленней в полёте. Видно было, как возле него начали вращаться снаряды зенитного орудия, оставляя клубки белого плотного дыма. Однако не заметно было попаданий, — он ушёл назад, а с другой стороны тут же показались ещё два самолёта...

Озабоченный судьбой своего батальона, Ливенцев шёл теперь рядом с Тригуляевым и Дивеевым, на фланге четырнадцатой роты, и смотрел то назад — на пятнадцатую и шестнадцатую, то вверх на эти наглые воздушные машины, которые явно указывали своей артиллерии цель, действительно достойную её внимания и усилий.

— Заградительный огонь могут открыть, — сказал Тригуляев.

— Заградительный? — повторил Дивеев, только отчасти поняв это слово.

— Разумеется, — теперь по нас уж и лёгкая артиллерия может бить, — объяснил ему Тригуляев, и Ливенцев, скользнув глазами по лицу своего нового прапорщика, заметил, как оно побледило.

— Крепитесь, Дивеев! — крикнул он ему начальственным тоном, вспомнив, что прапорщик ведь в первый раз идёт под огонь.

— Слушаю! — браво ответил Алексей Иванович и добавил скороговоркой, вскинув к козырьку руку: — Нет, я не поддамся, нет, — будьте покойны!

Это «не поддамся» Ливенцев понял, как «не поддамся страху, волнению», а страшное уже надвигалось, готовое обрушиться на первый батальон, передовые взводы которого были в то время в полутора верстах от позиций.

Оно началось сразу: залп за залпом несколько лёгких гаубичных батарей обрушили груды снарядов на пути полка, только-что успевшего перестроить свои первые роты так, чтобы через сплошной лес, в котором не видно было полян, пробираться рядами, гуськом, как этого требовал Гильчевский.

Осколком снаряда угодило в голову гнедому конюку, и бедная лошадь рухнула на передние ноги, потом повалилась набок, — с неё едва успел соскочить Добрынин. Печерский был тоже верхом, и его молодой, горячий жеребчик вдруг взвизгнул и кинулся в сторону в гущину дубняка, так что обеими руками, пригнувшись, закрыл лицо Печерский, чтобы не выхлестнуло глаза ветками и сломанными сухими сучьями. Потом, высвободив правую ногу из стремени и вытянув левую назад, он свалился с седла наравно, ударился в пенёк спиной, перевернулся и медленно встал в то время, как Добрынин кричал командно:

— Не ложи-ись!.. Не смей ложиться!.. Полк вперёд!

Он кричал так потому, что, инстинктивно ища у земли защиты от того, что обрушивалось на них с неба, солдаты валялись один за другим, припадая к корням деревьев, давя розовые сыроежки, пробившиеся сквозь жёлтый прошлогодний лист и траву. Это не могло им служить защитой от огня гаубиц, но помогало врагу задержать полк.

Старые солдаты вскочили тут же, но солдаты из пополнения не сразу исполнили команду, — может быть, даже не поняли её: им казалось, что рушится на них небо, что взлетает перед ними лес навстречу небу, что дальше невозможно сделать ни шагу.

И вспомнил ли Добрынин, что говорил ему про Гильчевского Алфёров, или это вышло у него совершенно произвольно, только, выхватив револьвер из кобуры, он с искажённым лицом прокричал звонко:

— Вста-а-ать! — и выстрелил над первым рядом лежавших солдат в воздух, а когда, — кто вскочил сам, кого подняли соседи, — все уже стояли, снова прокричал:

— Полк, вперёд! — и сам пошёл впереди полка, раздвигая густые ветки молодых дубков, листья которых были или казались как-то особенно крупны, густозелены и глянцевиаты.

5.

Когда на батареях 101 артиллерийской бригады заметили, куда ложились неприятельские снаряды так густо, там поняли, конечно, в какое положение попал незадолго до того бегом огибавший их и втянувшийся в лес направо 402-й полк. Без указаний Рерберга там усилили, насколько могли, огонь по батареям противника, и это спасло много жизней. Однако немало навсегда осталось в лесу, а ещё больше было подобрано после, к вечеру этого дня, раненых и контуженных.

Погиб подполковник Печерский. Раненый небольшим осколком в ногу, он довольно спокойно уселся на изгибистый старый корень над водомоинной, вынул свой индивидуальный пакет, снял сапог и старательно начал делать себе перевязку; но лишь только окончил и стал натягивать сапог снова, немного надрав для этого ножом по шву голенище, как новый снаряд, разорвавшийся вблизи, сбросил его в яму с переломанным станovým хребтом и почти засыпал его там землёй, как в готовой, нарочно для него выкопанной, могиле.

Погиб и командир третьего батальона капитан Городничев, который так твёрдо усвоил военную дисциплину, что для каждого шага своего ожидал особого приказа начальника. Когда его головная рота — девятая — вышла на до-

рогу, причём для всякого другого было вполне ясно, что дорога эта в лесу ведёт совсем не к Гумнице, а в сторону Перемели, как бы ни было заманчиво вести людей именно по ней, а не продираться сквозь чащу, да и восьмая рота, шедшая впереди, пересекла эту дорогу и пошла дальше всё-таки малохоженым лесом, всё-таки Городничев почему-то вдруг задумался, остановился сам и остановил тем самым весь батальон. Он даже сделал несколько шагов вдоль дороги, чтобы посмотреть, не завернула ли она там, дальше, именно туда, куда надо, — и вот в это-то самое время его и сразило.

Мимо тела его, с безжизненно глядевшими в небо белесыми глазами, прошёл потом Ливенцев, приподняв фуражку; как бы низко ни ценил он Городничева, всё-таки тот ведь водил батальон свой несколько раз в атаки, и как-то выходило так, что сам по себе третий батальон не был заметно хуже, чем остальные.

В тринадцатой роте был убит взводный унтер-офицер Мальчиков, из рода столетних вятичей. Немец не дошёл, как и утверждал Мальчиков, до его губернии, но зато нашёл его здесь, в волинском лесу.

Убит был и Тептерёв, спаситель Ливенцева на речке Пляшевке, только за два дня до того успевший непосредственно от спасённого получить серебряную медаль на георгиевской ленте, причём даже спросил недоверчиво:

— Неужто это мне, ваше благородие? За что же это?

Как будто по чьей-то злой насмешке, медаль вдавило ему внутрь вместе с раздробленными костями грудной клетки.

Больше двухсот пятидесяти человек потерял полк, пока прошёл, наконец, этот лес смерти и вышел туда, куда должен был выйти, к окопам против деревни Гумнице, и всё-таки полковник Добрынин счёл большою удачей, когда увидел, что не жалкие остатки полка, а довольно внушительная сила по ходам сообщения, начинавшимся на опушке леса, вливается рота за ротой в окопы.

Окопы, правда, дрянные, — мелкие, узкие, грязные, но всё-таки окопы; — в них находились люди 403-го полка, обескураженные, правда, неудачей своей атаки, понёсшие немалые потери, но зато теперь воспрянувшие духом, когда получили такую подмогу, как целый полк. Впрочем, Тернавцев скоро отозвал их на тот свой участок, против которого была занята им часть австрийских окопов.

И было время сделать это: ровно в полдень австро-германцы пошли в контратаку, — то-есть, началось то самое, чего опасался и что хотел предупредить генерал Рерберг.

Опасения были верны: именно в этот день — 19 июня (2 июля) — Линзинген намерен был прорвать фронт 11-й армии, направив главный удар против 126-й дивизии, входившей в состав 45-го корпуса и стоявшей немного северней, на той же Стыри.

С раннего утра там гремела канонада, и как-раз когда заградительный огонь, открытый против Усть-Медведицкого полка, косил его ряды, немцам удалось прорвать там фронт на пятивёрстную ширину.

Об этом ещё не знал Рерберг, но это уже стало известно австро-германцам на левом берегу Стыри против Гумница и Перемели. Успех соседей опьянил их больше, чем вино, в котором тоже не было у них недостатка, — поэтому в атаку пошли они, не прикрываясь ни ночной темнотой, ни сумерками вечера или расвета.

Они были уверены в том, что русский полк почти истреблён в лесу, что другой полк, им уже известный, истощён потерями и упорно сопротивляться не станет, тем более, что он не успел ещё повернуть в их сторону захваченные им окопы, не говоря уж о том, чтобы забить колья и натянуть проволоку; расстояние же между противниками было здесь так ничтожно, что атаку можно было назвать просто штурмом, которого не мог уже остановить пулемётно-ружейный огонь.

Русские вылезли из своих нор и ринулись с криком, похожим на вой, перекачивая на бегу через тела своих убитых и тяжело раненных.

Так сразу скрестились штыки со штыками, а штыковой бой при полном дневном свете, когда глаза врагов, как осколки стёкол, и лица предельно искажены яростью, — страшный бой.

Так как полк шёл через лес смерти отбивать контратаку, которую ожидал Рерберг с часу на час, то Добрынин нашёл время распорядиться, чтобы часть людей успела выскочить, когда будет нужно, из окопов для штыкового удара. И вот настал момент: пулемёты трещали, штурмующие валились рядами, но другие всё-таки неудержимо бежали вперёд, крича и блестя сталью штыков.

Даже Ливенцеву, который сам наблюдал за тем, как выбегали из окопов люди его батальона, стало тревожно за их участь: ему приходилось водить роты в атаки, но не случалось ещё отбивать штурмы.

Но своя тревога готова уж была вырасти в страх, когда он взглянул на лицо Дивеева, стоявшего окаменело, с револьвером в руке: лицо бледное, глаза дикие, оскалены жёлтые зубы... Глаза точно в бельмах — белые, без зрачков...

— Алексей Иванович? — крикнул, вспомнив, как его звали, Ливенцев.

— Не поддамся! — на высокой фальцетной ноте выкрикнул Дивеев, не глядя на него, однако, не изменив ни лица, ни своей окаменелой позы.

А Тригуляев, который был теперь уже без повязки на голове, успел бросить Ливенцеву, сделав кивок в сторону Дивеева:

— Спятил!

Некогда было думать об этом, — добежали, — не помогли пулемёты. Ливенцев едва успел отскочить к рядам своей бывшей тринадцатой роты, с которой привык бросаться в то, что вытесняло в нём прапорщика, Ливенцева, «я».

6.

В тот момент это не было схвачено сознанием Ливенцева, — это было восстановлено, подошло к сознательным центрам позже, — что и артиллерия своя заработала вдруг усиленно, и пулемётный треск тоже вдруг стал ожесточённым, хотя и странно было, почему это? Но батареи просто запоздали на полминуты — едва ли на минуту — открыты заградительный огонь против штурмующих, — это могла быть вина наблюдателя-артиллериста, сидевшего в окопах 403-го полка, или тому была какая-нибудь другая причина; что же касалось пулемётов, зачастивших вдруг, как крупный дождь по крышам, то это Добрынин успел распорядиться несколькими пулемётчиками поставить так, что штурмующие попали под фланговый огонь; однако они запоздали больше, чем на минуту, а это была минута, стоившая многих жизней: штурмующие ворвались, куда им приказали ворваться, напряжённой оружейной ордой, с искажёнными лицами, выставив вперёд винтовки, согнув спины...

Это была не местная только атака, и не вот этот лес — молодой дубнячок по холмам, не деревня Копань, не другая ещё деревня рядом — Хриники были её целью: это была только правофланговая волна фронтальной атаки, развернувшейся на много вёрст и на нескольких верстах приведшей уже к прорыву русского фронта. В согнутых спинах штурмующих серо-голубых солдат скопилась уже огромная уверенность в победе, а такая уверенность удваивает силы. И что могли выставить против этой уверенной в себе лавины два русских полка, из которых один только-что вышел из-под жестокого артиллерийского обстрела в лесу, другой понёс уже большие потери при атаке несколько часов назад?.. Штыки? — Штыки!

У прапорщика Дивеева, Алексея Ивановича, как и у других офицеров, не было штыка, — только револьвер системы браунинг, — кусок чёрной стали, изогнутый под прямым углом, крепко зажатый в руке. Иступлённо стрелявший за два

с половиной года перед этим из револьвера другой системы — парабеллум — в того, кто разбил его семейное счастье, кто был причиной смерти его жены Вали и его мальчика Мити, в Илью Лепетова, Алексей Иванович переживал теперь иступление сильнейшее.

Он всеми клеточками тела чувствовал, как на него ринулся многоликий враг, тысячерукий, тысяченогий Илья, стремившийся его смять, раздавить, уничтожить. Он выставил далеко, как только мог, браунинг, против него, Врага, а все свои, все солдаты четырнадцатой роты, и солдаты других рот, и Тригуляев, и Ливенцев, — все исчезли. Правду сказал о нём Тригуляев: «Спятил!», но правду прокричал фальцетом о себе и он сам: «Я не поддамся!»

Его высоколобый, почти лишённый волос череп оказался тесен для того, чтобы вместить весь хлынувший на него колющий, ревуший ужас, но дряблые дрожащие мышцы напряглись на борьбу, а не на то, чтобы броситься куда-то назад в испуге. Непереносимый ужас только заставил его, человека потрясённого мозга, крепче вдавить в сыроватую здесь землю каблуки сапог и подать вперёд корпус, и чуть только увидал он чужой, широкий, как нож, штык перед собою, а над ним стиснутые бритые губы и глаз на-выкате, он выстрелил.

Широкий, как нож, штык задел за его кожаный пояс и разорвал его, так что упал с гимнастёрки пояс, но упал и тот, кто хотел вонзить сталь в тело Алексея Ивановича, а револьвер, гашетку которого нажимал раз за разом Дивеев, выпускал пули, уже не сообразуясь с целью, а куда-то в одно многоликое, имя которому Враг...

И когда всё-таки вражеский штык, не тот, на котором лежал левой щекой убитый наповал пулей в глаз венгерец, а другой, но точно такой же, вонзился с размаху в живот Алексея Ивановича, правая рука продолжала сжимать изо всех сил рукоятку браунинга, а указательный палец всё надавливал и надавливал на гашетку, хотя выпущены уже были все семь пуль, и револьвер стал безвреден.

Потом по телу прошли конвульсии, рука разжалась, браунинг выпал из неё, сердце перестало биться... А кругом продолжалась борьба с Врагом, и бились с ним те, у кого не помрачён был мозг и крепки были мышцы.

Сваливший Дивеева австриец был тут же пронизан сам двумя русскими штыками сразу, а к Тригуляеву не подпустили солдаты — стали перед ним стеной: он успел во-время вывести из окопов всю свою роту.

Это запоздал сделать Локотков и едва не поплатился за это жизнью, когда выскакивал из окопа и попал в свалку. Его

свалили с ног, и какой-то высокий уса-тый босняк уже занёс над ним штык, как вдруг молодой немецкого обличья белобрысый лейтенант закричал ему звонко:

— Halt! Das ist ein Officier! — и отвёл его винтовку рукой.

Локотков догадался, что его хотят взять в плен, а ещё через момент ему пришлось закрыть глаза: на него брызнула кровь этого самого босняка, которому кто-то из бойцов пятнадцатой роты разбил череп прикладом; и не успел он вытереть лица и подняться, как уже тащили белобрысого лейтенанта в плен, сволокая его пока в окоп своей роты.

Ливенцеву в первый раз пришлось руководить действиями батальона в рукопашном бою, однако, найти такое место, откуда были бы видны все четыре роты, когда враг проник уже в первую линию окопов, было невозможно. Но и можно и нужно было следить за тем, чтобы из второй линии равномерно и быстро бежали люди на помощь первой линии: нельзя было ни на минуту растеряться, нельзя было терять ни одной секунды, — секунды решали дело.

Тут не один только жуткий ляг штыков о штыки, не револьверные выстрелы, не взрывы ручных гранат там и здесь, не стоны раненых, не яростная крепкая брань, не это воинственно-рычащее «рр-ра-а», одинаковое для многих народов, — тут работа ещё и артиллерия с обеих сторон. русская была по австрийским окопам и ходам сообщения, иногда и по мостам, чтобы предотвратить помощь из-за реки; австро-германская — по русской артиллерии, чтобы вывести из строя хоть часть орудий и орудийных расчётов и взорвать снаряды. По второй линии русских окопов батареи противника не били: там были уверены в быстром успехе штурма и боялись перебить своих. Но был пока только стремительный ход действий, а не быстрый успех, и на эту стремительность удара нужно было каждому из командиров, в том числе и Ливенцеву, отвечать быстротой и ясностью распоряжений. Между тем и линия фронта тут была велика для далеко не полной бригады, и сшиблось на ней в смертельной схватке более десяти тысяч человек, причём австрийцы значительно превосходили русских в числе.

Что происходило в близкой сердцу Ливенцева тринадцатой роте, он узнал только после боя. Во время штыковой схватки там чуть не погиб бравый кавалер всех степеней Георгия, сибиряк-подпрапорщик Некипелов. Он расстрелял все шесть патронов своего тульского нагана и, сунув его в карман, схватил привычную для рук винтовку, валившуюся возле одного убитого.

Высокий, ловкий, жилистый, вошедший в азарт, он действовал ею так, что при-

влёк на себя, отделившись от своих, несколько тоже рослых венгерцев. Ему некогда было оглядываться назад, есть ли кто из своих за спиной, — в пору было только отбиваться и пятиться, и вдруг мелькнуло сбоку остревелое лицо какого-то унтер-офицера с двумя басонами. Он не понял, не узнал сторжача, чей это такой, кто именно такой художёкий, тяжелодышащий, запалённый, — его ли роты или другой?

Это был Милёшкин. Крупный, но не очень сильный свиду человек, он показал теперь, что был силён. Его сила была его ненависть, лютая ненависть, накопленная за долгий плен. Вот только теперь наша она, наконец, выход. Бросаясь на венгров как будто очертя голову, он действовал на самом деле осмотрительно, взвешенно, только с быстротой, почти неуловимой глазом. Это была его месть и за свои муки в плену, и за погибших там товарищей, и за того между ними, с которым вместе проходили они учебную команду, которого он спас от расстрела своим криком: «Будем работать!» и которого не мог спасти от пуды, когда вздумал тот бежать из плена.

Потом подскочило ещё несколько человек из его взвода (Милёшкин принял взвод убитого в лесу Мальчикова), и Непкелов погнался уже других, а когда оглянулся, — не заметил Милёшкина...

— Ну, думаю, пропал парень! — рассказывал он потом Ливенцеву: — Ан, потом гляжу, — вот он опять и весь спереди мокрый: фляжку рому с убитого венгерца взять поспел, полфляги выпил, ну, конечно, полфляги на себя вылил, — говорит, под руку толкнули, — вот какой оказался парень быстрый!... И потом уже ещё злее стал, как рому выпил.

Австрийский ром после того, как выбиты были враги и отброшены снова в свои окопы, стал первой добычей русских солдат, не успевших дообедать, когда начался штурм, хотя Добрынин в своём полку и приказал разбивать прикладами все фляжки, так как, зная немцев, ожидал новой атаки через короткое время. Но запах рома раздражающе стоял в горячем воздухе, и одни били, другие пили даже из разбитых уже фляжек, впопыхах обрезая губы.

Пили даже и вообще непьющие, чтобы только протолкнуть внутрь застрявший в гортани густой комок вонючего дыма от австрийских гранат; но это было уже потом, когда откатились австрийцы вместе с теми немцами, которые были вкраплены в их ряды для крепости духа.

В русских окопах не было противострелковых орудий, из которых можно бы было осыпать картечью отступающих. Их было довольно в австрийских окопах, и от них понёс большие потери 403-й полк во время атаки утром. Одна-

ко сплошь заголубела чёрная, на совесть перекопанная снарядами земля между линиями окопов, когда схлынул полуденный прибор: пулемёты русские действовали тут заодно с немецкими, поставленными за рекой. Спасением для многих австрийцев было только то, что бежать к себе в окопы после неудачи штурма было недалеко.

402-й полк захватил в плен одних только нераненных или с лёгкими ранами до трёхсот человек. По поперечным ходам сообщения их отравили во вторую линию окопов, и едва успели убрать своих раненых, как начался снова жестокий обстрел из орудий, предвестник нового штурма.

Однако штурм так и не дождался ни через час, ни через два, и потом очень заметно ослабела и канонада. Наконец, к вечеру она затихла совсем; поднять из окопов австрийцев на новые, ещё, быть может, большие потери, немцам не удалось.

Зато Добрынин, как и Тернавцев, полк которого тоже взял свыше двухсот пленных, вечером услышали в телефон голос уже не Рерберга, а своего начальника дивизии. Гильчевский передавал, что он, по приказу командира корпуса Федотова, в самом спешном порядке, частью даже на грузовиках, перевёл со Слоновки к деревне Копань два остальных полка, и что с наступлением темноты один из них — 404-й — он направит в окопы.

Тон Гильчевского был сердитый, но недоволен он был не теми, с кем говорил, а генералом Рербергом, допустившим, по его словам, «такое безобразие», как предместное укрепление, которое «неприменно, во что бы то ни стало, должно быть уничтожено этой же ночью».

7.

19-е июня (2 июля) был день тяжёлый не для одной только 101-й дивизии, но и для всего правого фланга 11-й армии. В этот день усиленно работал телеграф, соединяющий части 8-й и 11-й армий с их штабами и штабы этих армий со штабом Брусилова.

План Линзингена — вбить клин между армиями Каледина и Сахарова — грозил удачей, а это могло надолго остановить наступление, если не сорвать совсем прорыв на Луцк, проведённый с таким блестящим успехом.

Было от чего хитрить в волнение штабам. Оказался ли участок фронта, занимаемый 126-й дивизией, слабее других, собраны ли были против него германцами подавляющие силы, нужно было как можно скорее бросить против прорвавшихся немцев резервы, какие нашлись под рукой, но в резерве были только два

драгунских полка, — они и были посланы Сахаровым против немецкой пехоты.

И эти два драгунских полка, — Архангелогородский и 4-й Заамурский, — сделали большое дело. Лихо врубались они в немецкие цепи и погнали назад их остатки, захватив несколько сот человек в плен и изрубив гораздо больше.

Была ещё небольшая часть кадрового Прагского полка, имевшего крепкие боевые традиции: этот полк во время Крымской войны стоял на защите Малахова кургана. Всего только одна рота прагцев могла притти на помощь одному из пострадавших полков 126-й дивизии, и не только отбила она у немцев полтораста русских солдат, только-что захваченных в плен, но ещё и, в свою очередь, захватила около ста солдат противника на одном своём фланге и двести на другом. Однако, если к вечеру этого злополучного дня тут удалось приостановить продвижение австро-германцев, то серьёзной было положение на соседнем участке, несколько севернее, где стояла хотя и кадровая, но чрезвычайно обескровленная предыдущими боями 2-я Финляндская стрелковая дивизия.

Сахаров отдал уже было приказ об отходе всего своего правого фланга, а это вызвало бы неминуемый отход левого фланга армии Каледина. Брусилов приостановил этот приказ, послав Сахарову телеграмму: «Отлично знаю ваше серьёзное положение, но убеждён, что вы, как всегда, сумеете из него выйти».

Наконец, чтобы вопрос об отходе на целый переход назад даже и не поднимался ни Сахаровым, ни Калединым, он отдал приказ по 8-й и 11-й армиям о решительном переходе в наступление с 21 июня.

Этот-то именно приказ, сделавшийся известным в частях корпуса Федотова, и совпал как-раз с желанием Гильчевского выручить два свои полка, отданные в подчинение Рербергу, и показать, что они должны и могут сделать.

Целая 29-я австрийская дивизия стояла против участка Перемель-Гумнице, как узнал от пленных полковник Добрынин, — и полк из 22-й германской подпирал её, оставаясь на левом берегу Стыри. Добрынин передал это Гильчевскому, но тот отозвался на это своею прежней фразой:

— Повторяю, что безобразие должно быть отброшено за Стырь этой же ночью. Руководство действиями возлагаю на полковника Татарова.

Добрынин удивился, услышав такое дозавление, но, признав, что Татаров гораздо опытнее его и способнее Тернавцева, должен был согласиться с тем, что начальник дивизии в этом прав.

Стемнело. Поужинали. Окопы были очищены от убитых. Начали подходить роты 404-го полка. Иные люди в них, заняв своё место в тесных и тёмных окопах, тут же засыпали от усталости. Однако такими же усталыми, если не гораздо больше, были и люди 402-го и особенно 403-го полков. Никто не разрешал им спать перед штурмом, и никто не решился запретить им это теперь, с вечера, так как Гильчевским дан был Татарову приказ выводить полки из окопов в 2 часа 30 минут.

Офицерам тоже нужен был сон. Офицерам к тому же в бригаде, пришедшей сюда раньше, оставалось чрезвычайно мало. В иных ротах их не было совсем, и фельдфебели этих рот приходили к Татарову просить, нет ли у него хотя бы подпрапорщиков, чтобы дать временно их в командиры роты.

Трудно было и Добрынину, и Тернавцеву, — особенно второму, который и до того провёл уж две ночи без сна, а Татаров, совершенно незнакомый с местностью, не мог не задавать им множества вопросов, на которые иногда очень трудно, иногда совсем невозможно было ответить, не призвав для этого на помощь дневной свет.

Впрочем, ночь выдалась не из тёмных.

Мало того, что светили луна, бывшая в первой четверти, и звёзды, только изредка заслоняемые бегучими облаками, — австрийцы не жалели осветительных ракет, так что Татаров смог разглядеть и деревню Вербень, бывшую в середине австрийских позиций, и подходы к этим позициям...

— Уверенности в успехе у меня нет, — говорил он Добрынину, — но положение создалось такое, что без этого успеха нельзя... Понимаете? Нельзя! Никак невозможно!.. А если нельзя, значит, он должен быть.

Ливенцев услышал эти слова «успех необходим» от Добрынина, собравшего своих батальонных командиров.

Он понял это так: от успеха или неуспеха вот здесь, на этом берегу Стыри, зависит что-то большое там, далеко на север, и на юг, и на восток тоже.

Это прикосновение к большому свяло с него усталость. После успешно отбитого штурма верилось в успех ночного дела, и прежде всего верилось потому, что была вера в размашистого, сероусого, сероглазого человека — начальника дивизии. Если он прибыл сюда, если он теперь в Копани, если он приказал идти на штурм, и непременно в половине третьего, значит, будет успех.

Он не знал точно, чем именно он, командир батальона, сможет и сумеет содействовать успеху, но ловил себя иногда на мысли, что смерть ночью не так пугает, как днём: убьют, и не видно.

Громадное большинство людей почему-то, — он знал это и не мог объяснить, — умирает от тех или иных причин ночью. Он даже пытался думать об этом шуточно: «Самое подходящее время для смерти!»...

Он ловил себя и на другом: его как-то не тянуло написать хоть несколько слов Наталье Сергеевне в Херсон. Написать ведь можно было и при свете луны, звезд, ракет, прихлопнув при этом двух-трёх комаров, которые, конечно, усядутся на руки и щёки, — однако, не тянуло, значит не было предчувствия скорой смерти (сам для себя незаметно он начинал уже верить в предчувствия).

После капитана Городничёва третий батальон пришлось принять поручику Голохвастову, и это теперь, перед большим ночным делом, не столько было для него лестно, сколько пугало его, чего он ничуть не скрывал, говоря с Ливенцевым. Раза три сказал он с большой жалостью к самому себе:

— Эх, попал я в кашу!

А Ливенцев утешал его:

— Если боитесь, что чем-нибудь напортите, то ведь ночью, согласитесь сами, кто же это заметит?

Кстати, думая и о себе, что он тоже может напортить, утешал и себя, добавляя:

— Смею вас уверить, что едва ли и сам полковник Татаров, хотя он — прекрасный командир полка, отчётливо представляет, как пойдёт операция, и что из неё может выйти.

Ровно в два часа по приказу Татарова начали поднимать людей. Чесались, откашливались, сморкались, зевали, лезли в кисеты за табаком, но тут же прятали их. С трудом понимали, где они, что с ними, что надо делать дальше, но, взяв в руки винтовки и выходя из окопов, вспоминали, что надо идти на германа: австрияк преобразился уже в глазах людей двух полков в германа, раз он отважился на дневной штурм.

Впереди шли гранатомётчики, чтобы взрывать рогатки, наставленные ночью в пробитых днём проходах, за ними штурмовые роты, за штурмовыми — остальные.

Весь замысел Гильчевского исходил из того, что австро-германцы в этот именно предутренний час будут спать особенно крепко после трудного для них дня, атака же должна вестись с наивозможной быстротой и разом по всему участку бригады. Что люди будут злы на противника, нагло напавшего на них в час обеда, предполагалось Гильчевским само собой, и в этом не было ошибки.

Штурм начался молчаливо, но тем не менее дружно. «Ура» разрешили себе бойцы только тогда, когда поднялась беспорядочная пальба в ответ на взры-

вы русских гранат. И «ура» это, — тысячеголосое, ночное, — сразу заглушило пальбу.

Только в эту ночь понял Ливенцев во всей полноте, что такое этот воинственный крик и как велико его свойство заглушать всё, что стоит на дороге ринувшегося на штурм бойца: и выстрелы врага, и ярость врага, и силу врага, и свою боль от ран, и страх смерти.

Всё начало действовать, что приготовлено было в лагере врагов для отражения атаки: и противоштурмовые орудия, сыпавшие шрапнель, и пулемёты, которыми так богаты были по сравнению с русскими австрийцы, и ручные гранаты, и винтовки, и миномёты, — и всё было сразу смято, заглушено вслед за этим криком «ура».

Батальон Ливенцева не был ударным, но, за штурмовыми частями, он вместе с другими гнал к реке ошеломлённых дружным и мощным натиском австро-германцев, туда, к спасительным мостам, которых было четыре на протяжении линии боя, которые были местами повреждены днём, но спешно починены в начале ночи.

Топот тысяч ног по этим мостам слышал Ливенцев: австрийцы вместе с германцами, вкрапленными в них для прочности, бежали на тот берег; взрывы этих мостов, произведенные с того берега немцами, тоже слышал Ливенцев; и то, как вспыхнули эти мосты и горели, и как багровое пламя пляшущее отражалось в воде, это он видел с высокого места близ деревни Вербень, где батальон его, по приказу Гильчевского, работал над тем, чтобы обратить отбитые окопы врага в сторону Стыри и перенести проволоку и колья; но больше ничего в это громовое раннее утро он не видал и не слышал: разорвавшийся около немецкий снаряд сбросил его с насыпи в окоп, и он потерял сознание.

Глава девятая

ТРУДНЫЕ ЗАДАЧИ

1.

План отправки раненых в тыл, конечно, был разработан в штабе Брусилова самым тщательным образом задолго до начала майского наступления, однако, расчёты исходили из того, что Юго-западный фронт будет только действовать Западному. Когда роли их решительно изменились, то оказалось, что число раненых весьма значительно превысило все расчёты, и только содействие Союза Земств и Городов помогло Брусилкову выйти из трудного положения с честью.

Лазареты Союза Городов, как и лазареты Красного Креста, располагались по-

несколку в городах, ближайших к линии фронта, и тяжело раненные доставлялись туда в санитарных автомобилях. В городе Дубно, в тылу 45-го корпуса и содействовавших ему войск, устроен был тоже лазарет Союза Городов.

Среди сестёр этого лазарета было две, особенно сдружившиеся между собою за какие-нибудь два-три дня: Еля Худолей, гораздо более опытная, так как стала сестрою ещё в начале войны, и Наталья Сергеевна Веригина. Если Веригину никто иначе не называл как по имени-отчеству, то у Худолей никто не спрашивал, как звали её отца: она для всех была просто Еля.

Впрочем, если бы посмотрели в её паспорт, то узнали бы, что она — Елена Ивановна, и что ей восемнадцать лет и несколько месяцев. Она была года на три всего моложе Натальи Сергеевны, но казалась в сравнении с нею почти девочкой.

Невысокая, длинноликая, бледная, усталая на вид, с грустными карими глазами, с высокими тонкими полукруглыми бровей, она в одно и то же время, смотря по настроению, каким была охвачена, могла сойти и за беспечную пуштышку, и за много думавшую над жизнью: от неё не совсем ещё отлетело детское, и она не вполне вошла во взрослое, чем очень привлекла к себе Наталью Сергеевну.

Еля как-то сказала ей, ласкаясь, как младшая к старшей:

— Мой отец был полковой врач, и он вместе с полком своим пошёл на фронт в самом начале войны... Больше года всё ничего было, а вот, месяца два назад, мне сказали, — его убили немцы.

— Как убили? Врача? — удивилась Наталья Сергеевна.

— Да, а что же? Бросили бомбу с аэроплана прямо в госпиталь, хотя ведь красный крест на белом флаге видели, но это у них так принято — швырять бомбы в лазареты — и в наш тоже могут когда-нибудь бросить... Убили несколько раненых и моего отца тоже убили.

— Вы ездили?

— Куда ездила?

— На похороны.

— Нет, что вы! Его уж давно похоронили, когда я узнала... Нет, я не ездила, — зачем? Я теперь думаю поступить после войны в медицинский институт частный, — мне говорили — есть такой в Ростове. А когда его окончу, то буду хирургом.

— Это хорошо, что вы говорите, Еля, только хирургом быть, для этого надо...

— Вы думаете, я слабая, не-ет, — я крепкая! Вот, смотрите! — И вдруг, вся лучась мальчишеским задором, она по-мальчишески жала правую руку в лок-

те, а левой взяла кисть узкой руки Натальи Сергеевны и приложила к своему бицепсу: — Видите, какой мускул! Сожмите, — как камень, твёрдый.

— Да, в самом деле, твёрдый.

— Я ведь и гимнастику на трапезии умею делать, — у меня три брата, все гимнастикой занимались, и я тоже. Один брат — теперь студент, другой — в ссылке, — он политический, а третий — он моложе меня — гимназист...

И добавляла с печальной ноткой в голосе:

— Только вот чем я буду платить за лекции в институт медицинский? У нас ведь никаких решительно средств нет. Может быть, меня примут там в клинику при институте, чтобы я работала, как сестра, а?... Я бы получала что-нибудь, — вот у меня бы и деньги были, правда? И лекции я бы хорошо учила, — я ведь способная... Только-что я гимназии не окончила, — меня исключили... Это по другой причине, а совсем не за то, что неспособная...

Наталья Сергеевна не спрашивала её, за что именно её исключили из гимназии, но по глазам её, спрашивающим, можно ли рассказать ей, и прячущимся в одно и то же время, поняла, что ей хочется рассказать об этом, и что ей неприятно вспоминать это, поэтому сама отвлекала её: любопытством она не страдала.

Но однажды услышала всё-таки от Ели, как какой-то командир драгунского полка, полковник, который теперь, может быть, уже убит, хотя она не слышала этого, — по фамилии Ревашов...

— Я пошла к нему по поводу брата Васи, которого губернатор отправлял в ссылку, — говорила Еля, глядя остановившимися на одной точке, но не на лице Натальи Сергеевны, усталыми, теперь уже явно взрослыми глазами, — а Вася, он был тогда ещё мальчишка, на год старше меня, а мне было только-только шестнадцать лет, я в шестом классе была, — я пошла к нему, полковнику Ревашову, чтобы он сказал губернатору, — он тоже военный был, этот губернатор, генерал-майор, — и они часто в винт играли, — что ему стоило сказать? — чтобы сказал, что какой же Вася деятель политический, когда он ещё мальчишка, а уже его в Якутку, где на собаках ездят... Ну, вообще, я пошла к нему вечером, а он... он меня с денщиком своим домой отправил только на другой день... Понимаете?.. Вот за это меня исключили из гимназии...

Наталья Сергеевна видела, как хотелось сказать это Еле, и как она точно сама изумилась тому, что вырвалось у неё это, и тут же вдруг повернулась и отошла поспешно, хотя никто её не позвал в это время. Впрочем, было очень много срочной работы.

Наталя Сергеевна представила своего преподавателя математики, от которого она убежала стремительно к его жене, и подумала о Еле, что вот ей, тогда совсем маленькой, шестнадцатилетней, не удалось убежать... С этим вошла она в жизнь, — в такую жизнь! — и по ней идёт как может, — маленькая, утомлённая бессонными часто ночами и тем ужасом, какой видит она перед собою каждый день почти уже два года.

Ужас этот самой Наталье Сергеевне казался потрясающим, безграничным в первый день, когда она появилась здесь, а она ведь приехала сюда совсем недавно.

Везли и везли раненых, потому что как-раз в эти дни шли особенно жестокие бои на прилегающих к Дубно участках фронта. Машина войны кромсала человеческие тела не только всеми предусмотренными военной медициной видами ранений, но иногда и совершенно причудливо, так как в дело истребления людей вводились уже во время самой войны новые способы, один другого жесточе.

Ведь первое, чему могла бы поддаться Наталя Сергеевна при виде такого тела, перед которым разводила руками и переглядывались даже весьма опытные врачи, было закрыть глаза руками, зарыдать и броситься вон. Но закрывать глаза и рыдать было нельзя, — напротив, нужно было говорить, что «это ещё ничего, — могло быть гораздо хуже»; нужно было заставлять большим усилием воли свои тонкие руки не дрожать, когда они делали перевязки, и стараться хотя бы в один только свой голос влить ободряющие нотки, если никак нельзя заставить улыбаться глаза и губы.

Бывали моменты, когда ей становилось почти дурно, когда она могла вот-вот зашататься и упасть. Это замечала наблюдавшая за нею Еля и, взяв под руку, отводила её к окну или выводила совсем из палаты, говоря при этом то же самое, чем она сама пыталась утешить изувеченных:

— Это ничего, это пройдёт... С другими бывает гораздо хуже, а у вас всё-таки крепкие нервы.

В этом море ужаса утонуло, оставив только слабый всплеск, то, что рассказала Еля Наталье Сергеевне о себе самой, тем более, что ведь это было с нею уже давно — два с половиной года назад, и каких года, — целая вечность. Эти года отбросили и её личное прежнее так далеко, что она еле вспомнила о городишке Дубно, что читала о нём ещё девочкой в «Тарасе Бульбе», — осаждали эту «крепость» запорожцы.

Городишко был дрянной, грязный, битком набитый всем прифронтовым. Лазаретов тут было несколько с небольшим, однако, числом коек, так как больших

домов где же здесь было найти. Тяжело раненным делались тут неотложные операции, после чего их отправляли глубже в тыл.

Заведывал этим лазаретом старый врач-хирург, который до войны не носил военной формы и теперь никак к ней не мог привыкнуть. Худой и высокий, седая щетина ёжиком, в бороде, подстриженной клином и торчащей вперёд, хлебные крошки и табак, так как ел он на ходу, папиросы себе скручивал тоже на ходу, слепливал их кое-как, и они обыкновенно разрывались сбоку; на ходу же и, между прочим, пил он разбавленный спирт, причём делал гримасу и говорил:

— Вот это так чертово пошло!

Наталя Сергеевна спросила его в первый же раз, как это увидела:

— В таком случае, зачем же вы пьёте?

Но он поглядел на неё сердито и пробубнил:

— Ну-ну-ну, — сейчас видно, была какой-то учительшей!... Разве нашему брату-хирургу без этого можно? Тоже ещё!.. Как звать?

И это была самая длинная фраза, какую она слышала от него в первые дни. Обычно он был однословен, причём выбирал самые короткие слова, и с первого же дня начал недоговаривать её имя, — выходило у него Тальсег, — и всегда очень свирепо он глядел при этом. Глаза у него были в красных венках от недосыпу, нос крупный и тоже красный от спирта, кашлял он по причине застарелого бронхита, притом так, как кашляют старые доги, когда им и надо бы полаять и лень лаять, — коротко, однако, внушительно. Когда тяжело раненный, по его мнению, был безнадежен и в операции уже не нуждался, он произносил угрюмо: «Угу», и это совсем уже короткое слово, скорее не слово, а вздох, звучало в лазарете, как смертный приговор. При всех своих странностях он был, по отзыву других врачей и сестёр лазарета, очень умелый хирург, этот Иван Иванович Забродин, которого, обращаясь к нему и ему же подражая, называли Ванванч.

Кроме Забродина, было в лазарете ещё три врача, помоложе его и с меньшими странностями, и два фельдшера, а кроме Ели и Натальи Сергеевны здесь работали ещё две сестры, которых почему-то принято было называть по фамилиям, — Тюлева и Бублик, может быть, потому, что их фамилии к ним неотъемлемо шли: Тюлева была какая-то вся прозрачная, без кровинки в лице, почти невесомая на вид, хотя на болезни пока не жаловалась и работала очень ревностно; а Бублик — выпуклая, круглая, краснощёкая, здоровья самого завидного и вне палат любительница похохотать, причём и смех её, залихватистый и самозабвенный, тоже почему-то казался Наталье Серге-

евне похожим на сытно поджаренные свежее испечённые бублики, сорвавшиеся с мочалочки, которой они были связаны, и бойко раскатившиеся по комнате.

2.

Без сознания Ливенцев пробыл недолго, — он очнулся от сильной боли в правой ноге, когда солдаты его батальона, взявшись за него, заспорили, живой он или убит, и куда его нести.

Он застонал от боли, открыл глаза, увидел над собою розовое от зарева небо и вспомнил, что горят мосты. Он выждал момент, когда могли его слышать, и сказал, насколько мог громко:

— На перевязочный!

Один из солдат отозвался на это зычно:

— Слушаем, вашбродь! — и тут же укори другого: — А ты говорил..

Что говорил другой, за пальбой не расслышал Ливенцев.

Ночной этот путь к перевязочному был очень мучителен и показался страшно долгим. Раза три ещё Ливенцев терял сознание от боли в ноге, хотя и не вполне: что-то смутное он всё-таки слышал, когда его несли.

На перевязочном утром осмотрели его ногу, ощупали, но пожалы плечами в нерешительности, что именно с нею: перелом кости или разрыв связок, или и то, и другое вместе. Она распухла, стала синебагровой, прощупать в ней кости было нельзя, а болезненность, очень острая, оказалась сплошной, где бы ни начинали ощупывать.

— Всё-таки, скажите, что это? — спрашивал полкового врача Ливенцев.

Но тот ответил:

— Пока контузия, вследствие взрывной волны, и падения, — вот всё, что я могу сказать. Остальное же должен сказать рентген: прощупать нельзя, — значит, надо просвечивать.

В дивизионном лазарете, куда его привезли на рессорной линейке в тот же день, он пролежал без всякой пользы для себя больше суток. Там тоже сказали: — рентген, — но добавили, что рентгеновского кабинета близко к фронту нет, что он может быть только в тыловом лазарете.

В Дубно его отправили в санитарном автомобиле, в котором, кроме него, было ещё трое раненых, из них один тяжело, — все офицеры. Распухшую ногу не могли никак ему уложить так, чтобы он мог забыть о ней хотя бы на минуту, утешали только тем, что автомобиль — это не двуколка и не линейка, что он докатит быстро. Однако толчков на ухабистой дороге было довольно, и он то-и-дело закусывал губы, чтобы не вскрикивать: ведь у него была только контузия, а не рана, и перед ранеными, особенно перед

тем, который был тяжело ранен, ему казалось неловким стонать от боли.

В Дубно въехали во время дождя. Машина шла, ежеминутно вздрагивая, хотя шофёр старательно лавировал: выбоин здесь на улицах оказалось гораздо больше, чем на дороге. Только когда, наконец, остановилась она перед лазаретом, в который была направлена, Ливенцев почувствовал облегчение, тем более, что дождь перестал, очень освежив воздух.

Но его ожидала здесь несказанная радость, которой он даже не поверил, не посмел поверить в первые несколько мгновений. Не сон ли это? Неужели действительность? К машине подошли санитары — солдаты с носилками, а за ними сестра в белом халате с красным крестом на рукаве, и эта сестра, высокая, с серьёзными, внимательными голубыми глазами и утомлённым лицом, была до того похожа на Наталью Сергеевну, что он едва не вскрикнул: «Наталья Сергеевна, вы?» — но, заметив, что у этой нет косы, которая обвивала бы её голову, как восточный тюрбан, удержал крик. Волосы были, правда, похожие по цвету, пепельно-золотистые, но короткие, не доходившие даже до плеч.

Сначала вышли из машины офицеры, способные ходить, потом санитары бережно уложили на носилки тяжело раненного и понесли, и только тогда сестра заглянула внутрь машины и он убедился, наконец, что это она, Наталья Сергеевна, потому что она тоже узнала его, всплеснула руками и припала к его лицу щечкой.

— Боже мой! Николай Иванович!. Что с вами? — Это она почти прошептала испуганно, и он, обняв её голову, тоже почему-то шопотом, отозвался ей:

— Ничего, не бойтесь, — контузия..

В этот именно момент он, в первый раз за последние три дня, уверенно сказал о том, что с ним случилось: «Ничего», и в первый раз за всю свою жизнь глубоко понял всеисцеляющую силу этого слова.

Не в слове было тут дело, а в возможности сказать его, это русское «ничего», равносильного которому не имеет ни один язык.

— Ничего? — спросила она со слезами в глазах.

— Ничего! — повторил он ещё увереннее и тут же добавил: — А как же вы, как же вы здесь?

— Я ведь вам писала, — разве не получили?

— Нет, ничего.. Когда писали?

— Дней пять назад, отсюда.

— Не успел получить.. Не могу успеть.. Я уж трое суток почти, как контужен, и меня всё вьют.. А ваши косы где?

— Разве можно тут с косами! — проговорила она, переводя пылливый взгляд на его ногу, и он вспомнил бритоголово-

го полковника Ковалевского и его слова: «На фронте чем меньше волос, тем лучше».

Подшли санитары с носилками. Больших усилий воли стоило ему не только не стонать, даже не морщиться от боли, когда его укладывали на носилки. Он смотрел в это время в заботливые глаза Натальи Сергеевны и пытался улыбаться ей хотя бы глазами, так как крепко стискивал при этом губы.

Когда его устроила она в палате на койке около окна и привела к нему Забродина, то вся замерла, ожидая, не скажет ли он, только взглянув на багровую страшно распухшую ногу Ливенцева, своё страшное «Угу!»

Но Забродин, сопя, разглядывал не столько ногу, сколько всего вообще Ливенцева, и вдруг придавил ногу возле колена и спросил:

— Здесь?

Ливенцев понял это как «Больно ли здесь?» и ответил:

— Больно.

— Здесь? — спросил Забродин, придавив двумя пальцами у щиколотки.

— Больно,— повысив голос, сказал Ливенцев.

— Здесь? — сжал он всей рукой икру ноги.

— Больно! — вскрикнул Ливенцев.

Забродин качнул бородой сверху вниз, потом снизу вверх, так что из неё выпала порядочная хлебная крошка, и сказал отчётливо:

— Полно! — потом тут же отошёл к тому тяжело раненному, который был привезён вместе с Ливенцевым, оставив Наталью Сергеевну в недоумении.

— Чего полно? — почти безголосо спросила его она.

— Чего, чего,— точно передразнивая её, бормотнул он и начал оглядывать с головы до ног раненого, жестом запретив разбинтовывать его рану.

3.

Любовь и смерть, — они спокон-веку рядом.

Каждый день умирали в лазарете тяжело раненные, и каждый день приходил сюда священник отпевать умерших, которых отвозили потом на линейке на кладбище. Жизнь очень туго и тесно сжалась тут на маленьком клочке пространства, называемом лазаретом за номером таким-то. Очень ясной и чёткой была грубая крошка её, за которой пустота, ничто, вечность.

Одни умирали, другие боролись со смертью, не теряя надежды её победить, третьи не желали допускать и мысли о своей смерти, но не имели возможности забыть о ней здесь, как и на фронте, — ведь она никуда не уходила из лазарета; четвёртые, — это были врачи, фельд-

шера, сёстры, — пристально наблюдали, как действует смерть, и всеми средствами, которые были в их распоряжении, пытались помочь тем, кто имел ещё достаточно сил, чтобы с нею вести борьбу, как бы продолжая свою борьбу на фронте.

Да, война, по существу, не прекращалась тут, за стенами лазарета. Она жила в мозгу всех раненых, о ней рассказывали друг другу, о ней говорили врачам и сёстрам, ею бредили, когда были в жару, и стоны здесь были такие же, как и на поле боя.

Врачи привыкали, конечно, к различным видам ранений и к смерти раненых, бывших для них совершенно посторонними людьми, однако о им приходилось задумываться над тем, почему изувеченные войною не проклинают её, а ведут себя так, как будто заплатили они, хотя и дорожью ценой, за то, что, по их мнению, самое ценное из всех подарков жизни.

Даже врачи, которые все здесь были штатскими людьми до войны и относились к ней как к самому отвратительному пережитку людскому, замечали, что совсем иначе относятся к войне вот все эти порезанные, изорванные, разможжённые.

Что же касалось Ливенцева, то теперь, когда с ним рядом была та, которую он любил, жизнь для него вошла как будто в свой зенит, — и это, несмотря на чудовищно-распухшую неизвестно отчего ногу, в которой было чего-то «полно», несмотря на вонючие бинты своих товарищей по койке, несмотря на запахи иода и эфира и на весь вообще воздух лазарета, удручающий даже возле открытого и занавешенного марлей окна во двор, где зеленели какие-то кусты в палисадничке.

Наталье Сергеевне, когда она подходила к нему урывками, он всё стремился рассказать о том, от чего его оторвало взрывом немецкого снаряда: о ночной атаке, о захваченных 402-м, 403-м и 404-м полками австрийских позициях на правом берегу Стыри против деревень Перемель и Гумнице и с деревней Вербень в середине этих позиций, о том, как бежали австро-германцы через Стырь по своим мостам, о том, как эти мосты были взорваны ими и горели, и пламя, отражаясь, плясало в реке.

Он только не знал, — не пришлось услышать, — сколько было взято тогда в плен, сколько захвачено орудий, пулеметов, снарядов, патронов; но зато твёрдо знал, что только такой начальник дивизии, как генерал Гильчевский, мог дать своим полкам такой приказ, как «сбросить это безобразие на тот берег», и только такой командир полка, как Татаров, мог этот приказ исполнить.

Если бы Ливенцев не был контужен, и если бы вздумал он кому-нибудь описать в письме, в каком удачном деле пришлось ему участвовать, начиная с отбития контратаки противника, он ведь не мог бы найти для этого никого, кроме Натальи Сергеевны, а теперь она была здесь, рядом, ей не нужно писать, ей можно рассказать об этом гораздо подробнее, чем в письме, и можно видеть, какими глядит она на него при этом родными глазами.

Когда Еля знакомила Наталью Сергеевну с Тюлевой и Бублик, она назвала Тюлеву «Мировую скорбью», а Бублик — «Ветром на сцене».

— Мировая скорбь, — это я понимаю, а что такое «Ветер на сцене»? — спросила, улыбаясь, Наталья Сергеевна.

— Ах, боже мой! Ну, понимаете, бывает же иногда нужно, чтобы на сцене был ветер, — не всё же могильная тишина, даже когда действие происходит на улице, например, или где-нибудь на опушке леса! — пояснила Еля. — Вдруг поднимается ветер, и артистка должна сказать патетически: «Ка-кой ве-тер!»... Конечно, с головы её должна слететь шляпка, а из рук вырваться зонтик, и юбка чтобы надуло, как парус... Кто же ветер на сцене должен сделать?

— Машины какие-нибудь, я думаю, — добросовестно отвечала Наталья Сергеевна.

— Ну, вот, машины! Бублик это сама делает без всяких машин: будет летать по сцене, как вихрь, и куда твоя шляпка полетит, куда зонтик от такого вихря!

Бублик, действительно, не ходила, а летала по хозяйству, а так как была она очень добротна, то при этом на всех тумбочках вздрагивали пузырьки с сигнатурками и дребезжали ложечки в стаканах.

О Тюлевой Еля сказала, между прочим, что скорбь её оттого, что она боится, боится, страшно боится...

— Заразиться сыпняком? — попробовала догадаться Наталья Сергеевна.

— Нет, что вы! Разве от этого можно власть в мировую скорбь? Все боится сыпняка, — как же и не бояться, — и я боюсь тоже, — только она боится не столько этого, сколько... — начала было объяснять Еля и сама себя перебила: — Догадайтесь сами!

— Ну, где же мне догадаться!

— Ах, боже мой! Ну, просто, боится, как бы в неё все, все, решительно все не влюбились! Влюбятся вдруг все, и что же ей тогда прикажете делать? От этого самого и мировая скорбь!

В знойное засушливое лето быстрее зацветают и отцветают полевые цветы. Пусть они не бывают так крупны и ярки, как в обычное, когда перепадают дожди, но они успевают всё-таки, хотя бы

и перед близкой гибелью от излишнего зноя, исполнить своё предназначение.

Сёстры в лазарете не только создавали кое-какой уют, необходимый раненым не менее, чем лекарства, — они перекидывали для каждого из них незримый мост к тому домашнему, наиболее дорогому, что было брошено им на родине. И не для одних раненых незримо строился этот мост, но и для врачей тоже, закинутых войною так далеко от своих близких, в обстановку, лишённую многого, чем была для них ценна жизнь.

Поэтому в лазарете царила тихая, но всё же заметная влюблённость. Её волна поднялась, когда появилась в нём Наталья Сергеевна, — красивая, высокая, строгая на вид, — но весь лазарет озабрисился ею и принял как бы праздничный вид, когда встретились в нём Наталья Сергеевна и тяжело контуженный прапорщик Ливенцев. — невеста и жених, как это было решено всеми, хотя и не говорилось ими.

Контузия Ливенцева стала поэтому общей заботой лазарета, и возле его койки считали необходимым останавливаться участливо не только врачи и сёстры, но и ходячие раненые, и всем хотелось решить прежде всего задачу, — перелом или разрыв связок, или то и другое вместе у жениха новой сестры Веригиной, так счастливо встретившего здесь свою невесту.

Когда же Еля Худoley и раз и другой, то вместе с Натальей Сергеевной, то одна остановилась около Ливенцева, внимательно в него взглядываясь, он сказал:

— Послушайте, мне кажется, я вас где-то видел когда-то раньше, только не помню точно, где именно.

— Мне тоже кажется, но я тоже не помню, — ответила Еля. — Так много пришлось видеть офицеров, — тысячи!

— Я, может быть, вспомню всё-таки, тогда вам скажу.

— Хорошо. А если я раньше вспомню?

— Это вполне возможно. Тогда вы мне скажете.

К вечеру первого же дня Ливенцев припомнил ясно яркий солнечный день и улицу в Севастополе, на которой он встретил юную, даже слишком юную сестру, и когда теперь эту при нём назвали Елей, вспомнил, что и ту звали точно так же.

Прошло почти два года с тех пор, но он припомнил и то, как пил чай с кармелючками на квартире у той Ели, жившей ещё с какою-то долгоносой сестрой, стучавшей по полу высокими, но прочными каблуками на просторе двух комнат почти без мебели, низеньких и затхлых. Он долго силился вспомнить, где и когда видел её ещё раз, и представил, наконец, хату на Мазурах, возле кото-

рой остановились в зимний вечер сани с ним, Ливенцевым, когда его, раненного пулей в грудь навывлет, отправляли в тыл.

В этой хате устроен был питательный пункт; из хаты, пробираясь сквозь густую толпу солдат, вышла сестра, маленькая, закутанная, с кружкой горячего чая в руках и спрашивала звонко:— «Где здесь лежит офицер раненый? Кому тут чашку чаю просили?..» — Ливенцев припомнил и то, что тогда он узнал в ней Елю, она же не узнала его, что было и легко объяснимо: он был слабо освещён жиденьким жёлтым светом, едва сочившимся из одного окна, и тоже весьма старательно закутан, так как стоял тогда лютый холод.

И когда она теперь, в лазарете, подошла к нему снова, — просто остановилась на секунду мимоходом, — он сказал ей, улыбнувшись:

— Я вас вспомнил: вы — Еля из Севастополя.

— А-а! — неопределённо протянула она. — Мне кажется, что и я вас тоже чуть-чутьку помню: вы были там во втором временном госпитале, да?

— Нет, Еля, там в госпитале я не был, но суть дела от этого не меняется.

Он улыбался, несмотря на боль в ноге, которая не утихла и неизвестно чем угрожала ему впоследствии. Осчастливленный в этот день совершенно для него неожиданной милостью судьбы — встречей с Натальей Сергеевной, он думал, что счастливее быть уже нельзя, что это — предел возможного на земле счастья.

И всё-таки он видел, что встреча, тоже неожиданная, с совершенно почти забытой им, очень мало ему известной и раньше Елей делает его ещё радостней почему-то.

4.

Когда Гильчевский послал донесение в штаб корпуса о том, что части его дивизии сбросили австро-германцев с предместного укрепления против деревень Перемель и Гумнице, там это приняли, как должное: много от 101-й дивизии и не ждали.

Но обстановка на фронте сложилась так, что одного этого было недостаточно: брусилловский приказ о наступлении с утра 21 июня оставался приказом, который необходимо было выполнить, и командир Федотов приказал в свою очередь Гильчевскому развить успех то-есть, форсировать Стырь и отбросить противника от левого берега этой реки.

— Ну, вот, раз ты груздь, лезь поэтому в кузов! Форсировать Стырь! Хорошенькое дело, нечего сказать! — начал

бушевать Гильчевский, получив такой приказ. — Ведь донесли же мы, что мосты сожжены?

Полковник Протозанов, к которому обращён был вопрос, ответил не на него, а на другой, какой, по его мнению, непременно задал бы вслед за тем его непосредственный начальник:

— В штабе 11-й армии составляется общий план действий: там в частности не входят; а приказ идёт ведь оттуда через генерала Федотова.

— Хотя бы от чорта и дьявола, — безразлично! Что же они думают, что я упустил бы возможность сам перебросить дивизию через эту Стырь, были бы мосты целы? — кричал Гильчевский. — А как их, эти мосты, можно было сохранить, когда взрывать их начали немцы с того берега? Даже и своих не пожалели, когда наши на их плечах оказались... Разве полки наши понесли бы такие потери, если бы не мосты! А они говорят там, — разговоры разговаривают, в благодатной древесной тени, в Волковые!

В деревне Волковые, верстах в тридцати от Копани, был штаб 32-го корпуса, — учреждение, совершенно бесполезное для дела, в чём так глубоко убеждён был Гильчевский, что Протозанов даже и не пытался с ним спорить. Он сказал только:

— Тот берег укреплён гораздо лучше, нужно думать, чем был этот, и в штабе корпуса, и в штабе армии должны это знать.

— А, конечно, должны были бы знать, — не институтки! Однако, очевидно, не знают!

— Может быть, понтоны для нас приготовили?

— Понтоны?.. Это было бы тогда не так глупо, — понтоны!.. А только, позвольте-с, — почему же об этом не сказано в приказе?.. Может быть, и в самом деле понтоны пришлют, иначе зачем бы так категорически приказывать форсировать Стырь?

— Будем думать ещё и так, что ведь не одна наша дивизия, а все, кто стоит на Стыри, получили подобный приказ, — сказал Протозанов.

— Думать мы не будем, — отозвался на это Гильчевский, — а просто справимся у соседей, — раз, справимся в штабе корпуса насчёт понтонов, — два, и, наконец, откроем завтра с утра палубу для пробивки проходов, — три, — вот и всё.

Справились и в штабе корпуса, и у соседей.

Из штаба корпуса ответили, что речь о понтонах была и понтоны обещаны, но пока в распоряжении штаба их ещё нет; обещаны также и подкрепления, но пока ещё не прибыли; однако и то, и другое ожидается в ближайшее время.

Гильчевский повеселел, когда это услышал! Повторив раза три: «Ожидается в ближайшее время», он, наконец, расхохотался.

— Что мне это напомнило, — умора! Я тогда в реальном училище учился, а у нас, не в пример гимназиям, проходились естественные науки. И вот, узнали мы, — в шестом это, кажется, было классе, — состав человеческой крови... Я тогда даже и не представлял себе, что впоследствии с человеческой кровью буду иметь такое запутанное дело, как в эту войну... Ну, вот, хорошо, узнали мы, что входят в кровь такие вещества, как гематин, глобулин, гемаглобин, — как сейчас помню! — И что же мы вздумали, — три человека нас было, закадычных приятелей, — пошли мы ходить по лавкам — бакалейным, галантерейным, даже в скобяной ряд зашли, — и везде спрашиваем с самым серьёзным видом: — А что, у вас глобулина нету? — Как-с? — приказчики это. — Как-с вы назвали? — Глобулина. — Гло-бу-ли-на? Нет-с... пока не имеется. — Ну, а гематина? Или, может, гемаглобин у вас есть? — И вот тут один бойкий приказчик в скобяной лавке с ног нас от смеха свалил. — Сейчас, говорит, не имеется, но в ближайшее время ожидаем-с!

Соседи с правого фланга, оказалось, тоже ожидали подкреплений, притом с часу на час, так как положение там было серьёзное: это было левое крыло подсобных частей 45-го корпуса, оторванное от правого прорывом немцев.

Прорыв этот, правда, не получил развития, но немцы как будто готовились его развить. Вообще не было точно известно насчёт немцев, но приказ о наступлении с утра 21 июня был получен и соседями справа, так же, как и соседями слева — 105-й дивизией.

То, что не было очевидным для каждой отдельной дивизии на фронте, вырисовывалось гораздо яснее из общих сводок, составлявшихся в штабе Брусилова. Там видели, что сколоченная Линзингенем сильная группа генерала Марвица, имевшая задачей прорваться к Луцку, истратила свои силы, ничего не добившись: 8-я армия устояла; прорыв на правом крыле 11-й зашили; левый фланг группы Марвица, — 22 немецкая дивизия, имевшая предместное укрепление на Стыри и лелеявшая замысел прорвать русский фронт и здесь, — был отброшен за Стырь. Отразив удар противника, нападают, это — основной закон всякой борьбы, и приказ Брусилова не пытался изменить это; резервы же подходили с возможной в то время поспешностью.

На отбитом его полками участке правого берега Стыри Гильчевский был и успел составить себе понятие о том, насколько сильны были позиции австро-германцев на другом берегу. Окончатель-

но же ясно стало это после опроса нескольких пленных офицеров.

Всего взято было в плен до полуторых тысяч человек и не меньше погибло, частью во время боя, частью на переправе. Но пленные сообщали, что, кроме немецкой 22-й, накануне сражения начали стягиваться сюда полки свежей австрийской дивизии, отправлявшейся было в Тироль, но изменившей маршрут.

— Против двух дивизий противника, — говорил у себя в штабе Гильчевский, — вести одну нашу, которая свелась теперь почти к бригаде, даже и по мостам можно только в состоянии белой горячки. Я, конечно, изложу свои соображения генералу Федотову и буду просить об отмене его приказа. Но пальбу завтра с утра мы должны открыть и откроем с пяти часов... чтобы прочистить кое-кому мозги, благо снаряды пока имеем.

Пальба началась ровно в пять. К двенадцати отчётливо стали видны широкие проходы в проволоке противника. Одновременно с этим пришёл приказ форсирование Стыри отменить, дожидаться прихода 10-й пехотной дивизии, а 7-ю кавалерийскую отправить далее, в тыл всего 32-го корпуса.

5.

7-я кавалерийская снялась с места в тот же день к вечеру, так как к вечеру подтянулся первый полк обещанной 10-й пехотной. Помня, как командовал генерал Рерберг двумя его полками, Гильчевский отпустил конницу без особого сожаления, тем более, что, в случае нужды в ней, она всё-таки была под руками, хотя и выходила из-под его начальства.

Как-раз в час выступления драгун, когда Ревашову, объезжавшему фронт, вздумалось дать тычка в морду одной артачившейся лошади, та изловчилась дернуть его зубами за руку.

Конечно, лошадь была обучена плохо, если позволила себе так обойтись с рукой бригадного генерала, и пострадал за её невоспитанность ездивший на ней драгун Косоплечев, но рука Ревашова, к счастью левая, оказалась всё-таки мягкой несколько выше кисти и нуждалась в перевязке, которую тут же и сделал полковой врач.

Приговорясь к переходу на новую стоянку, Ревашов, в виду возможного дождя, надел тогда диагональную тужурку, которую лошадь не прокусила, так что раны-то не было, однако, он счёл необходимым показать свою руку врачам в Дубне: нельзя было упускать случая прокатиться в тыловой город, несколько освежиться, кое-что купить в тамошних магазинах, пообедать в хорошем ресторане, во всяком случае в лучшем, какой там можно будет найти.

Он считал, что и независимо от выходы лошади драгуна Косоплечева заслу-

жил однодневный отдых после боевых трудов и лишений, понесенных им во время обороны участка фронта, доверенного дивизии, тем более, что это был первый случай в истории их дивизии за всё время войны, что ей пришлось нести обязанности пехоты.

Он привык думать о себе, как об очень удачливом человеке. Так было с ним и смолоду, во время прохождения службы, так оставалось это и теперь: война тянулась уже два почти года, но ни разу не ставила его в положение прямого риска жизнью. Ни полку, которым он командовал в начале войны, ни бригаде, которую он получил вместе с генеральством, не приходилось участвовать в атаках, — нестись с шашками наголо на неприятельские части, хотя бы и отступающие успешно под натиском на них пехоты, и подставлять тем самым себя под выстрелы и штыки.

Японо-русская война его совсем не коснулась, — драгунский полк, в котором он служил тогда, не посылали на Дальний Восток: его берегли на случай подавления «внутренних беспорядков», что и пришлось ему делать осенью 1905 года и за что сам Ревашов получил тогда очередной орден и движение по службе.

Женат он не был. Он составил себе твёрдую программу жизни и этой программы держался: неукоснительно наслаждаться всеми благами, не обременяя себя заботами, неразлучными с существованием семейных людей. Женитьбу он откладывал до первого генеральского чина, когда можно было подыскать приличное приданое за невестой. Как всякий кавалерист, он вполне искренно любил лошадей и невесту представлял в имении с хорошим конским заводом или с полной возможностью завести его.

В Дубно, однако, он поехал в легковом автомобиле.

Для необходимых в дороге услуг и для того, чтобы таскать покупки, он взял с собою своего денщика, который попал к нему ещё перед войною и оставался при нём во время войны. Фамилия этого денщика-украинца была Вырвикишка, но Ревашову нравилось, обращаясь к нему, ни одного «и» в его фамилии не оставлять, а все превращать в «ы», что больше подходило к наигранному командирскому рыку генерала солидных лет.

Погода выдалась прекрасная: солнце, но не жарко, но пыльно. Машина была ещё не истрёпанная, бежала бойко. И двух часов не прошло, как показался город.

Пренебрежительно, отваясь на мягкое сиденье, смотрел Ревашов на домишки пригорода, которые и раньше, только-что построенные, нуждались в капитальном

ремонте, а теперь, в конце второго года войны, действительно имели жалкий вид. Копошились около них ребятишки в латаных рубашонках; озабоченно тыкались носами в выброшенные на улицу помои скрюченные ребрастые псы.

Лазарет, в который ехал Ревашов, помещался на одной из главных улиц, и это был тот самый лазарет, в котором дежал Ливенцев.

У Ревашова был адрес, но лазаретов на одной улице было несколько, однако не на всяком доме, отмеченном флагом с красным крестом, можно было сразу разглядеть номер, и раза три останавливалась машина и раздавался рык:

— Вырвыкышка! Посмотри, — этот?

Лихого вида черноусый денщик выскакивал из машины, — он сидел рядом с шофёром, — подбегал к дому, оглядывал его снаружи, спрашивал у кого-нибудь внутри, возвращаясь и докладывая, растопырив пальцы у козырька:

— Никак нет, ваше превосходительство, — наш дальше.

Когда же доехали, наконец, он сказал:

— О се сё він самый и е! — (Ревашов любил, чтобы Вырвикишка говорил иногда по-украински).

Левая рука Ревашова была подвязана к шее; никакой надобности в этом не было, но он сам настоял на этом, когда ему сделали первую перевязку: так, ему казалось, было гораздо более похоже на ранение чем-нибудь огнестрельным или даже хотя бы холодным оружием, что иногда бывает не менее опасно.

Вырвикишка открыл дверцу, и Ревашов вышел важно, искоса поглядывая на свою руку. Он даже с полминуты подождал, — не выбегут ли ему навстречу, но когда никто не выбежал, поднялся по ступенькам крылечка, выходявшего на улицу, крылечка с резьбой и даже скрашенного когда-то весёлой золотистой охрой, но теперь облупленного и с отбитой кое-где резьбой.

— Где тут у вас, э-э?.. — спросил он фельдшера с полотенцем, первым попавшегося ему на глаза в коридоре, и при этом только кивнул на свою руку, чтобы не унижать себя длинным разговором с нижним чином.

— На приём желаете, ваше превосходительство? — догадливо отозвался фельдшер и распахнул перед ним дверь, из которой только-что вышел сам. — Сюда пожалуйте!

Ревашов вошёл в довольно просторную комнату, в которой было трое в белых халатах, — двое мужчин, — врачи, — и одна сестра.

И в то время, как оба врача, с большою любезностью усадив генерала за стол, начали расспрашивать, что с ним случилось, и потом снимать повязку и разматывать бинт, сестра стояла в отдалении, у окна, как поражённая внезапно:

ной потерей способности и двигаться, и говорить. Сестра эта была Еля, и Ревашова узнала она с первого взгляда, хотя он уже значительно изменился за годы войны: не только благодаря генеральскому чину, но и лицом и фигурой.

Голова Ели была повязана белым платком-косынкой, и первое, что она сделала, когда вернулась к ней способность шевелиться, старательно спустила свою косынку пониже на лоб, чтобы он не мог узнать её с первого взгляда так же, как узнала она его. Однако она не вышла из приёмной и жадно вслушивалась в то, что говорилось им, Ревашовым, и врачами.

Она не ожидала того, что рана Ревашова серьёзная, — иначе он должен был бы держаться при серьёзной ране, — но то, что ей пришлось услышать о лошади, о лошадиных зубах, которым захотелось вдруг откусить генеральскую руку, насмешило её совершенно против её воли: она отвернулась, правда, при этом к окну, но не могла удержаться от улыбки.

Она подумала, что если бы был здесь сам Ванванч, он не стал бы и разговаривать с таким «раненым», хотя бы и генералом; сказал бы: «Некогда-с!» и ушёл, а с этими двумя молодыми Ревашов расположился тут, как у себя дома.

В то же время ей не хотелось, чтобы он встал, простился с врачами и ушёл бы к себе в автомобиль, который она видела в окно, узнав даже и Вывикишку, того самого, какой был у него в квартире тогда, два с половиной года назад, в Симферополе. Быть может, Вывикишку она и не припомнила бы даже, если бы просто встретила его на улице, но теперь узнала его так же сразу, как и Ревашова.

И тут, за какие-нибудь семь-восемь минут, проведённых Ревашовым на приёме, на неё нахлынуло так много, что всё тело её начало вдруг дрожать крупной дрожью. Она вздёргивала плечами, чтобы сбросить с себя эту дрожь, и не могла сбросить совсем, только слегка приостановила её.

Всё, что пришлось ей пережить тогда, в ту ночь и потом, позже: — поражённый до глубины души отец, которого называли в городе «святой доктор» за то, что не только бесплатно лечил он бедных, но и на свои деньги покупал им лекарства и другое, в чём они нуждались; мать, такая взбалмошная всегда, но в то время тоже, как пришибленная несчастьем, ворвавшимся к ним в дом; старший брат Володя, который несколько дней не ходил в гимназию и всё кричал истерично, что ему стыдно... стыдно иметь такую сестру, как она...

И вот теперь уже нет отца, — он убит, хотя он был полковой врач, — а бывший полковник Ревашов теперь стал уже

генерал, он вполне благополучен, он даже ни разу не был и ранен, — как она услышала, — а если и вздумалось лошади укусить его, то это она могла бы сделать и гораздо раньше, до войны, — в любое время.

Раза два она взглядывала на него вполоборота. Врачи не окликали её, — им не нужна была её помощь для пушечной перевязки, тем более, что, взяв с рукой генерала, они наперебой старались выпытать у него, как дела на фронте: слух о немецком прорыве дошёл до них и их не на шутку встревожил, а генерал победоносно сказал: «Ерунда! Полнейшая ерунда!», это ли было не утешительно?

Раза два или даже больше подмывало её подойти к столу, за которым он сидел, стать перед ним, посмотреть на него в упор и спросить: «Ты меня помнишь?» Непременно так, этими тремя словами: «Ты меня помнишь?» И большим усилием воли она поборолась себя, подумав, что тут, при врачах, он может вдруг сказать: «Нет, не помню и не знаю, — и почему это вам вздумалось обращаться ко мне на «ты»?»

Это остановило её, но, как только он встал и начал благодарить врачей и простиаться, она тут же выскочила боком мимо него в двери.

Что ей сделать дальше, она не представляла ясно, но, чуть только отворилась захлопнутая ею дверь приёмной и она почувствовала, что за Ревашовым может выйти следом кто-нибудь из врачей, которым, кстати, совершенно нечего было сидеть в приёмной, — она бросилась на крыльцо и, не помня себя, соскочила по ступенькам к машине.

Вывикишка стояла, поглядывая на дверь крыльца. У неё мелькнуло, что он не узнает её, конечно, и нисколько не удивится, если она будет говорить с Ревашовым при нём. Шофёр-солдат сидел за рулём, делая что-то с мотором, и на неё не взглянул даже.

Наконец, Ревашов показался на крыльце.

Из-под низко надвинутой на глаза косынки Еля взглянула на него и снова отвернулась, подумав, что вот он теперь видит её у своей машины и объясняет это, должно быть, заботой врачей о нём, боевом генерале: послали, дескать, чтобы помочь ему войти внутрь, поддержать его за раненую в горячем сражении руку.

Он именно так и подумал, — она угадала. Он поглядел на неё с любопытством, спускаясь с крыльца, но только-что подошёл он к машине, стараясь при ней, при женщине, шагать молодцевато, она быстро откинула косынку назад, показав весь свой крутой и красивый лоб, и спросила именно так, как придумала в приёмной:

— Ты меня помнишь?

Всего только несколько мгновений оставались скрещёнными их взгляды, и она успела припомнить за эти короткие мгновения, что он — два с половиной года назад — говорил ей, что делает всех женщин на три разряда: пупсы, полупупсы и четвертьпупсы, — наименее интересные, а её причисляет к первосортнейшим пупсам, — только успела припомнить это и заранее испугалась, — вдруг он вскрикнет: «Пупса! Ты!» И...

Она не могла вообразить, что может он сказать или сделать дальше, но вдруг по глазам его, загоревшимся было и тут же потухшим, поняла, что он узнал её, однако, счёл лучшим сделать вид, что не знает.

— Нет, не помню, э... И как вы смеете говорить мне «ты»? — как-то сквозь зубы протиснул он, ставя ногу на подножку своей машины, дверцу которой держал открытой Вырвикишка.

— Подлец! — крикнула она, вся задрожав снова, как недавно в приёмной, и плюнула ему в толстую тщательно вы бритую щёку.

Ревашов вскочил в машину, сразу потеряв всю свою важность, Вырвикишка захлопнул дверцу, потом с большой быстротой занял своё место рядом с шофёром, и машина, которая перед тем фырчала мотором, сразу дала ход, унося от Ели не только самого Ревашова, но и долгие-долгие, тысячи раз и на тысячи ладов перебираемые мысли её о нём.

Но эти мысли, эти замки, пусть воздушные-разводные, они всё-таки, хоть и незримо, однако, ощутимо подпирала, поддерживали её под покатые девичьи плечи, давали возможность ей переносить многое, чего, может быть, и не перенесла бы она без этой подпоры.

И вот всё рухнуло сразу около неё. Машина исчезла. — завершила за угол. Дома, в котором помещался их лазарет, она даже не разглядела потом в первое мгновение, — ей показалось, что он тоже исчез. Почувствовав, что может упасть, если не схватится за что-нибудь твёрдое, она путаной походкой подошла к крыльцу сбоку, уткнулась лбом в перильца и зарыдала, дёргаясь по-детски телом.

Это увидела в окно Наталья Сергеевна; она тут же выскочила к Еле. Она обняла её, старалась заглянуть ей в глаза, спрашивала испуганно:

— Что с вами, Елинька, что такое?

Она подумала было даже, не упала ли как-нибудь Еля с крыльца, перевесившись через перила, но Еля не отвечала, только рыдала неутешно, и женским чутьём Наталья Сергеевна связала воедино генерала, которого она только-что видела в коридоре, автомобиль, который стоял у крыльца, и Елю, которая почему-то вдруг очутилась на улице...

— Слушайте, Елинька, это, значит, был он? — спросила она.

Еля не отвечала. И почти уверенная уже в том, что генерал, — бывший тогда полковником, — тот самый, о котором рассказывала ей Еля, она спросила её на ухо:

— Это он?

— Нет... Это — совсем другой... — сквозь всхлипывания, уже затихавшие, ответила Еля.

6.

Вслед за первым полком 10-й пехотной дивизии — 37-м — появился в Копани и начальник этой дивизии генерал-лейтенант Надежный.

Гильчевский никогда не встречался с ним раньше, хотя фамилия его попадалась ему в газете «Инвалид» и журнале «Разведчик», когда он просматривал годоводные списки награждённых, и он её запомнил. Надежный тоже окончил военную академию, но двумя годами позже Гильчевского, и служба его протекала не на Кавказе, а в одном из восточных округов.

Вместе с фамилией, не допускающей сомнения в нём, природа подарила ему и вполне подходящую к этой фамилии внешность. К Гильчевскому подошёл такой отменный здоровяк, что он не удержался, чтобы не воскликнуть:

— Ого! Да вы один стоите целой дивизии! — на что Надежный снисходительно усмехнулся, как человек, давно уже привыкший выслушивать по своему адресу кое-что подобное.

Годами он был явно моложе Гильчевского, — ни одного ещё седого волоса не было в темноватой шевелюре над его мощным квадратным лбом, также и в усах стрелами и в очень коротко, чуть не у самой кожи, подстриженной бородачке. Неопределённого цвета глаза его прятались в толстые веки, а когда улыбался он, их не было видно совсем.

— Наслышан о вас и от корпусного командира, и из других источников тоже, — постарался комплиментом на комплимент ответить Надежный, неожиданно для Гильчевского обнаружив при этом, что у него певучий и не по фигуре высокий голос. — Чудеса творите своей ополченной дивизией!

— Ну, так уж и чудеса, — нашли чудотворца! — поморщился Гильчевский, добавив: — Вот потому-то, конечно, мне и приказано было форсировать Стырь без мостов: провести дивизию по водам, яко посуху... Насчёт этого хождения по водам неплохо сказал, как известно, один польский еврей-скептик: «Что Иисус Христос ходил себе по водам, то отчего же нет? Всё это могло быть, — но же бы там было глем-бо-кол...» Стырь же, имеет тут на моём участке сорок сажен шири-

ны, а глубина, — местами, конечно, — до двух сажен доходит! Вот и не угодно ли вам форсировать такую штуковину без мостов!

— Конечно, без мостов нельзя, кто же против этого будет спорить... В штабе корпуса уверены, что вот-вот придут понтоны, — тогда уж вправо будут от нас с вами потребовать...

— На обе дивизии дадут понтоны? — перебил Надежного Гильчевский и с большой пытливостью постарался разглядеть его глаза.

Но Надежный только развёл руками, говоря:

— В эти тайны, простите, не посвятили меня.

— Та-ак-с! — протянул Гильчевский. — Значит, вы не настаивали на том, чтобы вам это сказали, а между тем, осмелюсь вам доложить, вопрос этот — самый существенный.

Следуя своим кавказским обычаям, Гильчевский угостил Надежного всем, что мог отыскать в его походном погребце вестовой Архипушкин.

Не привыкший к тому, чтобы о нём и его дивизии заботилось корпусное начальство, Гильчевский полагал, что для временно прикомандированной к корпусу, притом кадровой, дивизии штаб армии даст всё, что будет необходимо, в избытке, так что, авось, что-нибудь переплеснёт и ему, а задача форсировать Стырь и без приказа свыше никак не могла выскочить из его головы. До приезда Надежного он прикидывал на-глаз всякие возможности к тому, чтобы достать необходимый материал для мостов. Всё разбитое дерево прежних мостов, какое медленно плыло по реке, он приказал выловить, и это сделали ночью, но получилось его слишком мало. Бродов не было, островов не было, но топкие болота в обе стороны от реки были большие. По его приказу, плетни и решётки делались тут, в лесу, гораздо прилежнее, чем на Слоновке, и если бы на его долю достались понтоны, вопрос о переправе своей дивизии он считал бы решённым. Но на всякий случай приглядывался он и к хатам деревни Копань, много ли в них делового леса, и к деревьям в лесу, вспоминая, как пришлось ему разыскивать на месте всё нужное для переправы на такой реке, как Висла, в полверсты шириною.

Угощая Надежного, он старался решить для себя, так ли этот прочный генерал на самом деле надёжен, чтобы быть спокойным за то, что его 10-я дивизия не подведёт 101-ю, когда начнётся серьёзное дело.

Весь участок фронта, занимаемый дивизией Гильчевского, тянулся на десять вёрст; этот участок теперь был поделён пополам командиром корпуса, притом так, что северная его часть приходилась

на долю Надежного, а на южную Гильчевский должен был стянуть свои полки. Когда об этом услышал от самого Надежного Гильчевский, он начал раздумывать вслух:

— Генерал Федотов рассудил, как Соломон. Вот план, — вот ваш участок. Видите, — ваш берег Стыри гораздо более болотист, чем мой теперешний...

— Неужели? — встревожился Надежный, вглядываясь в карту местности.

— Да, как видите, болотистей. Но зато считаю нужным вам сказать, мой участок пришёлся против гораздо более сильных укреплений противника, чем ваш, так что одно уравнивает другое.

— Так-то так... То-есть, весьма возможно, что уравнивает, однако, эти болота, — ведь они топкие? — продолжал тревожиться Надежный.

— Такие же топкие, как и мои, только, — вы сами видите, — на вашем участке полоса их шире, чем на моём, — испытующе глядя на него, объяснил Гильчевский. — А когда вы объедете всю линию сами, то увидите это своими глазами.

— Вы объезжали, конечно, линию... на чём? — спросил Надежный.

— Разумеется. Верхом я обыкновенно... Там сейчас занимают позиции два моих полка — 402-й и 404-й... Хорошие полки оба... Впрочем, плохих у меня не имеется.

Надежный упорно, долго разглядывал карту, и Гильчевский понимал, что он усиленно думает над тем, какой из двух участков выгоднее, и не подел ли его Федотов, дав ему заведомо более топкий.

— Да, разумеется, силу позиций противника могут выявить разведчики, — сказал, наконец, Надежный, — сообразно с чем и можно будет поступить потом... Но вот эти болота...

— Хорошо, если вас больше смущают болота на этом, чем укрепления на том берегу, — энергично прервал его раздумье Гильчевский, — то давайте меняться, — мне всё равно.

Это озадачило Надежного. Видно было, что он заподозрил и тут какой-то подвох, поэтому возразил, хотя и не очень уверенно:

— Неудобно меняться, что вы! Разве что доложить об этом корпусному командиру?... Да нет, как можно!.. Ведь распоряжение пришло из штаба армии, — изменять его нельзя.

Гильчевский увидел, что его «правая рука» — Надежный — окончательно решил про себя, что его участок всё-таки менее трудный, если ему предложили обменять на другой, — налил себе и ему по стаканчику водки и сказал энергично:

— Ну, хорошо! Запьем, в таком случае,

то, что не от нас зависит, — завьём горе верёвочкой.

Чокнулся, выпил и, не закусывая, добавил:

— На пяти верстах не разгуляешься, и никаких комбинаций не придумаешь... Не знаю, впрочем, как вы, — а я нахожу только один выход: буду бить в лоб. А уж что из этого выйдет, — аллах ведает. Вся моя надежда на понтоны.

Закусывая уже после этого охотничьей колбасой, Гильчевский снова пытливо приглядывался к Надежному, но тот старательно жевал вполне исправными зубами эту же жёсткую колбасу и был совершенно непроницаем.

Только на другой день, когда оба они были вызваны на совещание к Федотову в село Волковыю, Гильчевский узнал, наконец, что понтонный парк решено уже передать Надежному.

Но не только одно это узнал он в Волковые.

7.

Это была большая деревня, вполне достаточно удалённая от центра, чтобы отсюда «руководить» действиями корпуса, время от времени подходя к телефону, если нужно было звонить самому, или выслушивать, что доносили и что передавали из штаба армии.

Сам Федотов занял чистенький каменный дом, крытый черепицей, а штаб свой поместил в просторной хате рядом.

Гильчевский не один раз видел Федотова и раньше и всякий раз пытался и всё же не мог представить, как мог бы этот человек вести себя, если бы получил во время этой войны не корпус, а дивизию, которую нужно было бы водить в бой.

Много чиновничьего, много барского, много кабинетного было в Федотове, но решительно ничего боевого. Гильчевский думал даже, что едва ли способен он ездить верхом.

Он был не так и стар, — всего на два года старше Гильчевского, — и на вид вполне благополучен по части здоровья, но не мог обходиться без парного молока по утрам, так что если бы совсем перевелись коровы в деревнях на Вольни, то при штабе его корпуса непременно завелась бы корова.

Охотничья собака — пятнистый сеттер — неизменно лежала около его стола. По словам Федотова, это была редкостная на чутьё и стойку собака, но сам он никогда не охотился раньше, тем более теперь, и зря старался в своё время редкостный сеттер, по кличке Джек, развивать природные таланты. Зато утром и вечером вестовой генерала водил Джека купать на речку, и там на свобод-

де мог он гонять с берега в воду гусей и уток, наслаждаясь их встревоженным крыканьем и гоготаньем.

Сам Федотов был невысокий, сытенький, благообразный, на вид моложе своих лет, в меру лысоватый и не то, чтобы с сединою, но с голубизною в опрятно приглаженных волосах.

Академию он окончил раньше Гильчевского, но вся служба его протекала в штабах, поэтому по части военного крючкотворства он был немалый знаток. Однако он считал себя знатоком и в искусстве ведения боя, своей личной распорядительности приписывая успехи своего корпуса и в то же время ревниво следил за успехами всех других командиров корпусов не только в 11-й армии, но и в других, и не на одном только Юго-западном фронте, и не только командиров корпусов, но и командующих армиями тоже.

Так, первое, что от него услышали Гильчевский и Надежный, когда приехали к нему в Волковыю на совещание, было неприкрыто-радостное восклицание:

— А Рагоза-то, Рагоза! Ни-че-го-то решительно у него не выходит! Только-что мне говорили из штаба армии: почти провалил наступление!

— Какой Рагоза? — спросил, недоумевая, Гильчевский.

— Ну, вот тебе на,—Рагозы не знать!— удивился Федотов. — Кому, кажется, он не известен, а вот вам объяснить надо! Рагоза — командир группы войск на Западном фронте, и вот он провалил наступление!.. А сколько подготовки было! А сколько разговоров всяких! Надежда на него сколько возлагали, я вам доложу, — уши Рагозой прожужжали, — а в результате оказался ни к чорту!

И Федотов даже и руки — круглые, мягкие, белые, — потирал, точно от удальства, что известный ему генерал Рагоза потерпел неудачу.

Гильчевский, конечно, сразу же понял, о каком Рагозе идёт речь. Он знал и то, что Рагоза — командующий 4-й армией у Эверта, что эта армия соседствует с 3-й, отошедшей к Брусилову, что там должно было начаться, но всё откладывалось наступление на город Барановичи, и если спросил всё-таки: «Какой Рагоза?», то потому только, что не мог понять, почему у Федотова такой довольный вид, если проваливается замысел этого Рагозы. — т.-е., замысел Ставки, — поддержать Юго-западный фронт сильным ударом по немцам, прорвать их фронт и захватить Барановичи.

Так и хотело сорваться у него с языка: «Эх, вот вас бы назначить на место Рагозы командовать группой корпусов и дивизий! Вот у вас бы, конечно, пошла бы музыка не та!» — И если не сорвалось всё-таки это, то только потому, что-

боялся он, как бы Федотов не принял этого за чистую монету и не отозвался бы самодовольно: — «Да, разумеется, я бы иначе повёл бы дело, и Барановичи были бы уж теперь взяты!»

Впрочем, и разговор насчёт операции Рагозы не затянулся: Надежный, ухватившись за то, что Федотов упомянул неудобные для действий артиллерии леса и болота, кстати уввернул, что болота оказались и на его участке на Стыри и что не лучше ли было бы для пользы дела ему с Гильчевским обменяться участками...

Мягко улыбаясь при этом и пряча глаза, Надежный закончил это так:

— Константин Лукич в разговоре со мной высказался за то, что не прочь был бы переместиться туда.

— Послушайте, что вы! — возмутился Гильчевский. — Разве о том я говорил, чтобы переместиться?

— Неужели нет? Значит, я просто не так вас понял, простите! — сказал Надежный.

А Федотов поддержал его:

— Да, вот видите, болота — это, конечно, большое затруднение, большое... очень большое...

Но добавил, потеревив небольшие усики и снова их тщательно пригладив:

— К сожалению, если бы даже и Константин Лукич высказался за это, то ломать диспозицию штаба армии я не могу... Наконец, это значило бы разбивать мой корпус на две части, а вашу дивизию втиснуть в середину, — что вы, разве это возможно?.. Джек, тубо!

В совещании генералов принимал участие и Джек тем, что деятельно обнюхивал сапоги Надежного, пахнущие, быть может, болотной дичью, о чём и не подозревал их владелец.

Вот тут-то Гильчевский и заговорил о самом важном, что было ему необходимо, — о понтонах, а когда Федотов ему сказал, что понтоны придут в таком количестве, что едва ли и на одну дивизию хватит, быстро спросил:

— Что же, — пополам поделить их в таком случае?

— Ну, что же там делить! — ответил Федотов. — Получится ни то, ни сё: ни богу, как говорится, свечка, ни чорту кочерга. Поэтому...

Гильчевский так и впился в него потемневшими уже глазами, предчувствуя окончание фразы, на которой запнулся Федотов, и даже повторил непроизвольно:

— Поэтому?

— Они все, сколько их будет, направлены будут вот, в 10-ю дивизию, — договорил Федотов.

— А... а почему же это, позвольте узнать, дивизию своего корпуса вам непременно хочется утопить в этой Стыри? — не сдержался, чтобы не задать своему

начальнику такого вопроса Гильчевский, но Федотов сделал вид, что не обиделся, вполне понимая его горячность. Он даже слегка усмехнулся, говоря:

— 10-я дивизия у нас гость, — ей и лучший кусок за столом, а вы, Константин Лукич, — даже и в штабе армии так думают, — вы-то уж непременно обойдётесь без понтонов!

— Как же это так обойдусь, хотел бы я знать?

— Э-э, как! Это уж вы доказали, что умеете обходиться!.. Тем больше вам будет и чести, — снова усмехнулся, при этом поощрительно, Федотов.

— Не понимаю, какая же будет мне честь, если я утоплю свою дивизию! — возмутился Гильчевский. — Неужели в штабе армии не представляют, как это произойдёт? Большого воображения тут не нужно: без мостов полки могут, конечно, сунуться в воду на этом берегу, чтобы на тот не выйти.

— Выйдут, Константин Лукич, выйдут! У Вас непременно выйдут, — не скромничайте! Вы им там из каких-нибудь местных материалов соорудите мосты, и выйдет это лучше, чем понтоны.

— Хорошо, мосты сделать, — вспомнил Гильчевский хаты Копани, которые он уже решил, в крайнем случае, раздёргать, — но ведь для этого нужно время!

— И время найдётся, — ведь не завтра же это, — сказал Федотов.

— Как не завтра? — удивился Гильчевский.

— Да ведь наш командарм обратился к Брусилову за разрешением временно перейти к обороне в виду больших потерь. Ведь и ваша дивизия только по имени дивизия, а фактически она не больше бригады.

— Даже несколько меньше бригады, — согласился Гильчевский. — Особенно печально, что офицеров в иных ротах ни одного... Да и батальонами некому командовать.

— Вот то-то и есть. Командарм просит пополнений. Точнее сказать, на ходатайство об этом и о том, чтобы перейти к обороне, генерал Брусилов вынужден был склониться, потому что неэкономно ведь наступать малыми силами, — лучше подзаправиться как следует и... таким образом! — Тут Федотов выставил перед собой разжатые пальцы и весьма энергично сжал их с наклоном к полу.

— Подзаправиться? — подхватил Гильчевский. — Подзаправиться только тем, что ещё и ещё людей наскрести и на фронт?.. А материальная часть?.. Почему несём такие большие потери? Потому что человека у нас не ценят, вот почему! «Чего доброго, а людей настругано довольно, — хватит!»... Хватит ли? Это ещё большой вопрос! А лучше бы понтонов настругали побольше, чтобы их хотя бы

на две дивизии хватило, а не на одну только! Эх, жулики! Эх, недотёпы!

— Это вы кого же жуликами считаете? — осведомился Федотов, разглядывая в это время раздвоенный чёрный нос своего Джека.

— Жуликами? Всех вообще, кто суётся в волки, а хвост пороссячий! — резко ответил Гильчевский. — За что ни хватись, ничего не имеем, поэтому, где одного Ивана за глаза довольно, — десять давай! Мои люди наведут мосты, — они сделают, а сколько их погибнет ради этого совершенно зря? Да ведь это целый атаки стоить будет — под огнём противника наводить мосты! Это значит, с одного вола десять шкур драть, — вот что это значит! Ты и лови, ты и соли, ты и копти, ты и бочки делай, ты и консервные коробки варганы! А где же тыл? Этак можно дойти до того, что нас и орудия отливать тут заставят! Скажут, что это очень простое дело: взять дыру и облить её сталью, — вот тебе и орудие! Взять другую дыру — другое!

Надежный улыбался, может быть, и против желания, видя такую горячность своего нового соседа по фронту, но Федотов всё упорнее смотрел на Джека и хмурился; наконец, заговорил, начальственно подняв голову:

— Несдержанны вы, Константин Лукич, а это... вам уж не раз вредило, насколько мне известно, и в будущем тоже может ведь повредить.

— Вредило! Подумаешь! На то и война, чтобы вредило, — входя в новый азарт, начал было оправдывать свою несдержанность Гильчевский, но Федотов, положив свою руку на его, спросил вдруг:

— Вы полковника Кюна за что от полка отчислили?

— Кюна? За то, что трус! А что такое? — не понял такого перелома и поднял брови Гильчевский.

— Вот видите ли, что такое: у Кюна ведь большая протекция, и дело, скажу вам между нами, дошло до самой императрицы, — вот что! Вы Кюна обвиняете в трусости, что трудно ведь доказать...

— Почему трудно? Неисполнение приказа моего по явной трусости, — перебил Гильчевский.

— Вы говорите: трусость, а он: осторожность, предусмотрительность, — мало ли что ещё. Вас же он обвиняет в гораздо более серьёзном.

— Меня? Вот как! — удивился Гильчевский. — А в чём же именно, если не секрет?

— В том-то и дело, что секрет, в том-то и дело! — многозначительно подмигнул Федотов, давая этим жестом самому Гильчевскому понять, что дело тут политическое, что отставленный от командования 402-м полком немец Кюн пустил в ход что-нибудь вроде обвинения его в замыслах ниспровергнуть династию.

Представив Кюна и в руках его бумажку именно с подобным доносом, Гильчевский сказал, глядя на Надежного больше, чем на Федотова:

— Предчувствую, что этот Кюн за свою трусость и подлость произведен уже в генерал-майоры и едет сюда, на моё место, принимать 101-ю дивизию!

— Ну, что вы, что вы, Константин Лукич! — попробовал даже рассмеяться такому предчувствию Федотов, а Надежный, который вообще оказался из молчаливых, только пожал широкими своими плечами и махнул рукой, — дескать: сущие пустяки.

— Нет, в самом деле, — ведь обвинить меня там, в Петрограде, он может в чём ему будет угодно, — а раз он пойдёт для этого с заднего крыльца, то и преуспеет. Вот он, значит, и будет тогда форсировать Стырь под ураганным огнём! Чего же лучшего и желать?

— Да не он, а вы, Константин Лукич, сделаете это в лучшем виде, на что и я надеюсь, и штаб армии тоже, — теперь уже посмеиваясь вполне благожелательно и похлопывая его дружественно по локтю, сказал Федотов. — А доносы на всякого из нас пишут, — на то мы и занимаем видные посты. На нас пишут, а мы отписываемся, только и всего! А теперь, — он посмотрел на часы, — адмиральский час, и сядем обедать.

В соседней комнате денщики уже гремели посудой, и Джек, заслышав запахи кушаний, перестал уже обращать внимание на сапоги Надежного. Он даже покинул совещание, перешедшее к тому же к личным вопросам и потерявшее чисто деловой свой характер, и, степенно потягиваясь и поглядывая при этом на хозяина, который явно для него замешкался, вильнул призывно пушистым хвостом, потом скрылся.

— Джек, иси! — крикнул ему Федотов, в целях борьбы с его своеволием, но тут же раздался заливетый встревоженный лай Джека уже с надворья, и Федотов обеспокоенно повернулся к окну, пригнув голову, чтобы смотреть вверх.

— Что? Аэропланы? — спросил Надежный.

— Да, тройка! Чорт знает, сколько у них воздушных машин! Никогда нет от них покоя, ни днём, ни ночью! — взволнованно проговорил Федотов, а Гильчевский подхватил оживлённо и нескрываемо зло:

— Вот то-то и есть, что «сколько машин!» А у нас они где? Две-три сотни на целый фронт, когда их давай сюда тысячи! Но машины — дело новое, и для них заводы нужны, а понтоны — это так же старо, как мир, и для них нужны только плотники, однако, и их нет!.. А живём на фронте друг против друга с волками, весьма хозяйственными, а с

волками жить — надо по-волчьи и выть!. А на одном собачьем лае против самолётов далеко не уедешь... так же как и на доносах Кюнов!

8.

Весть о неудаче группы генерала Рагозы на Барановическом направлении докатилась в последних числах июня и до лазарета, в котором лежал Ливенцев.

В киевских газетах, полученных в Дубне, говорилось, что взято свыше трёх тысяч австро-германцев в плен и захвачены две линии окопов; что немцы вывозят из Барановичей всё ценное в поездах, один за другим уходящих на запад; что западнее Барановичей замечены с воздуха большие пожары: горят деревни, очевидно, поджигаемые немцами, готовящими свои силы к отступлению. Но в то время, как это сообщалось корреспондентами, в официальной сводке отмечались контракаты противника, и с каждой новой газетой всё больше говорилось о контракатах; наконец, Западный фронт перестал упоминаться совсем: там наступило затишье. Всего только несколько дней заставил газеты писать о себе Эверт.

Зато писал он сам, донося в Ставку, что, вследствие целого длинного ряда причин, наступление, предпринятое на Барановическом направлении, не дало ожидаемых результатов, но вывело уже из строя убитыми, ранеными и пропавшими без вести до 80 тысяч человек. Он запрашивал, продолжать ли действия, несмотря на такие потери, или прекратить их. В Ставке решили больше никаких надежд на Западный фронт не возлагать, гвардию же оттуда начать немедленно вывозить на фронт Брусилова, в район Луцка.

Об этом последнем в газетах, конечно, не сообщалось, и этого не знал Ливенцев. Он продолжал ещё думать, что вот за Западным фронтом придёт в движение и Северный, где пока отмечались только мелкие стычки, и, наконец, разовьёт во-всю те действия, которые начал на реке Сомме, — второй фронт.

Газеты много места уделяли англо-французам, но трудно ещё было судить, насколько успешны их наступательные порывы; никакая самая подробная географическая карта тут не могла бы помочь читателю газет: о километрах пока не говорилось, — только о сотнях метров пространства.

Но Ливенцев привык уже к тому, что во Франции совсем другие масштабы, чем в России: где мало земли, там её больше ценят.

Время думать над трудным вопросом, может ли окончиться война к зиме этого года, у него было, но думать мешала не-

подвижная, тупо болевшая, как бы и не своя совсем, тяжёлая нога.

Он спрашивал Забродина несколько раз:

— Как же всё-таки? Оперировать будете?

— Не время. — отвечал Забродин хмуро.

— Перелом или разрыв?

— Увидим.

— Может быть, просветить бы рентгеном?

На этот вопрос Забродин даже не отвечал, только отрицательно двигал мишинец правой руки и отходил от койки.

Больше всего угнетала Ливенцева не боль в ноге, не эта неопределённость, что такое произошло с нею, как та зависимость от санитаров, какой не чувствовал он, когда был хотя и серьёзно ранен пулей в грудь на вылет, но мог, однако, сидеть, потом вскоре и ходить даже.

Теперь он был почти совершенно неподвижен, — его ворочали, стараясь соблюдать осторожность, ему помогали даже есть, и эта беспомощность его удручала прежде всего потому, что её видела Наталья Сергеевна.

Когда он был только-что привезён в лазарет и увидел, — узнал её, он показался самому себе исключительным, необычайно, неслыханно награждённым за то, что пережил на фронте в течение нескольких месяцев. Но теперь он лежал так же, как и другие тяжело раненные, мучаясь сам и заставляя мучиться её.

Несказанной радости день-от-дня становилось всё меньше. Оставалась только успокоенность от сознания, что если даже ему суждено умереть, всё-таки перед смертью он будет видеть около себя не чужие лица, а её лицо: она склонится над ним, и её мягкие пепельно-золотые волосы закроют его глаза.

Об этом думалось раза два или три ночами, но с наступлением дня приходила бодрость, уверенность в том, что трудно только теперь, потом же, очень скоро станет гораздо легче. На всякий случай он спросил одного из молодых врачей — Хмельниченко:

— А не будет ли хуже оттого, что не оперируют меня до сих пор?

— Нет, хуже не должно быть, — отвечал Хмельниченко, но как-то не совсем уверенно, — так показалось Ливенцеву.

Он спросил и Наталью Сергеевну, что говорят между собой, — не слыхала ли она, — врачи о его контузии.

— Говорят, что трудный случай, — сказала она.

— А всё-таки? Насколько именно трудный? — допытывался он, стараясь угадать правду по выражению её глаз, до оттенку голоса. — Может быть, придётся совсем проститься с ногой?

— Нет, что вы! — так испуганно откачнулась она, что он поверил и даже почувствовал свою ногу на момент совершенно здоровой и спросил уже успокоенно:

— В каком же смысле всё-таки трудный случай?

— Говорят... что, может быть, вам придётся пролежать после операции... Ну, не знаю ведь, сколько именно, и, конечно, врачи сами не знают.

— Неужели целый месяц? — спросил Ливенцев с тоской.

— Может быть, и месяц, — облегчённо ответила Наталья Сергеевна, которой Забродин назвал гораздо более долгий срок.

Ливенцеву не хотелось, чтобы Наталья Сергеевна помогала Забродину, когда он будет делать ему операцию. Он представлял себя на операционном столе с хлороформенной марлевой тряпкой на лице, с ногою, из которой ланцет выпустит много зловонного гноя, и кощунственным казалось ему такое зрелище для той, которую он любил.

— Наталья Сергеевна, у меня к вам большая просьба! — обратился он к ней, когда она присела на белую табуретку около его койки.

— Что такое? — встревожилась она.

И он передал ей то, о чём думал, но она отозвалась, как мать ребёнку:

— Нечего выдумывать! Непременно буду на операции.

— Нет, я всё-таки очень, очень прошу не быть, — повторил Ливенцев, а так как в это время подошла к ним Еля, то он обратился и к ней: — И вы, Еля, не смотрите, когда мне будут операцию делать.

Еля поняла, что он только-что просил о том же Наталью Сергеевну, и возразила:

— Вы хотите, чтобы смотрела тогда на вас одна «Мировая скорбь»? Или ещё и Бублик?

— Они пусть уж, так и быть, если без этого нельзя, — ответил Ливенцев.

— Нет, без кого-нибудь из нас никак нельзя, а будет из нас та, кого назначат, — объяснила Еля.

— Постарайтесь, пожалуйста, вы обе, чтобы никого из вас не назначали.

— Нет уж, я буду сама проситься. — как же можно иначе? — сказала Наталья Сергеевна и заговорила о другом, чтобы его развлечь.

От врачей она слышала, что сама по себе операция не спасёт Ливенцева от осложнений, если они заложены в характере контузии. Она спросила Хмельниченко:

— А какие могут быть осложнения?

Он ответил:

— Самое серьёзное из них называется тромбо-флебит.

Наталья Сергеевна не знала, что скрывается под этими двумя словами, и он объяснил.

— Тромбо-флебит очень опасен для сердца, также и для головного мозга, но будем надеяться, что его всё-таки не будет. Во всяком случае, примем против этого кое-какие меры.

— А какие же всё-таки меры? — спросила Наталья Сергеевна.

— Прежде всего, ногу придётся держать в положении вертикальном. Это, конечно, очень большое неудобство для вашего больного, но придётся ему потерпеть, — сказал Хмельниченко. — Кое-что ещё в смысле режима, затем прижигания раны, какая будет, ляписом, иодом... Вообще, после операции дело будет виднее.

День операции, наконец, был назначен. Забродин, точно угадав желание Ливенцева, взял в этот день к себе в помощницы «Ветер на сцене». Но Наталья Сергеевна всё же была при Ливенцеве, когда его укладывали на носилки, и помогала в этом санитарам. Сквозь приступы боли наблюдавший за её озабоченным лицом, которое казалось даже побледневшим, спросил её Ливенцев с испугом в голосе:

— А не хотят ли мне отрезать ногу, скажите, всё равно уж?

— Нет, нет, что вы! — таким же испуганным голосом сказала она. — Ведь перелома кости нет, — в этом Забродин уверен, — я слышала.

С его носилками рядом дошла она до двери операционной, где благословила его движением оробевшей, узкой в запястье, милой руки, и Ливенцев всем наболевшимся телом почувствовал, что вот неизбежное сейчас совершится. На фронте могло и быть, и не быть, а здесь неотвратимо, и остались считанные минуты до чего-то непоправимого... Может быть, только щадя его, не сказала Наталья Сергеевна, что отсюда вынесут его уже об одной ноге?.. С этим вопросом в глазах он теперь уже совершенно безмолвно следил за отрывисто командующим Ванванычем, хранящим необычайно серьёзный, даже сердитый вид.

Под тяжело пахнущей хлороформенной повязкой он, приготовившийся уже к потере сознания, — как там, в только-что отбитом окопе, — скоро потерял его. А когда открыл глаза, то инстинктивно прижал руку к своей больной ноге, и только потом, убедившись, что нога цела, и пошевелив на ней слегка большим пальцем, чтобы убедиться ещё и в том, что цела она вся, Ливенцев рассмотрел, что лежит он уже не на столе, а на носилках, и два санитаря поднимают эти носилки, чтобы нести его снова в палату.

В коридоре встретила носилки с ним Наталья Сергеевна.

— Ну? Что нога? Цела?—спросила она таким тоном, как будто сама заразилась его недавним испугом, и он ответил ей, улыбнувшись:

— Цела, zcela...

— Ну вот, видишь! Я тебе говорила ведь, что будет zcela! — в первый раз за всё время их знакомства обратилась к нему так интимно Наталья Сергеевна, не только как к самому близкому человеку, но и к такому ещё, который долгое время, быть может, точно её ребёнок, будет нуждаться в её помощи, но для того, чтобы потом многие годы итти рядом с нею и нога в ногу в новой жизни, какая настанет после этой войны.

Женщина всегда несёт в себе вечность, даже если и не догадывается об этом. Она рождает, она охраняет жизнь. И напрасно думал Ливенцев, что Наталья Сергеевна потеряет что-то в своём представлении о нём, если будет видеть, как режут его совершенно бесчувственное полумёртвое тело, как выходит из его ноги то, чего было в нём «полно»,—гной, сукровица, кровь...

Даже «Ветер на сцене», видевшая всё это, после операции как будто прониклась особым правом на исключительную заботу о нём, и у «Мировой скорби» ясно неподдельно тёплым участием лицо, когда она во время своего дежурства подходила к его койке поправить ему подушку, поставить градусник, дать лекарство... Для него же начались самые мучительные дни: перед его глазами торчала, как столб, его нога, подвешенная к потолку, и он не имел возможности даже во время сна перевернуться с боку на бок.

Глава десятая

ЧЕРЕЗ СТЫРЬ

1.

Вернувшись от Федотова, Гильчевский «закусил удила и понёсся», как сказал, глядя на него, Протозанов. Так неожиданно даже для него, казалось бы хорошо знавшего своего начальника, вскипел чисто хозяйственный талант Константиана Лукича.

Будущие мосты через Стырь — они пока ещё были разбросаны по стенам и крышам пустых хат деревни Копань, жителей которой вместе с их живностью и скарбом угнали, отступая, австрийцы. Гильчевский двум ротам сапёрного батальона приказал немедленно ломать хаты, наиболее богатые брёвнами, кроквами, досками, а вечером, когда стемнеет, подвозить всё это поближе к реке.

Забарабанило в воздух и взревело дерево, отдираемое от насиженных тёплых мест ломами, замелькали топоры, пыль

поднялась столбами над Копанью, и, отмахиваясь от неё руками, говорили сапёры:

— Вот уж истинно сказано: «Чужой ворох ворошить, только глаза порошить».

Эти сапёры, они работали весело, хотя хорошо знали, что им же придётся наводиться вскорости ночью мосты под жестоким обстрелом с того берега, и многим из них не придётся уж никогда больше ни ломать, ни строить, ни глядеть на солнце, ни порошить глаза.

Они работали споро: складывали штабелями брёвна к брёвнам, доски к доскам, попутно пригибая на них обухами топоров гвозди, и вечером сам Гильчевский пришёл посмотреть эти штабеля, прикидывая на-глаз, сколько чего может пойти на два моста на козлах и два других моста — на поплавах. Кроме того, нужен был ещё и запасной материал для починки в случае, если очень сильно пострадают мосты от артиллерийского обстрела, что было неизбежно, конечно; нужно было ещё заготовить доски и для того, чтобы загатить ими топкие места перед мостами как на этом берегу, так и на том, иначе нельзя было бы переправить туда свои батареи.

Но сапёры сапёрами, и мосты мостами, а плетни и решётки для одиночных стрелков, которым не только переходить болота, но и, весьма возможно, залечь в них придётся на том берегу,—их нужно было заготовить как можно больше, — так решил Гильчевский, обходя в тот же день, как вернулся из Волковыи, окопы своей дивизии. Поэтому в лесу около Копани, и дальше, в густом дубняке и молодом берестянке, среди которого попадались довольно часто раскидистые кусты орешника, тоже шла весёлая работа лесорубов, плелись плетни, вязались решётки.

Сам же Гильчевский зорко всматривался, как полтора года назад на Висле, в берега Стыри, где они круче, где отложе; в рощи и заросли кустов как на том берегу, так и на этом; в постройки, — полусгоревшие, полуразбитые или уцелевшие местами; в капризные изгибы реки... Всё замечал он, что могло облегчить переправу: и рощи, и просто густые кусты, и постройки, и крутобережье. Прикидывал на-глаз и отмечал на плане, где река была уже и, значит, глубже, где шире и мельче.

В первый же день, как получил приказ наводить мосты, места для четырёх мостов он выбрал и больше уж не менял их: это были места прежних мостов. Он не только озабочен был тем, чтобы укрыть от огня противника своих сапёров природными преградами, как кусты, рощи, постройки, но наблюдал прилежно и то, где и как далеко от берега тянулись окопы австро-германцев. Вот перешли

мост штурмовые группы, вот одолели топкий берег, — далеко ли им будет бежать до окопов? Есть ли прикрытия, если сильный огонь заставит их залечь?..

Когда он вернулся в штаб и сел ужинать, картина переправы через Стырь рисовалась в его мозгу настолько отчётливо и ярко и трудная сама по себе задача казалась так близка к решению, что он заметно для Протозанова повеселел и даже продекламировал «из Некрасова»:

И обслось по воле божией,
Что певала моя матушка:
Реки будто непрохожие
Форсирует Каллистратушка.

К этому же добавил:

— Конечно, будет трудно, очень трудно... Главное, много потерь понесём совершенно напрасно. Но что делать, если у нас такая бедность. Чем и кем чорт не шутит! Вот и нами тоже... Но погодите, любезнейшие господа Федотовы, — мы ещё посмотрим, какая из двух дивизий скорее форсирует Стырь, — моя ли, без понтонов, или десятая, с понтонами!

На другой день он заставил вырубить большую площадь в лесу, чтобы можно было на ней установить лёгкую артиллерию для более успешного действия по неприятельской проволоке: здесь она становилась гораздо ближе к цели, чем на своей прежней позиции, отсюда был лучший обстрел, а вырубленные кусты и деревья как нельзя нужнее были для гатей; излишек их он предложил Надежному, чтобы его не слишком озадачивали топкие места на его участке.

Надежный внимательнейше приглядывался ко всему, что он делал, про себя рсшив также поближе к реке поставить свои лёгкие батареи, но перевозить к себе, что ему предлагал Гильчевский, всё-таки отказался, сославшись на недостаток подвод.

С недоумением смотрел он и на горы плетней и решёток и говорил задумчиво:

— Не отрицаю, что само по себе, так сказать, в идее, это не лишено остроумия, однако, простите, пожалуйста, Константин Лукич, как же представить себе наших солдат, чтобы шли они в атаку с таким багажом?.. Нето им бежать вперёд и кричать «ура», нето эти сооружения тащить, и ни бежать, ни «ура» не кричать, а их в это время расстреливать будут прямо пачками...

— Ну, вольному воля, а спасённому рай, — обиделся Гильчевский. — Не видите в этом пользы, так и быть. А у меня непременно их тащить будут.

2.

Подходили пополнения. Их уже некогда было готовить к предстоящим боям,

вспору было только распределить по ротам. Новые офицеры из школ прапорщиков, совершенно ещё необстрелянные, всё-таки встречались радостно, так как многие роты совсем не имели офицеров.

Учебные команды своей дивизии, в которых нашлось полторы тысячи человек, Гильчевский свёл в особый отряд и отдал его под команду ротмистра Присеки, ведавшего конной сотней дивизии, оставшейся в ней с ополченских времён. Этот отряд получил назначение стать его резервом дивизии. Расположив его около своего наблюдательного пункта в окопах, раньше занимавшихся 403-м полком, теперь передвинутым к реке, туда, откуда были выбиты австро-германцы, Гильчевский не мог выделить для него ничего, кроме двух пулемётов.

— На полтора батальона военного состава только два пулемёта! — сам удивился он. — Скажи какому-нибудь немецкому генералу, — ведь засмеёт, — эх, бедность наша! Только доносы читать умеют, а ни черта не приготовили, чтобы воевать по-европейски!

Очень подробно составил он диспозицию, назначив каждому полку, каждой батарее определённое место и задачу.

У него была теперь тяжёлая артиллерия — батарея шестидюймовок и батарея 42-линейных орудий; было две батареи гаубиц и 42 лёгких пушки. — но он сомневался, хватит ли ему лёгких снарядов, особенно шимоз, для пробивки проходов.

Он входил в каждую мелочь, шаг за шагом представляя себе, как должно итти дело. Батареи он расположил так, чтобы могли они дать перекрёстный огонь по окопам противника против места, назначенного для переправы.

Лёгкая артиллерия знала свою задачу: пробить по три прохода на каждый из двух атакующих полков — 402-й и 404-й. Тяжёлая должна была громить батареи австро-германцев и места, где могли скопятся резервы.

Свой наблюдательный пункт он устроил, по обыкновению, так близко к окопам, как этого не делал, кроме него, ни один начальник дивизии.

Когда затишье на фронте 11-й армии окончилось, — это было уже в начале июля, — и был назначен Сахаровым день общего наступления — 7-е число, — Гильчевский вызвал к себе полковников Татарова и Добрынина, которые должны были вынести со своими полками всю тяжесть броска через Стырь, так как 401-й полк назначался в резерв 402-му, а 403-й — 404-му, — каждая бригада должна была действовать нераздельно.

Как студент, отлично подготовившийся к экзамену, прочно зажавший в извилинах мозга множество требуемых знаний, бывает настроен самоуверенно и смотрит весело на одних, снисходительно на дру-

гих из своих товарищей, а на профессор-экзаминаторов даже с некоторым задором, так и Гильчевский, предусмотревший, по его мнению, всё, что можно было предусмотреть, и всюду наладивший дело близкого боя так, что он не мог окончиться ничем другим, кроме как полной победой, был оживлён и весел, встречая командиров своих атакующих полков у входа в свой штаб в Копани.

— Я вас таким старым польским мёдом угощу, господа, — здравствуйте, — что только ахнете, уверяю!.. Впрочем, не надейтесь, что много вам дам, — только попробо-вать, а то, пожалуй, из-за стола не встанете, и куда же вы завтра тогда годитесь?

Говоря это, Гильчевский наблюдал в то же время выражение лиц обоих полковников и заметил, что Добрынин улыбался открыто всем своим широковатым в скулах лицом, а Татаров напрасно старался выжать откуда-то из затвора улыбку, и она вышла только наполовину, косяком, и застряла, — ни то, ни сё, — и тут же ушла снова в затвор.

Это было ново в таком обычно уравновешенном, энергичном, полнокровном человеке, как Татаров, притом же любите-ле в хорошую минуту покутить на кавказский манер, и Гильчевский про себя отметил это.

Перед stopкою старого польского мёда завязал он, конечно, вполне деловой разговор.

— Я надеюсь, господа, что вы оба досконально изучили уж свои участки атаки: вы (обращаясь к Добрынину) — переправу против деревни Вербень, вы (обращаясь к Татарову) — переправу между деревней Вербень и деревней Пляшево.

— Так точно, — молодцевато отозвался на это Добрынин, а Татаров сказал глухим, плохо повинующимся ему голо-сом:

— Трудный участок вы мне отвели, ваше превосходительство.

— Трудный? Чем трудный? — удиви-лённо насторожился Гильчевский.

— Как же не трудный! Там почти сразу за переправой — лес.

— Ну, какой же это лес, — роща, — постарался как можно мягче поправить Татарова Гильчевский.

— Лес или роща, — эта разница боль-шого значения не имеет, — то-есть, на какую глубину там идут деревья, — воз-разил Татаров. — Пусть идут хоть всего на четверть версты, — там противник может ко времени атаки целую бригаду спрятать.

— Ну-ну-ну! Так уж и бригаду! — пытался обернуть это в шутку Гильчев-ский.

Но Татаров продолжал упорно, кивая на Добрынина:

— Против 402-го полка — там место по-чти открытое...

— Почти, однако же не совсем! — под-хватил Гильчевский.

— Всё-таки же нет леса!

— То-есть, рощи, — опять склоняясь к шутливости, поправил Гильчевский.

— Это всё равно... А между тем...

— А между тем, — перебил Гильчев-ский, — что же прикажете в таком слу-чае делать, если там роща? Ведь проче-шут эту рощу насквозь наши лёгкие бата-реи перед тем, как вашему полку итти в атаку.

— А между тем, — точно не расслы-шав, договорил, что начал было, Татаров, — и для моего полка, и для 402-го вы на-значили прикрытие одинаковой силы: батальон.

— А если я считаю батальоны эти не-одинаковой силы, а ваш гораздо более сильным, тогда что вы скажете? — на-чиная уже немного раздражаться, заметил Гильчевский, но Татаров продолжал так же упрямо, как начал:

— Считаю, разумеется, нужно число штыков, — пусть это даже и грубый счёт, — а не героизм, которого может ведь как-раз и не оказаться, — возра-зил Татаров.

— Э-э, послушайте, да на вас, я ви-жу, какой-то просто спорный стих на-пал! — ещё раз попробовал взять шутли-вый тон Гильчевский. — Комары что ли вас искусаи?

— Комары, ваше превосходительство, это, конечно, само собою. — не улыбно-ся всё-таки и на это Татаров, — они то-же внесут ночью свою долю задержки, но дело не столько в них, сколько...

— А ну-ка, Архипушкин! Давай-ка, бе-стия, мёду сюда! — не дослушав Татара-ва, закричал в другую комнату, обра-щённую в кухню, Гильчевский, и на под-носе, честь-честью, Архипушкин внес закупоренную крепко и залитую с гор-лышка чёрным сургучом кубастую бу-тылку старого мёда.

К распитию этой бутылки подошёл и Протозанов. Не зная ещё, как настроен Татаров, он сказал, неожиданно для Гильчевского:

— По всем данным и выкладкам, поне-сём мы в этом деле очень большие по-тери.

— Вы думаете? — спросил Добрынин, про себя, конечно, вполне с ним согла-шаясь, а Татаров поддержал уверенно:

— Только слепой этого может не ви-деть.

Гильчевский делал вид, что очень заня-т тем, как Архипушкин отбивает чер-енком складного ножа со штопором сур-гуч, потом стал следить, правильно ли, не вкось ли он вводит в пробку штопор. Но вот зажал он бутылку между колен, сделала страшное лицо: глаза навывкат, да-

же покраснел от натуги, и, наконец, точно пистолетный выстрел раздался, из горлышка показался дымок.

— Дым столетий! — возбуждённо вскрикнул Гильчевский. — Ну-ка, содвинем бокалы! (Архипушкин очень проворно и умело налил мёду в стопки.) За полную удачу завтрашней операции, господа!

«Содвинули бокалы», но все, как по команде, сначала пригубили, переглянулись, качнули головами и только после всего этого медленно стали втягивать густую хмельную душистую влагу.

— Да, это — напиток! — сказал Добрынин, на котором остановил спрашивающий, блестящий возбуждением взгляд Гильчевский.

— Да, конечно, — немногословно хотя, но с явным одобрением напитокку поддержал его и Татаров, а Протозанов продекламировал:

— Встарину живали деды веселей своих звучат!

— Живали-то живали, а что же они жевали? — подмигнул Архипушкину Гильчевский и усадил всех за стол.

За столом он был очень оживлён, как студент, получивший на экзамене даже от самого придирчивого профессора отличную отметку; он видел, как постепенно расходитесь то, что отягощало лучшего из его полковых командиров, и он становится веселее и разговорчивей.

А на Протозанова, которому вздумалось во второй раз высказаться по поводу больших потерь, какие ожидают дивизию, он даже прикрикнул:

— Да что вы раскаркались, не понимаю! Разве мы одни будем форсировать Стырь? А десятая дивизия? Ведь она получила понтоны и гораздо раньше нас на том берегу очутится! Какие же особенные потери? Надо только почаще справляться, как у них там идёт дело и будет идти дальше; также и с 105-й дивизией держать связь. Фронт всего корпуса, фронт шириною в семнадцать вёрст, двинется вдруг сразу на этих каналий, — и что же вы думаете, что они устоят? Такого лататы зададут, что только держись! Только бы конницу, конницу чтобы во-время вызвать, — э-эх!

— Конницу едва ли на тот берег приманишь, — заметил Татаров.

— Ну вот, опять двадцать пять! Почему именно? — вознегодовал Гильчевский.

— Побоится, что в болотах утонет.

— Да ведь загатим мы болота около мостов досками, — на то же они и лежат, где надо! Загатим для артиллерии нашей!

— В том-то и дело, что артиллерия-то наша, а конница — корпусной резерв, — оговаривался на это Протозанов.

— Да ведь теперь уж другая дивизия, не седьмая, за нашей спиной спасается!

— Они ведь все одинаковы, — меланхолически сказал Добрынин. — И на Западном фронте, сколько я замечал, и на этом, я думаю, тоже.

Действительно, 7-ю кавалерийскую дивизию уже передвинули гораздо южнее, а в резерв 32-го корпуса прислали другую, сводную, и Гильчевский втайне соглашался, конечно, что помощи от неё можно не ждать, но ему во что бы то ни стало хотелось быть упористее и стремительнее хотя бы в том решении трудной задачи, которую он так ясно разработал во всех мелочах.

Налёт конницы на отступающего в беспорядке противника ярким последним штрихом входил в ту картину, которую он нарисовал себе размашисто и, как ему казалось, безошибочно в точности линий и красок.

Убедившись из застольной, как бы между прочим ведшейся им беседы, что оба командира атакующих полков отчётливо представляют, что они должны будут сделать в ночь под 7-е и 7-го июля, он простился с ними так же оживлённо, как их встретил.

3.

Если мосты против деревень и были взорваны, то не во всю длину превращены они были в обломки или сгорели: часть их, ближайшая к правому берегу, всё-таки уцелела. Уцелела, конечно, и большая часть свай в воде.

К этим обломкам мостов исподволь по вечерам подвозился лес, чтобы в начале ночи на 7-е июля, когда белый туман, повисший над рекою, закутывал берега, но вблизи от луны было светло, все восемь рот обоих атакующих полков могли бы перебраться через Стырь, настелив на сваи доски.

Эти часы, когда налаженное уже дело переправы могло сорваться при чуткой бдительности противника, были особенно тревожными и для Татарова с Добрыниным, и для батальонов прикрытия, и для сапёров, работа которых должна была начаться, когда переберутся на тот берег оба батальона, и особенно для Гильчевского.

Он, как дирижёр оркестра, начавшего исполнять увертюру большой вещи, написанной им самим, был весь обострённое внимание, — не начнут ли резать слуха фальшивые ноты, не сорвётся ли всё дело в самом начале.

Так как атакующими были вторые полки обоих бригад, то обоим бригадным командирам — Алфёрову и Артюхову — приказал он наблюдать за точностью исполнения. В этот ответственный час вся дивизия жила только одним: удастся или нет крупному отряду — восьми ротам — перебраться и закрепиться без того, что-

бы поднять большую тревогу у противника.

После десяти часов вечера, когда сгустился туман, а луна ещё не вставала, лёгкие плоты, на которых могло поместиться пять-шесть человек, оттолкнулись шестами от берега; и прошло не больше четверти часа, как на том берегу против будущих мостов обосновалась их охрана; плоты же вернулись обратно, чтобы на них нагрузили первые доски, которые можно бы было, соблюдая возможную тишину, под кваканье лягушек, уложить на сваи, — начерно, лишь бы держались, лишь бы мог перебраться по ним человек, не рискуя сорваться в воду.

И чуть только появлялись на сваях доски, показывались на них люди, помогавшие тем, которые стояли и работали, причалив плоты.

Люди шли, тяжело нагруженные плетнями, но они понимали, что без них на том берегу нельзя, когда попадешь в топкие места, и это сбавляло кое-что из тяжести плетней, кстати, сделанных ведь своими же руками.

Сорок сажен — восемьдесят метров — долгий путь над водой, ночью, когда только-что начерно настилаются мостики, а не мосты, — когда противник слушает, — обязан слушать и слышать, — что творится на водном рубеже, который служит ему надёжной защитой.

На каждом шагу стерегла каждого из солдат опасность поскользнуться на мокрых досках и свалиться в воду, а сильный всплеск на воде ночью далеко слышен, да притом трудно и удержаться, чтобы не выругаться по этому случаю, по-солдатски крепко и в полный голос, и не навзлечь этим на всю переправу огонь врага.

Не одни только телефонные провода, — тысячи других, невидимых глазу проводов были протянуты теперь к Гильчевскому от его передовых полков, начинающей операцию, которую он считал самой серьёзной из всех, им проведённых.

Он ни на минуту не сомневался в том, что кадровая дивизия у него справа теперь точно так же, с кошачьей осторожностью, перекидывает часть своих сил на левый берег, и опасался, не сорвут ли там его дело здесь: ведь общая задача была дана всему корпусу, в котором теперь три дивизии. Но 105-я занимала и прежде другой участок — влево, а 10-я — тот самый, какой он раньше считал своим, какой угнездился уже у него в мозгу: ведь там он тоже вполне ясно представлял все возможности переправы, особенно когда присланы для этого понтоны.

Разве можно было сомневаться, что начальник кадровой дивизии, притом такой себе на уме, как Надежный, упустит

нужное время? Туман был точь-в-точь такой же на его участке, как и против деревни Вербень, или между этой деревней и другой — Пляшево. Наконец, хотя и хорошо было бы, если бы начали переброску прикрытый все три дивизии сразу, однако, хорошо только при условии, что у всех трёх выйдет она одинаково удачно. Поэтому Гильчевский и хотел согласованности действий и тайне побаивался их: а вдруг там по неловкости обнаружат общий замысел врагу и сорвут дело здесь, у него?

Так вышло, что не звонил своим соседям он сам. Однако ждал, что может быть, позвонят оттуда. Не звонили. Корпус притаился. Все три дивизии делали своё дело, храня молчание. Так именно думалось Гильчевскому, и он решил, наконец, что это, пожалуй, лучше. А если ему удастся предупредить в действиях своих соседей, то от этого ничего худого не будет: его полки знают, что, перебравшись, люди должны соблюдать тишину, на сухих местах закопаться, на топких — залечь на свои плетни и дожидаться рассвета, когда артиллерия начнёт пробивать для них проходы.

После того, как ушли от него Добрынин и Татаров, он сказал Протозанову:

— Этот новый командир полка, заместитель проклятого Кюна, от которого, между прочим, грозят мне какие-то неприятности, — Добрынин, он ничего, спокойный, — видно, что Георгия получил не зря... А вот что же это случилось с Татаровым, а? Что же он так это вдруг заартачился, точно вожжа под хвост попала? Не было с ним такого случая, я не помню. Может, вы знаете, почему это он вдруг?

— Мало ли что может быть, — начал думать Протозанов. — Мог плохое письмо получить из дому.

— Ну, письмо, письмо из дому плохое, — что вы, разве это причину быть может? — не соглашался Гильчевский. — Я сам иногда плохие письма из дому получал, — мало ли что: домашние горшки к делу не относятся... Гм... Образцовый командир полка, — дай бог всей нашей армии таких иметь, — и вдруг — на тебе! Нет, тут что-то такое другое... Неужели это от усталости вздумал он вдруг мне пересчитать? Нет, тоже нет, — усталость что же такое? Ну, выспался, — вот её и нет. Гм, — очень меня это в нём поразило.

Однако думать над какой-то заминкой у Татарова, — конечно, временной и случайной, — было всё-таки некогда. Время было уже получить от него донесение, переправился ли его батальон. Такое донесение пришло около полуночи, и Гильчевский обрадовался:

— Молодец! Вот это — молодец, а то — чепуха, что с ним было.. Ведь вот же Кюн, — помните? тот на Икве что

донёс? — «Не могу выполнить!» — вот что. За это я его и послал к чертовой мамаше!.. Ну-ка, как его заместитель, как он?

Батальон Добрынина запоздал против батальона Татарова не больше как на четверть часа, и Гильчевский торжествовал:

— Каков, а? Вот так с Западного фронта! Боевой! Боевой!.. А то Кюн! Вот как я отлично сделал, что его турнул!

И на радостях, и чтобы подкрепиться, выпил стопку.

Его подмывало теперь, когда у него увертюра была сыграна с большою точностью по нотам, без малейшей фальши, обратиться к Надежному, как у него, но остановило сомнение: не примет ли тот этого вопроса за вмешательство в его дело. А с начальником 105-й дивизии он был не в ладах, так что к нему обращаться было не особенно ловко; наконец, он знал, что эта дивизия имеет обыкновение выжидать, что сделает 101-я, и, разумеется, хотя и с опозданием, но постарается всё-таки сделать то же самое: так было не раз.

Под впечатлением удачи этого вечера и чтобы набраться сил для громкого утра и горячего дня, Гильчевский даже решил прилечь подремать и забылся, хотя и беспокойным прерывистым сном.

Проснулся от сильной пальбы, поднявшейся справа, со стороны 10-й дивизии.

Вот когда явилась необходимость запросить Надежного, что у него происходит.

Это было уже близко к утру, — начал белеть восток. Протозанов связался со штабом 10-й дивизии, и оттуда сказали ему, что сильнейший обстрел мешает навести мосты.

— Эх, есть такая поговорка, специально для дураков: глупому сыну не в помощь богатство! — бурно вознегодовал Гильчевский. — Ведь просил же я понтоны, — мне не дали, — а дали тем, кто и с понтонами ничего не мог сделать!

— Вас просит к телефону генерал Надежный! — обратился к нему Протозанов, и он ринулся к трубке, клопоча и крича:

— Я вас слушаю! Что такое? Я — Гильчевский. Здравствуйте!

— Здравствуйте, Константин Лукич! Случилось скверное дело, как быть? — уже не прежний самоуверенный, а испуганный голос Надежного донёсся в трубку. — Подняли неистовый огонь из пулемётов, из винтовок, не дали навести мостов.

— Постойте, а когда же вы, когда же приказали начать наводку? — прокричал Гильчевский.

— Не так давно, чтобы закончить могли засветло, — ответил Надежный.

— Ка-ак так не так давно?.. Да ведь

теперь уж рассвет, — три часа утра!

— А у вас наведены разве мосты? — справился Надежный.

— А как же так не наведены? Хотя бы и вчерне, всё-таки два своих батальона я переправил. Утром сапёры доделают всё, как надо, чтобы можно было батареей перевезти!

— Послушайте, Константин Лукич, что же теперь делать? — совершенно уже подавленно-просительным тоном проговорил Надежный.

— Вам что делать?.. Ночью надо было мосты наводить, а не утром, и делать это в возможной тишине, благо туман с вечера держался... Как же вы так, не понимаю, ведь такой благодетель, как туман, лучшего и придумать нельзя, а вы... Что теперь делать? Теперь вам уж нечего больше делать, — кончено, — упущено время! Эх-ма! И хотя бы с вечера вы мне сказали об этом, а теперь что же? Теперь в пустой след. Теперь сидите и ждите, что получится у меня. Если удастся перебросить мне свою дивизию, тогда и вы можете перебросить свою, а если нет, то всё вообще пропало!

Несмотря на резкий тон, каким были сказаны эти жёсткие слова, Надежный не обиделся, — до того он был удручён своей неудачей. Он только захотел уточнить, какой способ посоветует ему Гильчевский для переброски его полков.

— Способ какой? — повторил вопрос Гильчевский. — Я вижу для вас только один способ, а именно: воспользуйтесь остатками моста против деревни Гумнище, и в самом спешном порядке пусть ваши сапёры его доведут до того берега. Вот когда у вас в руках будет этот мост, восстановленный, тогда...

— Очень много понесу потерь, Константин Лукич! — перебил Надежный.

— Вот то-то и есть! Вот то-то и есть, что много потерь! — вскипел Гильчевский. — На кого же теперь вам пенять? Потери постарайтесь нанести и вы противнику, чтобы сквитаться. А другого выхода для вас нет и быть не может. Если в руках у вас к середине дня не будет исправного моста, то какую же пользу общему делу может принести ваша дивизия? — Решительно никакой!.. Потери! Вот моя дивизия понесёт потери, так понесёт, — это уж я теперь вижу ясно! И отчего же было вам не сговориться со мною вчера, как и когда именно вам надо наводить мосты?.. Всё равно, теперь уж поздно, теперь поздно! Сожалеть — это не значит поправить... Теперь поздно, теперь ждите. А моя дивизия, значит, осталась без поддержки! Вот как обернулось дело, хотя началось неплохо, эх-ма! Желаю успеха! Я всё сказал, что мог. Желаю успеха!

— Он постарался как можно мягче закончить разговор по телефону, но не забо-

тился о мягкости выражений, когда отошёл от трубки. Досталось и Федотову, и начальнику 105-й дивизии, которого можно было и не спрашивать, что он делает: Гильчевский без расспросов знал по опыту, что в 105-й дивизии будут ожидать, что сделают в 101-й, и только тогда зашевеливаются.

4.

В шесть утра началась канонада, но за час до неё на наблюдательном пункте, который оборудовал для себя на высоте 111-й Гильчевский, появился, пробравшись сюда вместе с ним из Копани, генерал-лейтенант Сташевич, инспектор артиллерии 11-й армии.

Это был высокий, но тощий, сутуловатый старик, с длинным горбатым носом разных цветов: на переносье густо-желтого, на горбу — белого (здесь выпирала кость треугольником), на ноздрях — лилового и на самом кончике, несколько загнутом вниз, ярко-красного. Тускло-серые выцветавшие глаза его были навывкат и в розовых, несколько даже вывороченных как будто веках. Толстая нижняя губа его всё время стремилась отвиснуть, но, зная это её свойство и находя его, видимо, не совсем удобным, он ежеминутно её подтягивал: порядочно времени, как заметил Гильчевский, уходило у него на борьбу со своеобразием этой нижней губы. Седые усы его были подстрижены, длинные плоские щёки и двоящийся на конце подбородок гладко выбриты. Соответственно своей должности вид он имел явно ко всему и всем недоверчивый и строгий даже в отношении Гильчевского, которому никогда раньше не приходилось его встречать.

Однако даже и Гильчевский должен был признать, что инспектор артиллерии мог бы не простираť своего ведомственного любопытства дальше артиллерийских позиций, где предлагал ему остаться он сам; желание приезжего генерала непременно присутствовать на наблюдательном пункте во время боя заставило отнестись к нему с некоторым уважением: трудно ведь было предположить, что руководить Сташевичем могли и другие причины, кроме того, чтобы показать своё бесстрашие.

Говорил он, с каким-то свистящим выдохом, точно страдал запалом, причём плоские щёки его не расширялись, а втягивались внутрь. Трудно было ожидать чего-либо доброго от такого непрошеного гостя, но не было больших оснований и для того, чтобы ожидать злое: просто, кроме трёх генералов, собравшихся в блиндаже на высоте 111-й, — самого Гильчевского, Алфёрова и Артюхова, — появился ещё и четвёртый.

Между тем, высота эта, с которой был очень отчётливо виден весь пятивёрст-

ный участок боя, конечно, была открыта и для противника, в этом заключалась немалая опасность. Но здесь сосредоточено было управление всеми батареями, к которым шли провода, и, конечно, это больше всего привлекало Сташевича.

Не менее зорко, чем сам Гильчевский, следил он за тем, как пробивались впролоке проходы. Разумеется, у него уж были выработаны за долгие месяцы войны свои приёмы подсчёта истраченных снарядов, и если начальник дивизии, генерал-лейтенант, замечал только действие своих батарей, то инспектор, тоже генерал-лейтенант, был озабочен только тем, нет ли при этих действиях явного перерасхода боеприпасов.

В штабе дивизии, в Копани, приняли запрос Федотова по телефону о том, как идёт дело, и передали его Гильчевскому на наблюдательный пункт. Гильчевский ответил, что надежды на успех у него ещё не потеряны, хотя его дивизии приходится действовать в одиночку, так как Надежному навести мостов не удалось. Доложил, конечно, о том, что восемь рот прикрытия перебросены уже им на другой берег, что идёт пробивка проходов, что присутствует при этом инспектор артиллерии. Услышав это последнее, Федотов посоветовал ему бережнее относиться к снарядам и пожелал успеха.

— Одно с другим не вяжется, — буркнул, отходя от телефона, Гильчевский не для того, чтобы кто-нибудь его слышал.

Впрочем, трудно было бы и расслышать, что мог буркнуть обиженный человек: слишком громок был разговор пушек.

Сапёры работали очень ревностно по наводке мостов, но мост на поплавах, устроенный ими, обстреливался густым винтовочным огнём, поплашки сбивались, сапёрам то-и-дело приходилось их менять, но это много людей выводило из строя.

Та самая роща, которая смущала даже такого мужественного человека, как Тараров, оказалась действительно коварной: в ней таилась батарея лёгких орудий, которая била гранатами не только по окопам, но и по наблюдательному пункту на высоте 111-й.

— Эге! Да у них там где-то на дереве свой наблюдательный пункт! — решил Протозанов, выставившийся было над бруствером с биноклем и едва успевший присесть во-время в окоп: граната разорвалась в пяти шагах.

— Прочесать всю рощу! — энергично решил Гильчевский. — Всем пятидесяти восьми орудиям взяться за это дело!

Чтобы не было разнобоя, он своим одиннадцати батареям, включая и тяжёлые, дал на схеме рощи отдельный участок каждой, и вот бомбы, гранаты, шимозы почти одновременно полетели в рощу, проходя её скачками.

Казалось бы, эта мера должна была непременно накрыть зловредную батарею и если не уничтожить её совсем, то заставить замолчать хотя бы на время пробивки проходов. Но батарее удалось как-то избежать разгрома: покинув рошу, она открыла пальбу с новой позиции, на одном из холмов за нею, и гранаты снова начали залетать на наблюдательный пункт.

— Вот видите! — торжествующе-сухо, с запалом выдал из себя инспектор артиллерии, обращаясь к Гильчевскому: — Сколько снарядов потеряно совершенно зря... Между ними много и тяжёлых.

— Думаю всё-таки, что не потеряны зря, — отозвался на это Гильчевский. — Уверен даже, что из восьми орудий там половина подбита.

— Это, это надо доказать, а не быть в этом уверенным, — веско заметил Сташевич.

Нескогда было спорить с ним, — не до того было. Гильчевский знал, что если у него и накопилось для пробивки проходов достаточно как будто снарядов, то большая часть их — японские шимозы, взрывная способность которых слаба. Он заметил теперь, что проходы пробиваются туго; это его обеспокоило: время шло.

— Так и до вечера не пробьют! — крикнул он Протозанову. — Передайте полковнику Давыдову, чтобы он свои батареи пустил в это дело!

Протозанов бросился к телефону, соединяющему их с тяжёлыми батареями, которыми командовал Давыдов, а Сташевич, расслышав, что кричал Гильчевский, подозрительно поглядел на него и вдруг придвинулся вплотную к Протозанову, когда тот начал передавать полученный приказ.

Протозанов кричал громко:

— Начальник дивизии приказал, чтобы все батареи ваши сейчас же открыли огонь по заграждениям!.. Шимозы действуют плохо, да их и мало осталось... Как только пробьёте проходы, дан будет сигнал к атаке!

Сташевич всё это отчётливо слышал. Были ли пробиты проходы для атакующих полков, или нет, и когда они могли быть пробиты действиями лёгких батарей, — это его не касалось; он усвоил из того, что подслушал, только то, что его час пробил, и, начальственно отстраняя бригадных — Алфёрова и Артюхова — и чинов штаба, протискался в узком окопе к Гильчевскому. Разноцветно окрашенный, длинный, как хобот, нос и тяжёлая нижняя губа заколыхались перед глазами Константина Лукича.

— Этого я не могу разрешить, не могу, — не имею права! — не то, чтобы кричал, но очень внушительно, раздельно, с ударением на каждом слове говорил Сташевич.

— Чего? Чего именно? — даже не понял сразу Гильчевский.

— Тратить тяжёлые снаряды на пробивку проходов не разрешаю! — повысил голос Сташевич, и глаза его стали, как два новых полтинника.

— Что такое? — изумился и этим глазам, и носу, как хобот, и губе-шлёпанцу, и этому «не разрешаю» Гильчевский.

— Отмените сейчас же приказание, какое вы отдали! — теперь уже выкрикнул с запалом Сташевич, и Константин Лукич понял, наконец, что перед ним враг того дела, какое ценою огромной, быть может, крови делает уже и будет делать в этот день до вечера его дивизия. Этот враг — вот он; этот враг кричит: «Отмените приказание!..» У него запал, как у лошади, — и Гильчевский почувствовал вдруг, что, такой же самый запал сдвинул ему гортань, как клещами, и не крик, а хрип вырвался у него:

— Как так отменить?

— Не разрешаю! — прохрипел Сташевич.

— Вы... вы... кто такой, а? — вне себя, задыхаясь, вдавил эти попавшиеся на язык слова в глаза, как полтинники, в разноцветный нос, в шлёпающую губу Гильчевский.

— Я кто такой?

— Да, да, да... Кто такой?.. Откуда?

— Не забывайтесь, — хрипнул Сташевич.

— Не забываюсь, не-ет!.. Не забываюсь!.. Я веду бой!.. Не вы, не вы, а я-я! — весь дрожал от возмущения, что рядом с ним — враг, и что всё-таки он — инспектор артиллерии, и в него нельзя разрядить вот теперь револьвера, Гильчевский.

— Я здесь по предписанию... командующего армией... для выполнения инструкции!..

И Сташевич, как бы брошенный взрывной волной, даже навалился на Гильчевского, прижимая его к стенке окопа.

— Осторожней! — крикнул Гильчевский, отпихивая его от себя обеими руками, но в этот момент до его сознания дошли слова «командующего армией» и «инструкции», и он подхватил их:

— Командующий армией через корпусного командира... приказал мне форсировать Стырь... и я её форсирую... сегодня же... но вы-ы... вас я прошу от меня подалее... с вашей инструкцией!

— Я доложу об этом... командарму! — задыхаясь, как и Гильчевский, хрипел Сташевич.

— Кому угодно!.. Кому угодно!.. Докладывать? Кому угодно!.. Но мешать мне здесь, — не позволю!.. Я здесь хозяин!.. Я отвечаю за дело наступления на своём участке, я, а не вы!.. Совсем не вы!

— Не оскорблять меня! — совсем уже как-то диким визгом отозвался на это Сташевич.

— Вы — безответственное лицо! — кричал, находя свой полный голос, Гильчевский. — Инструкции соблюдаете?.. Раньше, раньше соблюдали бы их и прислали бы нам больше снарядов, а не так!.. Что-бы я снаряды берёг, а дивизию уложил? Вам этого хочется?.. Дудки! Я разрешил вам присутствовать здесь, но не разрешаю мне мешать!

Сташевич был так изумлён этим, что больше уж ничего не был в состоянии говорить, только дышал со свистом и шлёпал губою, как сазан на берегу озера.

Однако он, видимо, собирал силы для каких-то ещё выпадов против строптиво-го начальника 101-й дивизии, но в это время Протозанов доложил Гильчевскому, что его требует к проводу комкор Федотов.

— Что этому ещё от меня надо! — буркнул недовольно Гильчевский, однако подошёл к телефону и услышал:

— Константин Лукич! В виду того, что 10-я дивизия самостоятельно не справилась со своей задачей навести своевременно мосты, примите, пожалуйста, её в подчинение.

— Раньше нужно было это сделать, раньше! — не удержался, чтобы не сказать своему начальнику этой горькой правды Гильчевский.

— Неужели теперь уже поздно? — спросил Федотов и, не дожидаясь ответа, добавил: — Всё-таки прошу распоряжаться 10-й дивизией, как вы найдёте нужным. Генерал Надежный мною предупреждён об этом. Желаю успеха!

5.

Между тем, тяжёлые снаряды уже рвались там, где мало что сделали шимозы. Столкновение с блюстителем инструкций Сташевичем отняло у Гильчевского не так много времени, но зато скверно отразилось на его сердце, которое начало биться беспорядочно.

Привыкший от начальства слышать не поощрения себе, а только окрики в том или ином роде, не забывавший в последние дни и о доносах Кюна, Гильчевский переживал теперь, на своём наблюдательном пункте, во время подготовки к штурму, густое и острое чувство обиды. Он с виду пристально следил в свой дейс за тем, как ложились снаряды на участках, которые просматривались отсюда, и часто запрашивал артиллеристов-наблюдателей, сидевших в передовых окопах, можно ли считать, что проходы пробиты, как нужно для штурма, но ведь Сташевич не уходил с глаз долой, — он торчал рядом, деятельно вписывал что-то в записную книжку (ещё один донос!) и сопел, хотя уж ничего не говорил больше. В то же время

рядом с 101-й дивизией совершенно пока бесполезно для дела торчала и 10-я дивизия во главе с Надежным.

Обида не укротилась, не уменьшилась, — она выросла после того, что передал по телефону Федотов. Вопросы цеплялись за вопросы. Почему сразу там, на совещании в Волковые, — если можно было пустую болтовню называть совещанием, — Федотов не подчинил ему 10-ю дивизию?.. Это — дивизия кадровая, хорошо, — но ведь 2-я Финляндская стрелковая дивизия на реке Икве тоже была кадровая, однако же там и ту же дивизию он рискнул подчинить ему, и разве от этого вышло что-нибудь плохое? Совсем напротив — вышел прекрасный результат — разгром противника, имевший большие последствия. Что могло бы зародиться у командира корпуса к такому начальнику одной из своих дивизий? Несомненно, только признание его заслуг и доверие к нему. Почему же не родилось ни того, ни другого? И почему командарм Сахаров за форсирование Пляшевки и поражение австрийцев за этой рекой не представил его ни к какой награде, а комкор Яковлев, который рискнул перейти в наступление только значительно позже его, Гильчевского, представлен за это дело, — как довелось слышать от Федотова, — к Георгию 3-й степени?.. И, если допустить, что дивизия разгромит австро-германцев и в этот день, 7 июля, то кого представят за это к награде, — Сташевича или Надежного, или и того и другого вместе?..

Вопросов, подобных этим, поднималось много, но ни одного распоряжения генералу Надежному, теперь его подчинённому, не возникало в мозгу. Теперь подходило время к тринадцати часам, когда назначено было полкам переходить мосты и бросаться на неприятельские окопы.

Мосты были готовы, — это он видел, — сапёры работали самоотверженно: они чинили полотно мостов, они меняли плавки под обстрелом, они гибли при этом, но вели себя, как герои, и наблюдавший это Гильчевский ёрзал усиленно по лбу бровями, чтобы не допустить на глаза слёзы жалости к погибшим.

Два дивизиона тяжёлых орудий помогли как нельзя лучше: не прошло и двадцати минут после столкновения с инспектором артиллерии, как наблюдатели донесли, что проходы можно считать пробитыми, и тогда сигнал к атаке был дан.

Началось последнее, к чему готовились так настойчиво, упорно и долго: выбегая здесь и там из окопов, роты 402-го и 404-го полков бежали к мостам.

Над рошей, которую прочёсывали снарядами из всех 58 орудий, висел ещё синеватый дым от разрывов, но этот дым перекрывал уже австрийский розовый:

рвалась шрапнель, которой встречали батареи противника атакующие роты.

Забеспокоились оба бригадных — и Артюхов, и Алфёров. Они не управляли действиями своих бригад, — это за них делал сам Гильчевский, они могли только проявлять беспокойство, и в этом Артюхов превосходил флегматичного по натуре Алфёрова.

Как командир второй бригады, он всецело был поглощён, конечно, действиями рот полка Татарова. Он был пожиже сложением, чем Алфёров, повертливее, с мелкими чертами лица, волосом потемнее, более загорелый.

— Этот лесок, этот лесок, о-он... может выкинуть каверзу! — заразившись, разумеется, от Татарова неприязню к роще, говорил он, обращаясь к Алфёрову, на что тот отозвался, глядя в это время на мост, по которому уже бежала передовая рота полка Добрынина:

— Лесок? А что там может быть теперь?.. Столько снарядов туда высыпали, — там теперь целого гриба не найдёшь.

Но та батарея, которую вычесали из рощи, работала теперь безостановочно, скрывшись в ложине между холмов за рощей, и эта работа её была заметна, несмотря на то, что сплошь и кругом гремело теперь. Особенно выделялась из общего грохота непрерывная трескотня пулемётов на том берегу, заставившая Артюхова вскрикнуть вдруг без обращения к кому бы то ни было:

— Боже мой! Вот это так швейная мастерская!

Оборона была очень сильная, несмотря на те разрушения в окопах противника, которые несомненно были нанесены семичасовым артиллерийским обстрелом. Опытное в уловлении всех грозных звуков боя ухо Гильчевского слышало это. И представив, сколько теперь ляжет убитых и тяжело раненных солдат его дивизии в то время, как 10-я, которая тоже ведь подчинена ему, будет сидеть в окопах и ждать, чем окончится у него дело, он прокричал Надежному по телефону:

— Прошу во что бы то ни стало исправить под прикрытием усиленного огня мост, о каком я вам говорил, — против деревни Гумнище. Когда будет готов, пошлите, пожалуйста, бригаду на тот берег на помощь моей дивизии.

Надежный обещал это исполнить, хотя и не преминул добавить, что это будет очень трудно.

— Эх-ма! — сокрушённо выдохнул Гильчевский после этого разговора: мало было надежды на подчинённую ему так поздно дивизию.

И снова за дей, и снова в поле зренья прежде всего роща.

Дым над нею заметно поредел, — его просквозило поднявшимся вдруг несиль-

ным, летним ветром, предвестником дождя, который мог и не собраться.

Дым отнесло, и стало видно, как по холму за рощей, — не по ближайшему, а по второму за ним, — выбравшись из ложины, во весь дух мчались запряжка за запряжкой: та самая батарея, которую выкурили из рощи, теперь спасалась в тыл.

— Ага, ага! Бегут! — обрадованно вскрикнул Гильчевский. — Бегут! Эх, что же наши, что же наши!

Он кинулся было сам к телефону приказать своей артиллерии, чтобы не упускала австрийскую, но, задержавшись ещё на момент, увидел, как там, на холме, среди запряжек рвутся уже снаряды.

— Так-так-так их! Та-ак! Молодцы!.. — кричал Гильчевский, искоса взглянув на того, кто прислан был сюда из штаба армии наблюдать, чтобы — боже сохрани — не перерасходовали снарядов.

Он поймал, наконец, жадно ожидавшими этого глазами, как валились там лошади, опрокидывая пушки, как бежали от них люди и скрывались за гребнём холма.

— Ну, вот, ну вот, — значит, всё-таки... кое-какой успех есть, — бормотал он ни для кого кругом, только для себя, чтобы себя ободрить.

Роты всё бежали через мосты, — теперь уже свободнее, чем раньше. Ослабела стрекотня пулемётов на всём почти участке против мостов, но очень усилилась справа, против деревни Гумнище, и Гильчевский понял это так, что первая линия окопов занята атакующими полками, а Надежный всё же проникся мыслью, что борьбу за мост надо вести, как бы это ни казалось трудным.

Невольно сюда, с левого на правый фланг, где наступала первая бригада, переметнулся в руках Гильчевского цёйс, и не больше как через минуту он уже кричал Алфёрову, командиру первой бригады:

— Полковнику Николаеву передайте: как только 401-й полк войдёт в окопы противника, пусть идёт по первой и второй линиям к деревне Перемель!

— В Перемель? — переспросил Алфёров, не поняв, в чём дело.

— По направлению к деревне Перемель, чтобы облегчить десятой дивизии задачу навести мост у Гумнища и выйти на тот берег! — пояснил Гильчевский, но тут только вспомнил, что Алфёрову не говорил он о приказе Федотова, и добавил: — Десятая дивизия передана мне, — поняли?

Алфёров, наконец, понял и проворно направился в отделение связи, а Гильчевский только с этой минуты, а не тогда, когда говорил по телефону с Надежным, почувствовал, что в руках его теперь целый корпус.

Ещё не было ощущения удачи этого дня, полного успеха, для достижения которого было как будто так много сделано им, но зато появилось сознание своей удвоенной силы, с которой неудача представлялась уже невозможной.

И Протозанов, подойдя к нему, имел возбуждённо-довольный вид. Громко, с ружью у козырька, он доложил:

— Ваше превосходительство! Телефонграмма от полковника Татарова: «Обе первые линии окопов взяты моим полком; роты начали продвигаться в третью».

— Ну, вот! То-то и есть!.. А он опасался, — вы знаете, — опасался!.. Но как всегда — герой!

И совсем некстати сейчас же вслед за этим старший адъютант, капитан Спешнев доложил, подойдя с другой стороны:

— Какой-то одиночный стрелок обстреливает наш наблюдательный пункт, ваше превосходительство!

Почти вздорным показалось это не только Гильчевскому, даже и Протозанову: ведь только-что полковник Татаров донёс о том, что вышиб австро-германцев из двух линий окопов, — откуда же мог взяться одинокий стрелок?

Но стрелок всё-таки действительно таился где-то на том берегу; может быть, и не один он там таился: винтовочные пули явственно для слуха звякали, ударяясь в круглые валуны, выброшенные из окопов вместе с землёй на насыпь. Это услышал Протозанов, продвинувшись несколько дальше от того места, где стоял Гильчевский с генералами, туда, откуда пришёл Спешнев.

Вместе со Спешневым он остановился и стал всматриваться в тот берег, но прошло не больше минуты, как он вскрикнул, пошатнулся и упал бы на дно окопа, если бы его не поддержал Спешнев: пуля, пройдя через всю толщу насыпи, впиалась ему в грудь.

Так и вскинулся Гильчевский, когда это увидел. Он мог бы потерять Протозанова во время сражения на реке Икве, когда пошёл тот так беззаветно-отважно переводить связистов с оборудованного было наблюдательного пункта и исчез там в дыму десятками рвавшихся около него лёгких снарядов, но вернулся цел и невредим и спас связистов, и аппараты, и провода, и вот теперь, в окопе, пронизан пулей он, гордо тогда сказавший: «Я в свою звезду верю!»

— Голубчик, герой мой, голубчик! — растерянно бормотал Гильчевский, склоняясь над Протозановым и целуя его в лоб. — Потом закричал Спешневу: — Расстегните же ему тужурку!

Расстегнули и даже сняли тужурку, расстегнули рубаху, чему помогал он сам, — увидели, что на спине не было ран: пуля, бывшая уже на излёте, впиалась в грудную клетку, несколько выше

сердца, но никто из окруживших раненого начальника штаба дивизии не мог сказать, осталась ли она в кости или прошла дальше. Кровь из раны едва сочилась.

В блиндаж связистов он пытался даже итти сам, как будто всё сильное тело его ещё не хотело верить, что оно ранено. А Гильчевский был так обескуражен и огорчён этим, что хмуро выслушал даже и телефонграмму Добрынина о занятии его полком окопов противника против деревни Вербень.

6.

Между тем, полк Добрынина недёшево купил свой успех.

Первый его батальон, бывший с полночи в прикритии, частью окопавшись, частью залёгши на плетнях в болоте, в зыбучем кочкарнике, поросшем не очень густой и довольно чахлой осокою, должен был провести тут ни мало ни много, как половину суток, пока получил он, наконец, сигнал к штурму.

Целую ночь были солдаты во власти неисчислимых комаров, которые вели свою войну со всем живым и теплокровным. В то же время ни курить, ни кашлять, ни как-либо иначе обнаруживать себя они не имели права.

Как во всяком другом русском полку, первый батальон считался и у Добрынина наилучшим по подбору людей, наиболее надёжным, казовым, потому-то он и получил труднейшую задачу. Однако заранее можно было сказать, что он к концу дела не досчитается очень многих. На него ложилась и тяжесть выдержки, и тяжесть первого удара по врагу во время штурма. Когда тысячи снарядов со своей и вражеской стороны начали бороздить над ним небо, он должен был семь часов подряд чувствовать над собой этот давящий потолок из горячей, стремительно мчащейся стали. Но разве так и нельзя было ожидать, что часть стали из этого потолка обрушится на него? Ведь с наступлением дня не могло уж быть тайной для противника, что он засел перед его окопами в своих, наскоро сделанных мелких окопишках и в болоте, значит, все меры должен был принять противник, чтобы его выбить и опрокинуть в реку.

Батальон, как и другие во всей дивизии, был далеко не полного состава: в нём едва насчитывалось пятьсот пятьдесят человек, и только артиллерийский обстрел большой силы мог помешать уничтожить его контратакой. Но много жертв вырвали из его и без того жидких рядов миномёты, шрапнель, пулемёты... К началу штурма в нём оставалось людей уже менее половины, и только добжавшие к ним свежие роты второго батальона могли их поднять и увлечь криком «ура».

Тяжёлые снаряды действительно, как и полагал Гильчевский, быстро пробили проходы, но вместо проволоки местами, как непроходимые рвы, легли перед вражьи окопами огромные воронки, и это задерживало атакующих, попавших под жестокий пулемётный и ружейный огонь.

Окопы были взяты, и захвачено было в них много пленных, но мало осталось от двух первых батальонов полка.

Подтянулись третий и четвёртый, но в третьей линии окопов засели немцы из 22-й дивизии, подпиравшей австрийскую 29-ю, и бой за эту линию был очень упорный.

А 404-й полк, по приказу Гильчевского, двинулся вдоль берега к Перемели, чтобы ослабить огонь против дивизии Надежного и тем ускорить наводку моста у Гумница.

Фланговый удар этот, неожиданный для австро-германцев, очень быстро смял фронт, приходившийся против левого фланга 10-й дивизии, и пленных здесь было взято особенно много, но только к пяти часам вечера на помощь сильно обескровленным полкам Гильчевского успели подойти первые роты одного из полков Надежного, а около шести скопилось на левом берегу и целая вторая бригада его, перебравшись частью по мостам 101-й дивизии.

Но запоздалая помощь эта не могла уже спасти 404-го полка от жестоких потерь. Имея такого командира, как Татаров, полк этот, даже действуя в роще, очень искусно защищённой противником, гораздо скорее, чем 402-й, овладел двумя первыми линиями окопов, хотя и дорогою ценой, а вырвавшись из рощи, захватил и ту самую батарею, которая стремилась умчаться и была накрыта беглым огнём русских гаубиц.

Однако батарея эта, в которой было всего шесть лёгких орудий с несколькими неповреждёнными ящиками, оказалась для полка даром данайцев. Плоский и длинный холм, на который выбрался тут полк, попал под перекрёстный огонь многочисленных австро-германских батарей, расположенных в окрестных деревнях: Солонево, Остров, Старики. Батареи эти были подтянуты сюда из резерва уже во время боя, — о них ничего не было известно раньше, — и они сделали своё злое дело.

Застигнутый ураганом снарядов, с трёх сторон несшихся на открытое плато холма, полк не имел никаких укрытий; он дрогнул и попятился назад к только что покинутой им роще, а на него в контратаку от подступов к деревне Старики пошла свежая австро-германские части, поддержанные вынесшейся вперёд лёгкой батареей.

Остановив и наскоро приведя в порядок весьма поредевшие свои роты, Тата-

ров только-что скомандовал: «Полк, вперёд!» для встречного боя, как упал смертельно раненный в голову шрапнельной пулей...

404-й Камышинский полк!.. От него осталось не больше половины бойцов, когда пошёл он в штыки, обходя бережно тело своего храбреца-командира и потом теснее смыкая ряды, на свежие батальоны противника; он опрокинул их и шёл по дороге на Старики, где уже рвались русские тяжёлые снаряды. Но умолкшие было батареи, таившиеся близ деревни Солонево, вновь обрушились на далеко зарвавшийся полк град снарядов.

Спасаясь от полной гибели, остатки полка должны были отступить в лощину, чтобы выйти потом снова к роще, на опушку которой выдвинулся 403-й полк.

Уложив пока до окончания боя Протозанова, которому сделали перевязку, в блиндаже у связистов, скорбя душой, что потерял такого начальника штаба, но стараясь успокоить себя тем, что рана, может быть, не из тяжёлых, что пулю вынут, Гильчевский снова появился в окопе.

Он горел яростью, стремясь установить, откуда летели пули в его наблюдательный пункт, и увидел, что рвутся очень кучно снаряды на том длинном плоском холме, где заметил он раньше брошенную австрийцами батарею.

Среди разрывов метались люди. Австрийцы, немцы, — кто там мечется?.. А вдруг это свои, а бьют по ним немцы? Ничего точно и сразу установить было нельзя из-за дыма разрывов, но вдруг в пробившемся туда сквозь густооблачное небо луче отчётливо зарозовел дым, и Гильчевский вскрикнул:

— Боже мой! Мой!.. Какой же полк?

И Артюхов, который тоже наблюдал это в свой бинокль, по каким-то ему одному известным признакам определил:

— Это не иначе, как четвёртый!

(Для краткости так и называли полки: первый, второй, третий, четвёртый.)

— Ну, да, четвёртый! Туда только и мог выйти четвёртый, — какой же ещё! — тут же согласился Гильчевский и тут же вспомнил, как упирался полковник Татаров, когда узнал, что его полк назначен атакующим, упирался, чего с ним никогда раньше не бывало, чего от него и ожидать было никак нельзя.

— Эх, чуял, бедный, чуял, что попадёт в беду! — бормотал Гильчевский, посплав приказание своей тяжёлой, чтобы обстреляла деревни Старики и Солонево, откуда шла пальба, — расстреливался его лучший полк.

Но совершенно вышел из себя Гильчевский, когда заметил, что из деревни Остров тоже стреляют по злополучным камышинцам! Эта деревня лежала против фронта 105-й дивизии, которая, значит, не только не наносила вреда огнём

своей артиллерии расположенным в Острове батареям, но позволяла им направлять снаряды на соседний участок и истреблять части одного с нею корпуса.

— Свяжитесь, свяжитесь сию минуту с их штабом! — кричал он Спешневу. — Скажите, что это чорт знает что! Так и скажите! Моим именем скажите: чорт знает что! Артиллерия противника из другого участка поддерживает свою, а наша... чорт знает что, — так и скажите! За это — под суд!.. Идите!.. Помощи от этой 105-й никогда не бывает никакой, а вреда сколько угодно! Вот тебе и один корпус!

Он кричал это, имея в виду и то, что его слышит Сташевич, прибывший сюда из штаба армии вести учёт снарядам. Обращаться лично к нему он не хотел, но полагал, что ему это тоже не мешало бы знать, как соблюдается иными командирами на фронте суворовское правило: «Товарищей выручай!»

Всё внимание Гильчевского было приковано к холму с 404-м полком, и он еле взглянул на подошедшего Спешнева, имевшего гораздо более ясный вид, чем когда посылался говорить со штабом 105-й дивизии.

— Ваше превосходительство! — начал он тоном рапорта: — Получена телефонограмма от полковника Николаева: «Полк занял деревню Перемель и продвинулся к северу от неё по направлению к деревне Гумнице. Противник очищает свои позиции вплоть до реки Липы. Много пленных, между ними и генерал».

Ожидая от адъютанта доклада о том, открывает ли артиллерия 105-й дивизии огонь по батареям в деревне Остров, Гильчевский не сразу воспринял то, что сказал Спешнев; но когда это дошло до его сознания вместе с ясным ликом Спешнева, он оживился:

— Ага! Вот!.. Полковник Николаев, он всегда был удачлив... Очень хорошо!.. Теперь, наконец, и десятая наведёт свой мост... А сто пятая, сто пятая что?

— Говорил со штабом, ваше превосходительство. Сказали, что примут меры, — косясь на Сташевича, который повернул в его сторону плоское длинное ухо, доложил Спешнев.

— Меры? Какие меры? — снова вскипел Гильчевский: — Огонь из тяжёлых, а не меры! Спасать мой полк, а не меры!.. А «чорт знает что» передали?

— Так точно, — с готовностью ответил Спешнев, но Гильчевский заподозрил всё-таки его в том, что не передал, и предостерегающе заметил:

— Смотрите, я потом справлюсь!

Он навёл было свой цейс на деревню Перемель, но тут же отвёл его в сторону холма за рощей: если здесь, на левом берегу Стыри, всё шло хорошо, то в на-

блюдении не нуждалось, а там — попал в беду лучший полк.

За деревней Старики начали рваться снаряды. Сташевич вынул свою записную книжку, а Гильчевский сказал больше с верою, чем с надеждой, что это поправит дело:

— Ну, вот! Ну, вот, давно бы так.

В то же время подумалось и о другом атакующем полке, 402-м, — как он? Других донесений от Добрынина, кроме того, что взяты две первые линии окопов, не поступало, между тем, резервный для головного 401-й полк ушёл в другом направлении, не на запад, — а на север. Что если и с 402-м полком такая же стрясётся беда, как и с 404-м?

Подумалось, но тут же явилась утешающая мысль, что австро-германцы очистили позиции, как доносил Николаев, значит, отступили, притом отступили не близко, — за реку Липу, — а глаза всё ловили что-то неясное, что происходило там, на холме.

Там двигались массы и со стороны деревни Старики к роще, и со стороны рощи к деревне: это 403-й полк, выйдя из рощи, пошёл в контратаку против атакующих остатки 404-го полка австро-германцев.

7.

Около пяти часов вечера случилось донесение от полковника Тернавцева, что его полк, опрокинув во встречном бою противника, занял деревню Старики; кроме того, он же сообщал и о смерти Татарова, и о том, что в 404-м полку совсем не осталось офицеров, а из солдат уцелело не более семисот человек. О действиях противника говорилось в донесении, что он поспешно отступает на запад, отправив вперёд свою артиллерию.

Злая весть о смерти Татарова выдавила слёзы на старые глаза Гильчевского: это был любимый и по достоинству ценимый им командир полка, и, снова вспоминая, как не хотелось ему действовать своим полком против рощи, Гильчевский говорил, теперь уже убеждённо:

— Вот что значит почувствовать, что близка своя смерть! Она у нас тут, правда, всегда перед глазами, но... если не кладёт тебе на загривок своих костяшек холодных, от которых мурашки у тебя по спине ползут, то, значит, ты ещё у неё не на примете.

Отступление неприятельских частей от деревни Старики он приписал не столько удачной контратаке 403-го полка, сколько отступлению за реку Липу австрийцев под ударом им во фланг полковника Николаева. Этот удар и решил сражение в пользу 101-й дивизии, одиноко действовавшей против сил, значительно её превосходящих числом. Отступившие от

деревни Перемель вынудили отступить и тех, кто защищал деревню Старики.

— Конницу бы, конницу бы теперь им в догонку! — загораясь обычным для него азартом погони за отступающим противником, крикнул Гильчевский и немедленно дал знать начальнику сводной кавалерийской дивизии, стоящей в тылу, князю Вадбольскому, что мосты вполне пригодны для переброски на левый берег конных полков.

— Нет, от этого уж я воздержусь, — ответил князь Вадбольский, сравнительно молодой ещё генерал-лейтенант, — ему не было и пятидесяти, — но державшийся очень важно.

— Почему же хотите воздержаться, ваше сиятельство? — раздражаясь, спросил Гильчевский.

— По той причине, что оба берега реки здесь очень топкие, а особенно левый, — ответил князь.

— Чулочки ваших лошадок боитесь запачкать? Хорошо-с, я обращусь сейчас за этим к командиру корпуса.

И действительно, обратился. Но Федотов, когда услышал, по какой причине не желает преследовать отступающих сиятельный командир конницы, немедленно с ним согласился. Гильчевский понял, что настаивать бесполезно и, отходя от телефона, сказал:

— Кончено! Я теперь раз и навсегда понял, что воевать не умею!

После этого он верхом, как обычно, и со своими бригадными и капитаном Спешневым, заменявшим пока Протозанова, отправленного в Копань, переправился на левый берег Стыри, горько остря, что они-то и есть эта самая конница, пущенная вслед отступающему врагу.

Сташевич отправился с высоты 111 обратно в Копань, где ждал его штабной автомобиль. С Гильчевским он не попрощался, на что тот и не обратил внимания. Одного из чинов своего штаба Константин Лукич оставил комендантом переправы, поручив ему переброску артиллерии, для чего необходимо было в самом спешном порядке предместье на левом берегу загатить хворостом и перекрыть хворост досками. Сапёры, значительно убавившиеся в числе, были оставлены для этой цели, а вся дивизия после такого трудного дня оставлена была ночевать на тех местах, какие заняла с бою: 401-й полк — в деревне Перемель; 402-й — к юго-западу от этой деревни, за вторую линией взятых им окопов; 403-й и 404-й — в деревне Старики и дальше от неё, к северо-востоку, сомкнув фронт с 402-м полком. На карте излучина Стыри, которую занимали перед тем австро-германцы, имела форму очень вычурного кувшина; на горле этого кувшина по прямой линии расположилась на ночь

дивизия, отправив по мостам в тыл раненых, пленных и тело полковника Татарава.

Пленных набралось свыше двух с половиной тысяч, из них до восьмидесяти офицеров с генералом во главе, но гораздо больше насчитывалось убитых. Кроме шести лёгких орудий, на холме захвачено было несколько траншейных орудий, много пулемётов и миномётов и несколько тысяч винтовок.

Это была бы блестящая победа, если бы досталась она дешевле, если бы дивизия не потеряла при этом большую половину своих бойцов. Когда подсчитали ряды, оказалось, что дивизия, которая и без того перед боем не могла равняться по числу штыков бригаде, теперь свелась к одному, и то неполному полку военного состава.

Горестный возвращался обратно к себе на наблюдательный пункт командир этого «полка», одержавшего верх и над двумя дивизиями противника, и над его укреплениями, и над его сильной артиллерией, и над такой мощной водной преградой, как река Стырь, и над топью на обеих её берегах.

А ведь топь эта была памятная в истории Украины и Польши топь. Недалеко от деревни Старики, несколько западнее, стояло старинное местечко Берестечко, и именно здесь, в этой излучине Стыри, два с половиной века назад отстаивал Богдан Хмельницкий свободу Украины, и много тогда коней и много дюжих всадников проглотила эта прожорливая топь. И посвятил той битве Тарас Шевченко свои строки:

Отчего ты почернело,
Зелёное поле?
— Почернело я от крови
За вольную волю.
Вкруг местечка Берестечка,
На четыре мили.
Удалые запорожцы
Голову сложили.

— Если не в Берестечке теперь ночует австрийский штаб, — то где же ещё, хотел бы я знать? — спрашивал больше самого себя, чем тех, кто его окружал. Гильчевский; он просто думал вслух, оглядывая вокруг себя всё в густеющих перед восходом луны сумерках. — На всякий случай, так как классный надзиратель ушёл, можно будет пустить десяток тяжёлых; а вдруг хоть один накроет там кого надо, — тогда цель вполне оправдывает средства.

И десять тяжёлых были пущены в Берестечко, и это были последние орудийные снаряды в эту ночь. Потом поднималась иногда, но вскоре замирала только ружейная перестрелка.

К середине ночи заагели зарева в разных местах на западе: что-то жгли, отодвигаясь под прикрытием темноты, австро-германцы.

Десятая дивизия перебралась на левый берег Стыри ещё засветло, а утром 8 (21) июля осмелилась перейти Пляшевку при впадении её в Стырь и 105-я, и на её долю перепало порядочно пленных. К полудню же через Стырь переправились и части 5-го корпуса, стоявшего севернее 32-го.

Так успех одной 101-й дивизии передвинул за большую реку фронт двух корпусов на левом фланге одной из пяти армий Брусилова.

Но она обезлюдела, обескровела, эта боевая дивизия. Её уж неудобно было считать дивизией в ряду других, гораздо более полнокровных, и об этом, после донесения Гильчевского, вечером 7 июля сообщил в штаб 11-й армии Федотов.

Тот же Федотов посоветовал Гильчевскому повременить несколько с перевозкой орудий на левый берег, не приведя впрочем для этого никаких оснований и тем оставив широкое поле для догадок.

Утром 8 июля местечко Берестечко, в котором действительно ночевал австрийский штаб, было занято 403-м и 404-м полками.

Утром же Гильчевский по телефону из штаба корпуса получил приказ Сахарова, которым его дивизия, ввиду её малолюдства, перебрасывалась снова туда же, откуда она пришла сюда, — за 25 вёрст к югу, — на реку Слоневку, берега которой были отнюдь не менее, если только не более топкими, чем берега Стыри.

Задача же, которую он получил, заключалась в том, чтобы 11-го июля форсировать Слоневку так же успешно, как удалось ему форсировать Стырь.

Конец.

*Декабрь 1942 г. —
январь-февраль 1943 г.
г. Алма-Ата.*



ПЕРЕД БУРЕЙ

(Отрывки из воспоминаний*)

И. МАЙСКИЙ



7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

Однажды я возвращался с Наташей с катка на р. Оми, где мы иногда вместе бегали на коньках, и стал развивать перед ней мою теорию очищения мира огнём. Наташа внимательно слушала, слегка склонив набок голову. Мне не видно было её лица, и я не знал, как она реагирует на мои рассуждения. Вдруг Наташа круто остановилась, так что снег даже хрустнул у неё под ногами, и каким-то ообненным голосом спросила:

— И вы серьёзно верите в свою теорию, Ваня?

Я на мгновение замаялся и затем ответил:

— Мне эта теория кажется красивой и могучей... И потом, я не вижу других путей...

Мы прошли по улице ещё несколько шагов, и я уже несколько нерешительно прибавил:

— Я со своими теориями похож на якута... Знаете, якут часто бьёт и ломает своего божка, если он ему не приносит счастья... Я тоже легко низвергаю свои теории, если убеждаюсь, что они плохи.

— Так вот, Ваня, — горячо ответила Наташа, — я советую вам как можно скорее низвергнуть эту вашу теорию. Она никуда не годится...

— Почему не годится? — возразил я.

— Вы читали политическую экономию? — вопросом на вопрос ответила Наташа.

— Нет, не читал, — сказал я.

— Это и чувствуется, — заметила Наташа и прибавила, — вам надо непременно познакомиться с политической экономией!

Разговор с Наташей запал мне в душу. Я стал искать людей, могущих мне помочь в ознакомлении с этой таинственной «политической экономией», — прежде всего среди «высланных студентов». Здесь меня постигло большое разочарование.

Революционное студенчество того периода представляло собой пёстрый и довольно сумбурный конгломерат людей разных социаль-

ных групп, разных настроений, разных политических симпатий. Конечно, в его среде встречались уже сложившиеся представители того или иного воззрения (в частности социал-демократы), но их было немного. Среди «высланных студентов» в Омске я ни одного такого не нашёл. У подавляющего же большинства тогдашней молодёжи не было никакого цельного мирозерцания, было много духовной путаницы и неразберихи. Часто встречались «тяготееущие» к социал-демократам или социал-революционерам, а также радикальствующие одиночки, сильно склонявшиеся к анархизму. Всех студентов объединяло чувство протеста против царского самодержавия. Все они готовы были созывать сходки, устраивать забастовки, ходить на демонстрации, но лишь сравнительно редкие из них могли ясно и точно ответить на мучивший меня вопрос: что же дальше?

Неудивительно при таких условиях, что, хотя все «высланные студенты» очень любили к случаю и не к случаю помянуть «политическую экономию», почти никто из них не имел о ней сколько-нибудь ясного и продуманного представления. Неудивительно также, что ни Королёв, ни Баранов, ни Пальчик, к которым я обращался, не смогли мне облегчить изучение той особой науки, которая, как тогда мне казалось, являлась ключом к познанию «добра и зла» на земле. Наташа была лучше других подкована в интересовавшей меня области, и к ней я чаще всего обращался за помощью. Однако и она не могла меня полностью удовлетворить.

Как бы то ни было, но занятия мои начались. Первой книжкой, которую мне удалось достать, была «Политическая экономия» Шарля Жюда. Я долго и усердно сидел над ней, стараясь проникнуть в тайны буржуазного мышления её автора, но не испытывал при этом никакого энтузиазма. Конечно, я не в состоянии был тогда критически подойти к построениям Жюда, но что-то мне в его книжке не нравилось, какой-то инстинкт мне говорил, что это не то, что мне нужно. Читание Жюда имело, однако, один положитель-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 — 3.

ый результат: я сразу почувствовал, что в жизни имеется опромной важности область — экономика, которой я до сих пор совершенно пренебрегал, увлекаясь различными «гуманитарными» теориями и проблемами.

Вскоре после этого Тася притащила мне литографированный «Курс русской истории» Ключевского. Это замечательное произведение произвело на меня громадное впечатление — не только необыкновенной ясностью и блеском своего изложения, но также сугубым подчёркиванием роли экономических моментов в развитии российского государства. Труд Ключевского ещё более утвердил меня в сознании, что экономика — вещь чрезвычайной важности, что её надо изучать, что из неё надо уметь делать правильные выводы. Но как этого добиться?

Одна случайность принесла мне большую пользу. Та же Тася как-то познакомила меня с новым учителем истории в женской гимназии, недавно приехавшим с юга России. Токмаков — такова была его фамилия — незадолго перед тем окончил университет и ещё не успел опуститься в болото обывательской жизни. Он примыкал к течению легальных марксистов, был сравнительно начитан и умел хорошо объяснять запутанные проблемы экономики. Мы с Токмаковым быстро сошлись, и я довольно часто стал проводить у него вечера за обсуждением социальных вопросов. Однажды Токмаков дал мне модную в то время в радикальных кругах книгу Альберта Ланге «Рабочий вопрос». Она мне очень понравилась и заставила о многом подумать.

— Вы были правы, Наташа, — политическую экономию надо знать! — горячо восклицал я за чайным столом у Королёвых, месяца три спустя после моего первого разговора с Наташей на эту тему.

Наташа с довольным видом кивала головой.

— К каким же выводам вы пришли, познакомившись с политической экономией?

— Отвечу вам, как Сократ: я знаю только то, что ничего не знаю, — сказал я и затем уже более серьёзным тоном прибавил: — В последнее время я много думал над тем: что такое нравственность?

— Что же это такое? — заинтересовалась Наташа.

— Видите ли, Наташа, мне кажется, что нравственно всё то, что содействует делу прогресса, безнравственно всё то, что этому мешает.

Наташа подумала немного, потом тряхнула головой и сказала:

— Может быть, вы и правы... Только... Палько: что такое прогресс?

Теперь настала моя очередь задуматься. Наташин вопрос застал меня врасплох, и всё моё построение сразу заколебалось. Я ещё не в состоянии был дать ясного ответа на

вопрос, что такое прогресс, и потому мне стало как-то не по себе.

— Знаете, Наташа, — заговорил я вдруг задумчивым тоном, — я не знаю, что со мной происходит. То я чувствую в себе громадные силы, то кажусь себе самой ничтожной мухой... То бешеный прилив веры в себя, то безнадежная тоска и отчаяние... Отчего бы это?... Надоел мне проклятый, мёртвый Омск! Хочется настоящей, кипучей жизни!

Наташа слепка коснулась моей руки и тоном старшей сестры сказала:

— Скоро у вас, Ваня, будет кипучая жизнь. Всё это пройдет.

8. НА ВОЛЮ

И вот, наконец, настал этот долгожданный день: 1 июня 1901 года я окончил гимназию.

А ещё через два дня официально были объявлены результаты испытаний. Все ученики восьмого класса выдержали выпускные экзамены. Мне же и Усову были присуждены золотые медали. И не только медали! Сверх того нам обоим дали по экземпляру «Путешествия на Восток» Николая II в бытность его наследником престола — три огромных роскошно изданных тома с подкалкимским текстом и великолепными иллюстрациями. Этот подарок был так тяжёл, что, возвращаясь с гимназического акта домой, я должен был нанять извозчика.

На следующее утро почти все окончившие собрались на главном мосту через Омь для совершения традиционного в то время гимназического обряда: по сигналу все бывшие восьмиклассники сорвали со своих фуражек серебряные гимназические гербы и с громкими восклицаниями бросили их с моста в волю. Городские обыватели, сбегавшиеся на это редкостное зрелище, громко смеялись и делали одобрительные замечания.

Дня через три ко мне зашёл Маркович и сказал:

— У меня, Иван, есть предложение: с нашей займки в город пригнали лодку... Собрём компанию и поплывём на займку по реке.

— Великолепно! — с энтузиазмом поддержал я Марковича.

В тот же вечер молодая весёлая компания — Марковичи, их кузен Колченовский, я, Ковалёв, Мариновский и др. — всего человек десять — отплыла на большой, тяжело нагруженной лодке из Омска. Плыть надо было выше ста вёрст, вниз по течению, и мы взяли с собой не только провизию, но и пальто, одеяла, подушки.

Все только вступали в сознательную жизнь. Все только-что окончили гимназию и чувствовали себя, как птицы, вылетевшие из клетки на волю. Будущее нам рисовалось в самых радужных очертаниях.

А тут ещё эта широкая, могучая река, горящая в лучах заходящего солнца, эти тихо

плывущие мимо нас бескрайные степи, изредка пересекаемые тёмными пятнами далёких лесов, это залитое огнём высокое небо, в котором уже начинают мерцать серебряные звёзды, этот здоровый, бодрящий, слегка пьянящий воздух, напоённый речною влагой и соками сибирской земли!

Михаил, задумчиво сидевший на корме с рулевым веслом, посмотрел на меня и сказал: — Почитай стихи! Так хорошо, что обиденным языком как-то неловко разговаривать.

— Да, да, — подхватили остальные, — почитай что-нибудь хорошее. Такое, чтоб за душу брало!

Я и сам был в поэтическом настроении. Поэтому без всяких оговорок согласился.

— Что бы вам такое продекламировать? — спросил я, скорее думая вслух, чем действительно желая получить ответ.

— Прорекламирую что-нибудь своё, — подкасал Колченовский.

— Своё? — нерешительно переспросил я.

Я же ломался. В те годы я писал стихи, но мне казалось, что мои стихи слишком слабы и грубы перед лицом этой вечерней природы. Однако вся компания стала дружно настаивать. Я сдался. Я решил продекламировать песню, которую написал всего лишь два дня назад, и слегка вздрагивающим от волнения голосом начал:

К далёкому солнцу! В открытое море!

Пусть пенятся волны кругом!

Мы песню свободы споём на просторе,

Работников песню споём!

Мы подняли знамя и выплыли смело..

И голод, и холод сносить!

Туда, где над бездной заря зазелена,

Наш путь бесприютный лежит!

Вот парус надулся, и берег проклятый

В синюющей дымке исчез, —

Теперь перед нами лишь бури раскаты,

Да волны, да тучи небес.

К далёкому солнцу! Клянитесь, о братья,

Наш путь до конца совершить!

Клянитесь страданья, борьбу и проклятья,

И голод, и холод сносить!

Клянитесь бороться с грозой непогоды,

С туманом в полуночный час!

Клянитесь, о братья! Мы — дети свободы!

Мы — воины страждущих масс!

Ч! пром прокатился... Запенилось море...

Ускорили тучи полёт...

Завыл ураган в необъятном просторе...

То буря, то буря идёт!

Смывайтесь же, братья! Во мгле непогодной

Смелей ударьте веслом!

Мы подняли знамя и с песней свободной

К далёкому солнцу плывём!

Должно быть, потому, что эта песня, говорившая о свободе, о солнце, была слишком созвучна нашим настроениям и всей обстановке, — моя декламация имела большой успех. Мариновский, отличавшийся артистиче-

скими способностями, решил сразу же «положить её на музыку», и минут через двадцать вся наша лодка хором пела мок песню на мотив, стимпровизированный Мариновским. Выходило не очень стройно, но зато здорово — особенно в такт равномерным взмазам весёл. Казалось, наша лодка действительно плывёт «к далёкому солнцу» по широкой водной дороге, залитой пурпуром заката...

Когда спустилась ночь, мы пристали к небольшому пустынному острову и разбили походный лагерь. Развели костёр, варили уху, жарили шашлык. Потом пили чай и пели песни — старые русские народные песни. Ковалёв сплясал камаринского, Мариновский показал лезгинку. Было страшно весело и подъёмно. Потом, когда все немножко устали и успокоились, пошли тихие разговоры. Говорили о том, что было у всех на душе, — о своём будущем. Высказывали надежды, делились планами и намерениями. Оба брата Марковичи ехали в Томск — старший изучать юриспруденцию, младший — медицину. Мариновский отправлялся в Казань на физико-математический факультет. Ковалёв ещё колебался и не решил окончательно, кем быть — доктором или инженером?

Приближалась полночь. Мы не хотели оставаться на острове до утра, а решили плыть всю ночь напролёт. Костёр погас, вся пища была съедена. Мы вновь погрузились на лодку и тронулись в путь. Вахту держали посменно. Грести не было надобности: мы плыли вниз, и мощный водяной поток неустойчиво уносил нас всё дальше и дальше по глади реки, в которой трепетно отражалось далёкое небо с мириадами тихо мерцающих звёзд...

Моя вахта выпала на конец ночи. Я сидел на корме с рулевым веслом, пристальным взором стараясь пронизать царившую кругом тьму, и чутко прислушивался к каждому звуку, к каждому крику птицы с дальнего берега, к каждому всплеску воды под килем. Мимо во мраке носились фантастические очертания кустов, деревьев, островов, крутояров. Навстречу, весь горя опьями, пробежал пароход. На мгновение он наполнил стуком и шумом колёс широкое пространство реки. Ещё момент, — и, как странное фантастическое виденье, пароход скрылся за поворотом и исчез в ночной мгле.

Потом чёрная тьма стала сереть. Брызнули первые блики рассвета. На востоке загорелась кучка пернстых облаков. Огромное красное солнце стало медленно вылезать из-за горизонтов. Подул сильный холодный ветер. Я разбудил старшего Марковича, и вместе с ним из двух весёл и одевая смастерил примитивный парус, который быстро потянул нас вперёд. Часам к семи утра весь «экипаж судна» проснулся — весёлый, голодный, шумливый. В попутном селении мы купили свежую, только что выловленную рыбу и несколькими верстами ниже пристали к небольшому пустынному острову. Купались, валялись на песке,

боролсь, кричали, а потом ели уху и пили чай. Дальше опять река, опять солнце, опять голубое небо, опять луга и леса, опять свежий бодрящий сибирский воздух. Так продолжалось целый день. К вечеру мы, наконец, приблизились к месту нашего назначения. Когда вдаль показались крыши и трубы заимки, мы все выстроились в «боевой порядок» на лодке. А когда наше «судно» сделало поворот к пристани, мы «салютовали» толпившимся на берегу обитателям заимки прозычным залпом из дробовика и двух револьверов.

Три дня, проведённые на заимке, прошли как в тумане. Здесь уже была вся многочисленная семья Марковичей с целой кучей родственников, знакомых и приживальщиков. Дом был полон весёлой женской молодёжи. Всей компанией ходили в лес на прогулки, водили хороводы, пели песни, катались на лодках. Маринковский, отличавшийся хорошей памятью, потешал цитатами из произведений разных непризнанных поэтов. Став в унылую позу, мрачно глядя пред собой, безнадёжно размазывая руками, он вдруг провозглашал:

Жизнь наша проходит в трепете жутком,
Температура в ней ношь, —
И мы ползаем в ней без рассудка
Боком и исподволь.

Все хватался за бока и хохотали до-уладу. Или Мариновский начинал декламировать из «сибирской поэтессы» Дрезинг, незадолго перед тем выпустившей «солидный том» своих произведений:

За ёкошком роца,
В роце соловей,
Что быть может проще
И сего милей?..

Так со смехом, с весельем, с радостными надеждами наша молодая компания проводила на заимке время и затем вернулась уже на лошадях в Омск...

Это было моё последнее лето дома. В противоположность прошлому году, когда в нашей семье разыгрывалась вариация на вневечную тему «отцов и детей», сейчас всё в нашей семье было мирно, дружно и даже любовно. Мать занята была моим обмундированием к предстоящему отъезду в Петербург, где я должен был поступить на историко-филологический факультет университета. Я же не без удовольствия примерял свою новую студенческую форму, которая мне очень нравилась и которую я старался носить с лихостью.

Королёвы, наконец, продали свой дом и уехали в столицу. Месяца через два я рассчитывал снова встретиться с ними уже в Петербурге. С отъездом Королёвых как-то сама собой рассыпалась собиравшаяся у них компания. Я почувствовал себя более одиноким и стал много времени проводить с Олигером и Таней. Несмотря на своё намерение

держать выпускной экзамен экстерном, Олигер так и не окончил гимназии: начальство «по неблагонадежности» не допустило его к испытаниям. Это Николая, впрочем, мало пронуло. Он весь поглощён был теперь своим романом с Таней, который заслонял перед ним весь остальной мир. Хотя мы с Олигером были очень дружны, я чувствовал себя в их присутствии лишним человеком. Поэтому всю вторую половину зимы и весну я держался от Николая в стороне и больше вращался в обществе Королёвых. В начале лета Олигер со свойственной ему порывистостью решил теперь же, вопреки воле и советам родных, жениться на Тане. Венчаться он не хотел по принципиальным соображениям. Николай и Таня поселились вместе на квартире в порядке «гражданского брака». Родители Николая были в панике, мать Таня тоже. Но Николай и слышать не хотел об оформлении своего семейного союза. Эти смелость и решительность сильно поднимали Николая в моих глазах, и я вновь стал частым гостем у него на квартире.

Потом мы расстались, чтобы уже больше никогда не встречаться, — если не физически, то духовно. Впрочем, это особая тема, которая выходит за рамки описываемого периода.

9. Я НАХОЖУ ДОРОГУ

Когда ударил последний звонок, и поезд, тяжело пыхта и громыхая, медленно отошёл от перрона омского вокзала, я как-то особенно остро почувствовал, что в моей жизни начинается совсем новая эпоха.

Весь путь от Омска до Москвы, который я проделывал уже не в первый раз, прошёл у меня в каком-то радостном тумане. Я был в прекрасном настроении, являл образец добродушия и любезности в отношении моих случайных спутников по вагону, каждый день отправлял с дороги восторженные открытки матери и Олигеру. В Москве меня встретила на вокзале Пичужка. В её семье не всё было благополучно: несколько дней назад заболел скарлатиной её младший брат Гуня. Пичужкина мать устроила карантин и заперлась с Гуней в двух изолированных комнатах. Жившая с Чемодановыми тётя Юля с другим братом Мишкой временно перебрались в гостиницу. Отец Пичужки был в отъезде. В результате мы с Пичужкой оказались полными хозяевами в квартире и зажили с ней весёлой и беспорядочной «богемой».

Пичужка к этому времени стала уже молодой очаровательной девушкой. Своей живостью, умом, начитанностью, практической смёткой она поражала окружающих, и около неё всегда было много интересных молодых людей. Но сердце её ещё оставалось нетронутым, и увлекалась она больше всего своей работой в воскресной школе и на Пречистенских рабочих курсах. За год нашей разлуки

Пичужка стала ещё большей «культурницей», чем раньше, и это сразу же повело к жестоким спорам между нами.

Обычно с утра до вечера мы бегали по городу. Пичужка знакомила меня со своими друзьями и приятелями обоего пола. Их у неё было немало. Мы ездили в Нескучный сад, катались на лодке по Москва-реке, ходили в театр, обедали в каких-то маленьких подозрительных ресторанах. К ночи мы возвращались домой, Пичужка варила чай и готовила ужин, а я развлекал её в это время декламацией из Шиллера, Гейне, Байрона и других моих литературных любимцев. После ужина мы устраивались «по-домашнему»: я сбрасывал свою студенческую тужурку и крупными шагами ходил по комнате с расстёгнутым воротом рубашки, Пичужка облачалась в какую-то длинную материнскую кофту, похожую на халат, и с полураспущенными волосами садилась на низенькое кресло у печки. Тут у нас начинались споры и разговоры «на серьёзные темы». Большой частью на одну и ту же тему: что делать? куда идти?

— Мы согласны с тобой в одном пункте, — говорил я Пичужке, — что нынешние порядки в России никуда не годятся. Их надо изменить. Очень хорошо. Но как? Вот тут-то и начинаются расхождения. Ты хочешь сначала обучить грамоте всех щедринских «мальчиков без штанов», и только потом уже менять порядки. А я в это не верю.

— А во что же ты веришь? — не без ехидства спрашивала меня Пичужка. — В очищение мира огнём?

Мне было несколько неприятно напоминание об этом моём недавнем «божке», ныне уже низвергнутом с пьедестала, и потому я сам переходил в нападение:

— Твоя «грамота» — вещь, конечно, полезная, но она похожа на обоз в атакующей армии... Я предпочитаю быть в передовой цепи застрельщиков. Мне так больше нравится, да это и важнее.

— О какой армии ты говоришь? — возразила Пичужка. — Что ты имеешь в виду?

— О какой армии? — повторил я. — Разве ты не чувствуешь, Пичужка, что в обществе поднимается волна протеста? Разве ты не видишь, что она с каждым днём растёт? Спящие просыпаются... Не пройдёт двух-трёх лет, и лицо России совершенно изменится. Россия — великая страна, и русский народ — великий народ.

И затем, приходя всё в большее возбуждение, я продолжал:

— Я счастлив, что мне придётся жить в эпоху, когда Россия освободится от дрялости и уныния, когда она помолодеет и разогнёт свою согбенную спину... Может быть, и мне удастся сослужить хоть маленькую службу родине, разбудить хоть двух-трёх спящих людей! Не думай, что я рисуюсь, — я говорю это вполне серьёзно: кровь мою

и жизнь готов отдать моей стране!

Пичужка помолчала немного и затем, точно в раздумье, сказала:

— Я верю твоей искренности, но не увлекаешься ли ты созданной тобою фантазией? Возможно ли, чтобы через какие-нибудь два-три года лицо России изменилось? Мне как-то не верится. Не потратишь ли ты зря свои силы на достижение невозможного? Не лучше ли эти силы поберечь?

— Если у меня есть силы, — запальчиво отозвался я, — я хочу их тратить теперь же на то, что считаю полезным делом!

Мы ещё долго спорили с Пичужкой в тот вечер и, хотя притти к полному согласию не могли, всё-таки первоначальное расстояние между нашими взглядами стало суживаться: моя кузина теперь лучше понимала мои настроения.

В другой раз мы говорили с Пичужкой о браке. Она несколько туманно давала мне понять, что за ней ухаживают несколько претендентов на её руку, и что один из них ей очень нравится.

— Уж не собираешься ли ты выйти за него замуж? — насмешливо спросил я.

Пичужка внезапно покраснела и не совсем уверенно сказала:

— В конце-концов, когда-нибудь надо же выходить замуж.

Я пришёл в страшное негодование и набросился на Пичужку. Она так много говорила о служении народу, собиралась идти в деревню, хотела ехать учительницей на Сахалин... но что же из всего этого получится, если она выйдет замуж?

— Брак налагает на человека самые тяжёлые и самые красивые цепи, — горячился я. — Они связывают его, делают неспособным на беззаветные, смелые поступки. Женатый человек — конечный человек, он уже выбывает из строя и проводит жизнь в стороне от жизни...

В то время в голове у меня прочно сидела теория, что брак и революционная борьба несовместимы, и я горячо развивал её при всяком подходящем случае. Но Пичужка со мной не соглашалась.

— Как же тогда будет продолжаться человеческий род? — задала она вопрос.

Этот вопрос и меня несколько смущал, но я тут же нашёл выход из затруднения:

— Я говорю не о массе людей, а о борцах за свободу. Вступая в орден «рыцарей духа», надо дать клятву безбрачия и пренебрежения собственной жизнью, если можно так выразиться... Делу нужны люди, готовые на всё!

Мы опять горячо заспорили и простояли часов до двух ночи. Когда мы уже прощались перед сном, Пичужка вдруг ребром поставила вопрос:

— Ты вот всё говоришь: «дело», «свобода», «борьба», «атакующая армия», — а что это значит конкретно? Я вот знаю своё маленькое дело и своё место: учу грамоту

«мальчиков без штанов». А ты что собираешься делать? Где твоё место?

Вопрос Пичужки поразил меня в самое сердце. Она коснулась самого слабого места в моём духовном вооружении. Я ненавидел царизм и носился с идеями разрушения самодержавных порядков, я сочувствовал студенческому движению и усердно читал «политическую экономию», я любил говорить о Ланге и «идее четвертого сословия», но, в сущности, я толком не знал, чего я хочу, куда я пойду, в какие конкретные формы отолью свою «борьбу за свободу»? В самом деле, что я должен делать сейчас в Петербурге? Учиться в университете? Писать статьи в «Русском богатстве»? Устраивать студенческие забастовки? Заниматься историей и «политической экономией»? Сочинять пламенные гимны в честь борьбы за свободу? Печаловаться о горькой судьбе крестьянина и рабочего? Что такое та «освободительная армия», о которой я так часто любил говорить? И какую роль я должен в ней играть?.. На все эти вопросы у меня не было ясного ответа. И потому-то сказанные Пичужкой слова попали не в бровь, а в глаз. Я чувствовал себя несколько смущённым. Моёй самоуверенности был нанесён тяжёлый удар.

Для два спустя, проходя мимо большого книжного магазина на Петровке, я машинально остановился у его витрины. В числе других новинок, выставленных в окне, мне бросилась в глаза средних размеров книжка в светло-голубой обложке, на которой было написано:

«С. и Б. Уэбб

История рабочего движения в Англии.

Перевод с английского

Паперна.

Издание Ф. С. Павленкова».

Заголовок книжки меня заинтересовала, внешность её располагала к себе. И хотя имя авторов мне было совершенно незнакомо, я зашёл в магазин и, слегка перелистав страничку, купил книжку за 1 рубль 25 копеек. Вернувшись домой, я сразу приступил к чтению. Несмотря на сухость изложения, содержание меня сильно увлекло. Я просидел за книгой до глубокой ночи, почти не обращая в этот вечер внимания на Пичужку. Я просидел за книгой и весь следующий день. И когда, наконец, перевернул последнюю страничку, я почувствовал, что со мною произошло что-то очень важное; всего значения этого я в тот момент ещё не мог осознать. Пред моим умственным взором открылась картина мощного двухсотлетнего движения рабочих масс, с его успехами и поражениями, с его предрассудками и идеалами, с его конфликтами и организациями, движения, медленной, железной поступью ведущего эти массы вперёд. В то время я не мог ещё, конечно, понять ни опротивленности английского

тред-юнионизма, ни «фабианских» установок авторов книги, — всё это пришло позднее, однако, книга произвела на меня глубочайшее впечатление. До того мне приходилось кое-что слышать и читать о «рабочем вопросе» в «политических экономиях», которые я доставал в Омске, в трудах Альберта Ланге и т. д., но всё это было краткое, отрывочное, абстрактное. Впервые я видел широкое, полное, насыщенное фактами и данными, полно, в ярких красках показывающее вековую борьбу пролетариата одной из величайших стран мира. Оно захватило меня с необычайной силой.

Больше того. Книга С. и Б. Уэбб вызвала во мне вихрь новых мыслей, чувств, ожиданий. Мне казалось, что содержание её имеет ближайшее отношение к мучившему меня вопросу: что же делать? Я не мог ещё точно сказать, в чём именно состояло это отношение, но инстинктивно ощущал, что оно существует и что мне следует хорошенько подумать на данную тему.

Много лет спустя, будучи послом в Лондоне, я лично познакомился с С. и Б. Уэбб, ставшими уже к тому времени глубокими стариками, и как-то рассказал им о впечатлении, произведённом на меня их книгой на заре моей юности. Они были довольны и вместе с тем удивлены. Когда С. и Б. Уэбб писали свой труд, им и в голову не приходило, каким духовным динамитом может стать эта «фабианская» работа в руках молодого русского студента. Но тут уже сказывался характер эпохи, которую тогда переживала наша страна: всего лишь четыре года отделяли её от первой российской революции.

Я имел с Пичужкой длинную беседу по поводу «С. и Б. Уэбб». Я с восторгом пересказывал ей содержание книги и рисовал яркую картину борьбы и успехов британского пролетариата. Выслушав меня, Пичужка с лёгким вздохом сказала:

— Да, но ведь всё это в Англии..

Я тогда вспомнил, что ещё в Омске урывками кое-что слышал от «высланных студентов» о забастовках и волнениях на наших фабриках. Говорили они об этом обычно вполголоса и с таинственным видом, как о каком-то сугубом секрете, хотя у меня всегда оставалось впечатление, что сами они имеют весьма слабое представление о таких вопросах. Я стал расспрашивать Пичужку, как «столичного жителя», не знает ли она чего-либо о жизни и борьбе русских рабочих? Будучи «культурницей», Пичужка стояла в стороне от революционного движения тех времён, однако, она всё-таки сообщила мне некоторые заинтересовавшие меня вещи. На Пречистенских курсах, где работала Пичужка, недавно было арестовано трое занимавшихся там рабочих. О причинах ареста никто точно ничего не мог сказать, но в связи с этим по курсам шёл разговор «шопотком»

о каких-то «кружках», которые собираются не то в лесу за городом, не то в подвале одной из московских церквей. Пичужка припомнила также, что несколько месяцев назад одна из её учениц в воскресной школе как-то принесла в класс литографированный листок бумаги. Она была полутрамотная и просила Пичужку прочитать ей содержание листка. Это была прокламация к рабочим, призывавшая их к борьбе за лучшие условия труда, за короткий рабочий день и повышение заработной платы. Кем была выпущена прокламация, Пичужка не знала, но смысл её она помнила прекрасно.

Когда я ложился в ту ночь спать, в душе моей была буря. История английских тред-юнионов как-то цинко переплеталась и перемешивалась с тем, что рассказала мне Пичужка, и ещё больше с тем, что рисовало мне в этой связи воображение. Я долго не мог заснуть и чувствовал, что в моём сознании, а вернее, в моём «подсознании» идёт какая-то глубокая, напряжённая, лихорадочная работа.

На следующий день к вечеру я уезжал из Москвы в Петербург. Утром мы с Пичужкой пошли по магазинам в расчёте закончить мою «вспировку» для «студенческой жизни» в столице. Главным приобретением этого дня были часы — первые собственные часы в моей жизни. Купил я их в известной тогда фирме Буря за десять рублей, вместе с простым чёрным шнурком, надевавшимся на шею. Часы были большие, «луковицей», сделанные из никеля. Глядя на них, я чувствовал себя уже совсем взрослым человеком.

В течение последующих тридцати лет эти часы стали моим неизменным спутником во всех сложных перипетиях моей жизни. Они были со мной всегда и везде — в тюрьме и ссылках, в подполье и эмиграции, в рабочих кварталах Лондона и в степях Монголии, на митингах революцион и на королевских приёмах в Европе и Азии. Они шли хорошо и никогда меня не подводили. Я привык к ним и сроднился с ними. Они стали как бы частью меня, самого. Только в 1931 году, когда я полпредствовал в Финляндии, мои старые, верные часы стали пошаливать: даже их крепкий стальной организм изнашивался. Пришлось заменить их новыми — уже маленькими наручными часами вполне «современного» типа. Но далось мне это не легко. Расставаясь с моей большой, грубоватой, стёртой от времени «луковицей», я чувствовал себя так, как если бы расставался со старым, дорогим другом...

Пичужка провожала меня на вокзале. Я торопливо внёс свой несложный багаж в вагон третьего класса и вышел затем на платформу. Терпеть не могу зудных предотъездных минут на перроне, которые слишком длинны для того, чтобы проститься, в слиш-

ком коротки для того, чтобы сказать что-либо толковое! В тот момент я особенно остро их ненавидел. Я ехал в Петербург. Я рвался туда всей душой. Я весь горел нетерпением и считал минуты, которые отделяли меня от цели моих мечтаний...

Но вот раздался третий звонок. Наскоро поцеловавшись с Пичужкой, я вскочил на площадку вагона.

Громыкнули тормоза... Раздался толчок... И поезд медленно, как бы нехотя, двинулся вдоль платформы... Пичужка махнула платком... Я ответил ей студенческой фуражкой...

В купе со мной оказался какой-то седобородый старичок с мягкими движениями и благолепным лицом, который своим обликом мне почему-то напомнил масонского учителя Баздеева из «Войны и мира», обратившего в свою веру Пьера Безухова. Старичок сразу же взял со мной добродушно-покровительственный тон и стал допрашивать меня:

— Думали ли вы, молодой человек, о том, в чём смысл жизни?

И так как я обнаружил большого интереса к этой теме, старичок укоризненно продолжал:

— Вот всё так: пока молодцы, не думают, а как состарятся, так поздно уж думать... Жизнь-то ушла, — не переделаешь.

Я рано лёг спать на верхней полке. И хотя обычно я спал, как убитый, даже на голых досках, теперь я несколько раз пробуждался среди ночи и нетерпеливо смотрел на циферблат моих новеньких никелевых часов. Я встал с первыми лучами солнца, оделся, умылся и вышел на площадку вагона. Была ранняя осень, но трава и деревья ещё зелены, а в воздухе ещё сохранялся аромат позднего лета. Поезд, громыкая и поскрипывая, неторопливо — с тридцативёрстной скоростью — бежал вперёд. Мимо проносились луга, поля, рощи, серо-голубые озёра, сонные станции, жёлтые будки стрелочников. Я думал о Петербурге, я представляла себе толкотню на Николаевском вокзале, извозчика, Васильевский Остров, 9-ю линию, Наташу, ибо я решил сразу же с поезда поехать прямо к Королёвым.

Солнце поднималось всё выше. День разгорался на-славу. Предо мной открывались ворота новой жизни.

И когда на дальнем горизонте показались десятки чёрных фабричных труб, изрыгающих тёмные клубы дыма, когда на солнце ярко сверкнул золотой купол Исаакья и горячее дыхание столицы ударило мне в лицо, — вдруг пришли в порядок мои мысли, чувства, искания, надежды, ожидания, которые в течение столько лет волновали и тревожили меня, и как-то сам собой сформулировался всё разрешающий вывод:

Я должен принять участие в рабочем движении!

ПИСЬМА С. В. РАХМАНИНОВА К RE

I

Дегтярный пер. (М. Дмитровка). Д. 7, кв. 13.
Для Re. Москва.

Милая Re,
благодарю Вас за Ваше милое письмо, которое вчера получил. Охотно готов с Вами разговаривать, — но я так занят, у меня так много всяких дел, разъездов, и я так устаю, что разговаривать могу только изредка. На этот раз стараюсь быть точным в ответе, ввиду поставленного Вами, в конце письма, ультиматума. Напишите мне сюда (пробуду здесь до конца будущей недели). Что с Вами? Чем Вы больны и отчего от Вашего письма получается какое-то грустное впечатление?

С. Рахманинов.
14-е февраля. 1912.

II

Малая Дмитровка. Дегтярный пер., 7, кв. 13.
Для Re. Здесь.

Милая моя Re, Вы на меня не рассердитесь, если я обращусь к Вам с просьбой? И если исполнение этой просьбы не доставит Вам большого труда, исполните ли Вы ее? Сейчас скажу, как и чем Вы мне можете помочь... Мне нужны тексты к романсам. Не можете ли Вы на что-либо подходящее указать? Мне представляется, что «Re» знает много в этой области, почти все, а может (быть, я все. Будет ли это современный или умерший автор — безразлично! — лишь бы вещь была оригинальная, а не переводная и размером не более 8 — 12, максимум 16 строк. И еще вот что: настроение скорее печальное, чем веселое. Светлые тона мне плохо даются! Буду ждать Вашего ответа. Итак, по следующему письму! Надеюсь, Вы теперь поправитесь и здоровы.

С. Рахманинов.
15-е марта. 1912.

P. S. Про себя Вам ничего не пишу: не умею я не люблю. Да и правду (а не неправду) Вам кто-то сказал, что я самый обыкновенный и неинтересный человек.

Рекомендованные Вами вещи Баратынского еще не видел, но непременно посмотрю.

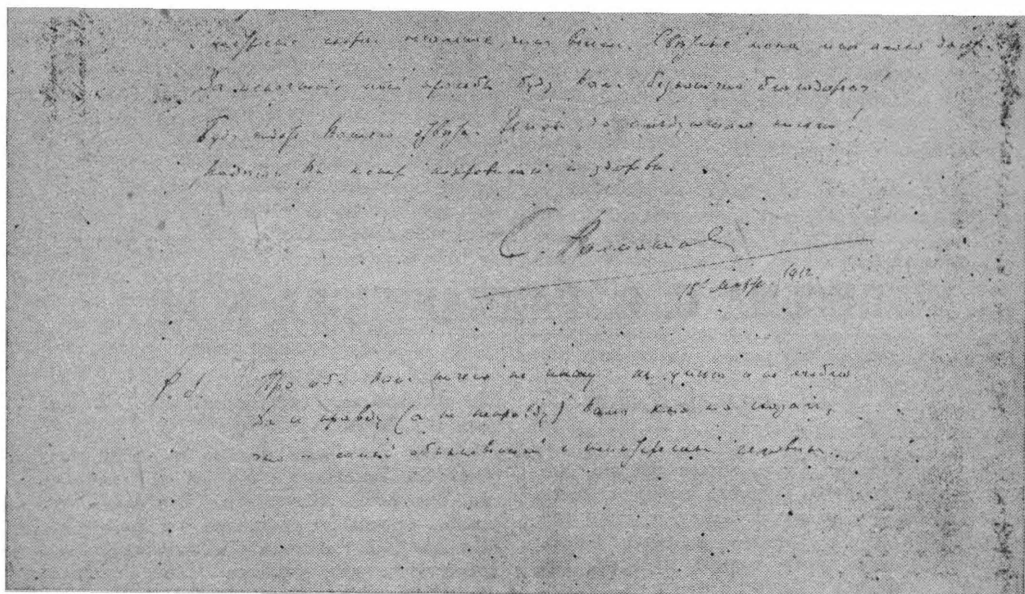
III

М. Дмитровка. Дегтярный пер., 7. Кв. 13.
Для Re. Здесь.

Милая Re, Ваше письмо и книги получил. (В Charlottenburg'e письма не получал). За все Вас очень благодарю! Все Вами переписанное прочел... Подходит только чудесная «Весна» Баратынского. «Восточные мелодии» хороши, но для романса все неподходящи, как Вы и сами справедливо заметили. Все Вами отмеченное в книжках крестиками, похожими на dièse'y («Re dièse»), мне еще не удалось просмотреть. Все Вами только названное, рекомендованное, заставляю себя к лету переписать, когда и думаю только приступить за эту работу.

Перехожу к содержанию Вашего письма и ответу Вам «деловито» на Ваши вопросы. Предварительно несколько слов на тему о Вашей несправедливости. В последнем письме Вы не всегда справедливы ко мне, милая Re. Приведу примеры. Дав самый беспощадный отзыв о «стишках» Галиной. Вы не без удачи замечаете, что я этими стишками «охотно пользуюсь». На самом деле я воспользовался ими в двух, трех случаях из пятидесяти одного... Здесь же где-то, Вы меня предостерегаете, чтоб я не искал для своих романсов «дешевого, эстрадного успеха!» Это еще хуже! Да и надо ли мне это говорить, милая Re?.. Еще насчет Сахновского: — я не протестую против данной Вами характеристики его самого и его писаний. Но почему Вы заподозрили меня в том, что все эти писания мной принимаются не только к сведению, но и к исполнению!? Выходит так, что стоило Сахновскому указать где-то, что я «певец ужаса и трагизма», как я меняю курс и заявляю Вам, что «светлые тона мне не даются», а Вы заверяете меня не верить Сахновскому...

На самом деле статей Сахновского не читаю (знаю, что они одобрительные), как не читаю и других (которые, знаю, больше отрицательные). Не читаю — так как все это для меня как-то мало убедительно. В глубине же души, кстати сказать, склонен скорее верить и слушать последних, чем первых, так как нет на свете критика более во мне сомневающегося, чем я сам... От этого «недело-



Факсимиле письма С. В. Рахманинова

вого» отступления перехожу опять к ответам. Я оттого пишу так мало (или совсем не пишу) про себя, что мало или совсем не знаю Вас, милая Re! Дайте мне к Вам немного приглядеться, вернее, прислушаться...

Вы спрашиваете меня еще про моих детей! Говорите, что Вам доставит удовольствие, если расскажу что-нибудь про них. Хорошо! У меня есть две девочки: 8-ми и 4-х лет. Зовут их: Ирина и Татьяна, или Боб и Тасинька. Это две непослушные, непокорные, невоспитанные — но премилые и преинтересные девочки. Я их ужасно люблю! Самое дорогое в моей жизни! и светлое! (А в «светлости» есть тишина и радость! Это вы верно говорите, милая Re!) И девочки меня тоже очень любят. Както, не очень давно, я рассердился на младшую и сказал ей, что ее разлюблю, — на что она надула губки, вышла из комнаты и сказала мне, что если я ее разлюблю, то она уйдет «в лес»! То же самое, пожалуй, и я могу сказать по отношению к ним. Все последнее время обе девочки и я — мы были больны. У всех была инфлуенца с более или менее серьезным осложнением. Все мы сейчас почти здоровы. 24-го марта вечером, когда мне принесли Ваши розы, я только-что вернулся в свою комнату после консилиума у постельки моей дочери. Той самой, которая «в лес» собиралась...

До свиданья, милая Re!

С. Рахманинов.

29 Марта. 1912.

Сейчас пришло Ваше письмо от 24-го. Тасинька и я — мы Вас очень благодарим.

IV

Малая Дмитровка. Дегтярный пер. 7. Кв. 13:
Для Re. Москва.

Милая Re, я не успел Вам написать в Москве и хочу это сделать здесь, в Тамбове, где приходится ждать некоторое время поезда, чтоб ехать дальше в деревню. Хочу Вам написать хоть несколько строчек: несколько слов благодарности за Ваше милое, потешное письмо и за книжку со стихами, которые Вы, с таким терпением и мужеством, переписали. Какая-то «боборыкинская трудоспособность», сказал бы я — если бы не боялся ядовитой отповеди с Вашей стороны. Я еду в деревню один. Моя семья придет ко мне через неделю приблизительно. В деревне буду ждать Ваш новый адрес и тогда напишу Вам. Мой адрес: Тамбово-Камышинская жел. дор. Ст. Ржакса. Иванька.

До следующего письма! Будьте здоровы и счастливы.

С. Рахманинов.

28-е Апр. 1912.

Откуда Вы взяли еще, милая Re, что я люблю консерваторок и филармоничек! Редко встретишь таких людей, которые так самодовольны — наружно и так убоги — внутренно. Что может быть хуже этого? Вы меня спрашиваете, что я люблю еще — кроме своих детей, музыки и цветов!? Все что Вам угодно, милая Re! Назовите хоть раковый суп! — только не наших музыкальных барышень...

V

М. Дмитровка. Дегтярный пер. 7. Кв. 13.
Для Ре. Москва.

Кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще Вас, милая Ре, и Ваши письма. Вас я люблю за то, что Вы умная, интересная и не крайняя (одно из необходимых условий, чтоб мне «поправиться»); а Ваши письма за то, что в них, везде и всюду, я нахожу к себе веру, надежду и любовь: тот бальзам, которым лечу свои раны. Хотя и с некоторой пока робостью и неуверенностью, — но Вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? Не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас и делать выноски из Ваших писем: авторитетность Ваша тут вне сомнений... Говорю серьезно! Одно только не хорошо! Не уверенная вполне, что рисуемый Вами заглавно портрет как две капли сходен с оригиналом, Вы ищите во мне то, чего нет, и хотите меня видеть таким, каким я, думается, никогда не буду. Моя «преступная душевная смиренность» (письма Ре), к сожалению, налицо, — и моя «погибель в обывательщине» (там же) мерещится мне, так же как и Вам, в недалеком будущем. Все это правда! и правда это оттого, что я в себя неверю. Научите меня в себя верить, милая Ре! Хоть наполовину так, как Вы в меня верите. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, — очень давно — в молодости! (Тогда, кстати, и «лохматый» был: тип, несомненно, более предпочитаемый Вами, чем... которого ни Вы, ни я не любим и пристрастие к которому Вы мне ошибочно приписываете). Недаром за все эти двадцать лет моим, почти единственным, доктором были: гипнотизер Даль, да две моих двоюродных сестры (на одной из которых десять лет назад женился и которых также очень люблю и прошу пристегнуть к списку). Все эти лица или, лучше сказать, доктора ушли меня только одному: мужаться и верить. Временами это мне и удавалось. Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается пожалуй все глубже. Не мудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижером, или сельским хозяином, а то, может, еще автомобилем... Вчера мне пришло в голову, что то что Вы желали бы во мне видеть, имеется у Вас сполна под рукой, налицо, в другом субъекте — Метнере. Описывая его так же метко, как меня, Вы желаете мне привить все ему присущее. Недаром в каждом письме половина места уделена ему и недаром Вы бы меня желали видеть именно в его, в их обществе, в этом «свѣтом месте, где споят, отстаивают, исповедуют и отвергают» (письма Ре). Не там ли увижу я и «теперешнюю молодежь, легко владеющую стихом и, увы, безмерно далекую от истинной поэзии» (Письма Ре). Это «лохматые», верно! Хорошо еще, что центральная фигура, объект, выбрана на этот раз удачно. Действительно, сам Метнер не тот «лохматый», каким

бы Вы желали меня, в крайности, видеть. И никакого предубеждения у меня против него нет. Наоборот! Я его очень люблю, очень уважаю и, говоря чистосердечно (как впрочем и всегда с Вами), считаю его самым талантливым из всех современных композиторов. Один из тех редких людей, — как музыкант и человек, — которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь. Удел немногих! и да благо ему будет. Но то Метнер: молодой, здоровый, бодрый, сильный, с оружием — мирой в руках. А я душевно-больной, милая Ре, и считаю себя безоружным, да уже и достаточно старым. Если у меня что есть хорошего, то уже вряд ли впереди... Что же касается общества Метнера, то Бог с ним. Я их всех боюсь («преступная робость и трусость!» письма Ре) и предпочту этой «гущи подлинного искусства» (там же) Ваши письма... И зачем я Вам все это пишу, милая Ре? «Наедине с своей душой» я недоволен содержанием этого письма.

В заключение несколько слов другого порядка. Всегда внимательный к Вашим словам и просьбам, пишу это письмо «сонным, веселым вечером». Вероятно, этот «сонный вечер» причиной тому, что я написал такое неподобающее письмо, которое прошу Вас скорее забыть.. Окна закрыты. Холодно, милая Ре! Но зато лампа, согласно Вашей программе, стоит на столе и горит. Из-за холодов те жуки, которых Вы любите, но которых я терпеть не могу и боюсь, — еще, слава Богу, не нарождаются. На окна у меня надеты большие, деревянные ставни, запираемые железными болтами. По вечерам, и ночью — мне так покойнее. У меня и тут все та же преступная, конечно, «робость и трусость». Всего боюсь: мышей, крыс, жуков, быков, разбойников, боюсь, когда сильный ветер дует и воеет в трубах, когда дождевые капли ударяют по окнам; боюсь темноты и т. д. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что домытые водятся (Вы и этим всем интересуетесь!), иначе трудно понять, чего же я боюсь даже днем, когда остаюсь один в доме... «Ивановка», старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим, родным — так как живу здесь 23 года. Именно здесь, давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось... Впрочем, это «старая погудка». Что же Вам еще сказать? Лучше ничего. Покойной ночи, милая Ре! Будьте здоровы и постарайтесь вылечить также меня... Я вам теперь не скоро, верно, напишу.

С. Р.

8-е Мая. 1912.

VI

М. Дмитровка. Дегтярный пер. Д. 7. Кв. 13.
Для Ре. Москва.

Милая Ре, на днях закончил свои новые романы. Около половины из них написаны на стихи из Вашей тетрадки. Переименную Вам сейчас слова, на тот случай, если Вас это заинтересует. А. Пушкина: Буря. Арион и Муза (последний посвящаю Вам). Тютчева: «Ты знал его». «Сей день я помню». А. Фета:

«Оброчник», «Каков счастье». Полонского: Музыка. Диссонанс. Хомякова: Воскресение Лаазаря. Майкова: «Не может быть» (написаны на смерть дочери). Коринфского: «В душе у каждого из нас». Бальмонта: Ветер перелетный... Словами Гаинной не удалось, к сожалению, воспользоваться. Не было под рукой.

Всеми романсами, в общем, доволен и бесконечно радуюсь, что дались они мне легко, без большого страдания. Дай Бог, чтоб и дальше так работа продолжалась... Присланную Вами «Антологию» получил. Немногое мне там понравилось! и мало понравилось! От большинства же стихотворений я в ужасе. Часто наткался на пометку Re: «это хорошо» или «это все хорошо». И долго я силмлся понять, что же тут Re отыскала хорошего?!

Приходило в голову замечание М. Шагинян, из мною также полученной книжки: «очень трудно подчас объяснить другому смысл стиха». Замечание к «Антологии» вполне применимое.

До свиданья, милая Re. Будьте здоровы.
Где Вы сейчас находитесь?

С. Рахманинов.
19-е Июня. 1912.

VII

Мал. Дмитровка. Дегтярный пер. Д. 7. Кв. 13. Для Re. Здесь.

Милая Re, я в состоянии Вам написать только несколько строчек, — только ответы на вопросы.

Благодарю Вас за Вашу статью. В ней много интересного и меткого: и метко там именно то, на что Вы сами указываете в своем письме ко мне. Однако, в конечном результате, Вы оказались не правы: подытожив содержание статьи, мой «вес» оказался преувеличенным. На самом деле я вешу легче (и с каждым днем все более хужею). Перехожу к попрекам: они ведь всегда у Вас имеются. Ну, чем я, например, виноват, милая Re, что репортеры пишут про меня в газетах разные небылицы? И неужели Вы, «почувствовавшая» меня как музыканта, не угадали во мне человека далекого от газетной шумихи и ненавидящего этих, любимых «тенорами», пассажей!

Попреки про Берлиоза и Листа убеждают меня в том, что Вы относитесь отрицательно к этим композиторам. Мне остается только пожалеть, что я не так о них думаю, как Вы, или что Вы о них думаете не так, как я...

Попрек, что я Вас позабыл, — нигуда не годится. Я вас отлично помню и очень люблю. Это уже старая истина! Если я неаккуратно отвечаю на письма, то по причине только многих, многих дел и большой корреспонденции...

Никакого туберкулеза у меня нет. Я просто устал — очень устал! и живу из последних силёнок. (Вчера, в концерте, впервые в моей жизни, на какой-то фермате позабыл, что дальше делать и, к великому ужасу оркестра, мучительно долго думал и вспоминал, что и как дирижировать дальше). Дай Бог скорее уехать отсюда. Мои романсы выйдут приблизительно через месяц. «Муза посвящена RE.

Написав Э. Метнеру короткую благодарность за присылку его книги, я поступил правильно. Тогда я только что книгу получил и не успел прочесть ее. Теперь же, прочитав ее, также не могу ничего прибавить. Мне книга не нравится. Из-под каждой почти строчки мерещится мне бритое лицо Г*. Метнера, котор. как будто говорит: «все это дустяки, что тут про музыку сказано, и не в том тут дело. Главное, на меня посмотрите и подивитесь, какой я «умный»! И правда! Э. Метнер умный человек. Но об этом я предпочел бы узнать из его биографии (которая и будет, вероятно, в скором времени обнародована), а не из книги о «Музыке» ничего общего с ним не имеющей.

Обещанную Вами книгу жду с нетерпением. Не укажете ли Вы мне чего-нибудь нового русского интересного? (Только не вроде «Антологии») Вы открыли мне Ваше имя. Должен сознаться, что я его уже давно знал. Узнал случайно...

До свиданья! Всего лучшего Вам желаю и от души...

С. Р.

12-е Ноября 1912.

VIII

М. С. Шагинян. М. Дмитровка. Д. 20. Кв. 6. Здесь.

Милая Re, через час мы уезжаем. Позвольте Вам сказать «до свиданья» и выразить мою радость, что я с Вами познакомился и увидел ноту Re воочию.

Буду ждать Ваше письмо и книгу. Пока Вы ее можете прислать по следующему адресу: Berlin. Russisher Musikverlag. Dessauerstr. 17. Serg. Rach...

В Берлине я пробуду около недели. Что дальше будет, т. е., где окажусь дальше, пока не знаю. Опять повторяю, что можно все письма адресовать на музык. магаз. Гуткгейль, котор. мне пересылает всегда всю почту.

Всего Вам лучшего и от всего сердца.

С. Рахманинов.

5-е декабря. 1912.

IX

М. Шагинян. М. Дмитровка, д. 20. Кв. 6. Москва. Piazza di Spagna. 5.

За Вашу книжку, милая Re, которую Вы мне «подарили», выражаю душевную признательность. Мне там многое и искренно нравится. Подробнее не останавливаюсь: во-первых, я Вас боюсь; во-вторых, слишком бегло с книжкой ознакомился, чтобы давать отчет автору. Одно мне там положительно не понравилось: я говорю про обращение «к читателю». Предпочел бы такое сообщение слышать не от Вас, а про Вас, т. е. высказанное кем-нибудь другим. Боюсь, что многие, после такого обращения, будут именно выскивать «предумышленность».

Впрочем, простите! Вам, «с горы», виднее.

Несколько слов про себя... Я очень поправился за месяц, проведенный в Швейцарии, и все потерял за шесть недель здесь. Зато

* Господина Метнера:

очень много работал и работаю. Тем досаднее, что стал опять очень уставать, плохо спать и слабо себя чувствовать. Кстати, это причина, почему я так непростительно долго не отвечал на Ваше письмо. (Хотя и сказал «непростительно», но все же на Вашу доброту и прощение надеюсь). Что у Вас за несчастья такие, милая Re? Почему Вам «тяжело жилось»? Продолжается ли так до сего дня? Напишите мне.

Пробудем здесь еще около месяца и к Пасхе надеемся быть в Москве. До того времени мне надо еще много, много сделать....

Привет, поклон и лучшие, от души, пожелаю.

С. Рахманинов.
23-е Марта. 1913.

X

М. Шагинян.
Fr. Marianne Schaginian. Hotel z. Weissen Rössl. Steinach am Brenner. Tirol. Oesterreich. Тироль. Австрия.

Наконец-то получил от Вас письмо, милая Re, и узнал, где Вы. Если бы это письмо не пришло, решил Вам все равно писать сегодня и адресовать по адресу «того», с кем Вы желали бы меня видеть в дружбе и согласии. Этот самый «тот» или «оно» наверно осведомлен о Вас. Удивительное дело! Вас я люблю и желаю Вас видеть, слышать и читать. «Того» сторонюсь с робостью. Как бы в ответ на это в Вашем письме читаю: «свою миссию (какую миссию?) считаю оконченной (когда началась и почему окончилась?) и собираю свой багаж (очень жалко!); а вот «оно» — это для Вас: Дружитесь!» Покорнейше Вас благодарю! Вот уж именно «на живого человека не угодишь!» В ответ на все это принимаю, с сожалением и недоумением, к сведению первое и отбрыкиваю от второго. Перехожу к вопросам. Их всего два, что впрочем понятно, если принять во внимание, что багаж уже собран. Мои дети сейчас, слава Богу, здоровы. Я же, вот уже два месяца целыми днями работаю. Когда работа делается совсем не по силам, сажусь в автомобиль и лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Вдыхаю в себя воздух и благославляю свободу и голубые небеса. После такой воздушной ванны чувствую себя опять бодрее и крепче.

Недавно окончил одну работу. Это поэма для оркестра, хора и голосов соло. Текст Эдгара По «Колокола». Перевод Бальмонта.

До отъезда отсюда надо успеть окончить еще одну работу. А с Октября концерты и разъезды, разъезды и концерты. Вст, какую «миссию» желал бы видеть оконченной.

До свиданья, милая Re, и счастливого Вам пути в будущем.

С. Рахманинов.
29-е-Июня. 1913.

XI

Н. С. Дадьянц. (Для М. С. Шагинян). Гранатный пер. 9, кв. 9. Москва.

Милая Re, конвертов нет, а посему, простите, пишу на карточке. Час назад, с почтой,

пришли Ваши статьи и Ваш адрес. Пользуюсь последним, чтобы обратиться к Вам с просьбой. (Сегодня же) получил предложение, от Комитета по чествов. 350-ия Шекспира, написать сцену из «Короля Лира» (в степи). Скажите мне: имеется ли какой-нибудь новый перевод «Лира»? Если не имеется новый, то какой из старых считается лучшим? Имеется ли «Лир» в отдельном издании? Могу ли я Вас просить мне немедленно один экземпляр выслать? Хотя у меня ни конвертов, ни Шекспира нет, но совесть есть и я обязуюсь Вам, также немедленно, выслать стоимость книги марками, вместе с самой сердечной благодарностью. Как Ваше злооовье? Я кой-какимизачо!

С. Р.
30-е Августа. 1914.

XII

М. С. Шагинян.
Милая Re, постараюсь все исполнить. Увидимся у Метнера, если он меня позовет. Свободен со вторника.

До свиданья.

С. Р.

XIII

Мариетте Сергеевне Шагинян. 24-ая линия. 4. Нахичевань н/Д.

Сегодня, приводя в порядок свой письменный стол, перечитывал некоторые из Ваших писем ко мне, милая Re!.. И, перечитав их, почувствовал к Вам столько нежности, признательности и еще чего-то светлого, хорошего, что мне мучительно захотелось Вас сию же минуту увидеть, услышать, сесть с Вами рядом и хорошо сердечно с Вами поговорить... Поговорить о Вас, о себе, о чем хотите. Может, помолчать! Но, главное, Вас видеть и сидеть с Вами рядом... Где-то Вы, милая Re? И скоро ли я Вас увижу?

С. Р.
20 сентября. 1916.

XIV

М. С. Шагинян. 24-ая линия. Д. 4-8. Нахичевань.

Милая Re, могу ли я прийти к Вам завтра (пятница) от 5 — 6 часов вечера? Ответьте.

С. Рахманинов
Четверг. 5 Ноября. 1916.

XV

Мариетте Сергеевне Шагинян. Нахичевань. 24-ая линия. 4.

Милая Re, только сегодня, с большим опозданием, приехал в Ростов. Завтра утром выежаю, чтобы больше сюда не возвращаться.

Хочу Вас очень видеть, но к Вам попасть не могу. Может, Вы согласитесь ко мне прийти сегодня, перед концертом, в Музыкальное Училище!? Мы будем одни, обещаю Вам. Так часов в 6½ веч. Можно будет посидеть часа полтора. Я буду играть, а Вы мне будете что-нибудь рассказывать! Хорошо? Посылаю Вам свои романсы.

Искренно Вам преданный
С. Р.

26-е Января. 1917.

Дайте ответ.

С. В. РАХМАНИНОВ

(Приложение к письмам)

МАРИЭТТА ШАГИНЯН



Мы часто называли «безвременьем» десятки годы нашего века, на которые пришлось молодость моего поколения. Было душно, как перед прозой, время казалось остановившимся, внеисторичным. В воздухе, в настроении общества было ожидание, страстная потребность, чтоб произошло нечто и чтоб ритм времени, движение истории снова стали ощутимы. Люди искусства и учащая молодёжь становились невравствениками, болели глубокоим внутренним кризисом, пытались найти помощь и ответ на своё состояние у таких же больных и сомневающийся, как они. Личное общение приобретало поэтому очень большую важность в жизни, оно заменяло связь с коллективом. Незнакомые люди писали друг другу письма, и на это уходили огромные душевные силы.

Москва была очень маленькая. Настолько маленькая, что сейчас и представить трудно. Здание «Благородного собрания» (сейчас Дом профсоюзов) казалось великаном на фоне узкого горлышка Тверской улицы, выходящей к небольшой Иверской часовне, от которой тянулись одноэтажные лавочки Охотного ряда. И ещё потому Москва была маленькая, что небольшой круг людей, — публика, бывавшая на концертах, на выставках, в партере театров, — был почти неизменен, очень ограничен числом, все знали друг друга, знали вкус, положение, возможное мнение каждого, — и как-то ничего не мыслили неожиданного и нового от этого круга.

Москву не очищали от снега. Зима приглушала всякий уличный шум, стены домов не испытывали городской дрожи, — полная, глубокая, ватная тишина окутывала московские ночи. Снег густо лежал на мостовой, на крышах, на карнизах; бульвары стояли в серебре, по снегу мягко скользили бесчисленные извозничьи сани, автомобиль был редкостью. В феврале мела вьюга, мела так, что иной раз пешеход в центре города чувствовал себя потерянним, одиноким, унесенным куда-то в старинные классические русские пространства, в пушкинскую «метель». Тогда именно ходил по переулкам Арбата и Пречистенки молодой Андрей Белый, писавший свою «четвёртую симфонию» о московской метели.

В один из таких февральских вечеров я написала письмо Сергею Васильевичу Рахманинову, с которым ещё не была знакома, и послала это письмо вдогонку ему в Петербург, куда он выехал на концерт. Подписалась ноткой Re, скрыв свое имя, — и потом, до последней встречи нашей, на протяжении всего личного общения, от февраля 1912 года по июль

1917 года, уже и познакомившись, и близко подружившись с ним, так и осталась для него под этим именем: иначе он меня никогда не называл.

Рахманинов был в тот год на вершине своей славы и внешнего успеха; концерты его сопровождались потрясающими овациями; публика часто до глубокой ночи сторожила его у подъезда, не давая ему выйти, а из большой чёрной наёмной кареты, которая в тот год увозила Рахманинова домой после концерта, очень часто при помощи городских приходилось вытаскивать забившихся в неё дам — «рахманисток». Но именно в те годы полного внешнего признания и благополучия Рахманинов был тяжело болен сомнениями в себе, и молодёжь Москвы это знала.

Молодёжь моего поколения была музыкально образована ещё со школьной скамьи. В частных гимназиях, особенно в закрытых, с так называемыми «пансионами», преподавание музыки было обязательно: хоровое пение, фортепиано, иногда скрипка с первого класса, гармония и теория музыки в старших классах. Лучшие профессора руководили этим обучением, — так, в гимназии Ржевской нас вёл по музыке превосходный педагог Адольф Адольфович Ярошевский, ученики которого и до сих пор чтут его память и хранят стиль и метод его обучения. В гимназиях была так называемая «музыкальная комната», где по два часа в день «упражнялись», готовя уроки, и однообразная, унылая россыпь гамм и «ганонов» навсегда слилась в памяти учениц с видением гимназических коридоров, запахом вечернего чая с молоком из столовой и дребезжащим, долгим звуком звонка «к молитве». Мы выходили из гимназий, умея читать глазами партитуру и даже записывать для себя захвативший нас на концерте несложный мотив. Естественно, что и те, кто выбирал дальше не консерваторию, а университет или курсы, — тоже не переставали интересоваться музыкальной жизнью Москвы и ходить на концерты.

В зале «Благородного собрания» были специальные стоячие места для молодёжи: они назывались «за колоннами» и стоили 50 копеек. За этими колоннами всегда всё знали о любимых музыкантах, и там можно было услышать разговоры о тяжёлом состоянии Сергея Васильевича. Его как-то особенно нежно любила молодёжь. Он был русский человек, насквозь весь русский, несмотря на внешний «западно-европейский» вид, крайнюю застенчивость, сдержанность, даже высокомерие

в манерах, усугублённое очень высоким ростом, заставлявшим его глядеть на собеседника сверху вниз. Стройный и гладко остриженный и выбритый, — Рахманинов не обманывал молодёжь ни своей внешней сдержанностью, ни холодом очень красивого лица, ни насмешливостью, — мы угадывали по какому-то неуловимым чёрточкам, по внезапной сутулжке его плеч, по взгляду, брошенному в залу, по — даже и не сказать, по каким признакам острые глаза молодёжи высматривают всё в человеке и сквозь человека, — мы уга-



С. В. Рахманинов

дывали, что ему туго, что он устал, не знает, как и что дальше, страдает внутренне. Ходили рассказы о том, что Рахманинов долго лечился гипнозом у доктора Далья, тогдашней московской знаменитости, и Далья его вылечил, а за это Рахманинов посвятил ему лучшую свою вещь, второй фортепьянный концерт с орке-

стром... После западничества наших тогдашних модернистов, отвлечённой стихии Скрябина, абстрактного увлечения контрапунктом и т. п. — второй концерт Рахманинова производил освежающую разрядку в слушателе. До сих пор помню особое двойное ощущение, с каким всякий раз переживала я этот концерт в исполнении самого Рахманинова: тяга к конкретному русскому пейзажу, русской земле, — в *andante*, широкая, простая, средней полосы России, деревенская ширь, бледное небо над хлебами, речушка и туман над речушкой и гуси шлёпают, а вместе с тем, — в традициях русской классики, с реминисценциями из Чайковского, из Глинки, — глубоко современное понимание того, что такое историческое раскрытие в музыке жизни своего общества, запросов и характера человека своей эпохи.

Повесть в звуках об историческом перепутье, безвременье, о чеховском безвольном интеллигенте, который тоскует по действию, по определённости и не умеет найти исхода внутренними силами, — всё это в едином органическом комплексе мы воспринимали и переживали во втором фортепьянном концерте Рахманинова.

Внутреннее общение с музыкой композитора перешло в разговор на письме с человеком, создателем этой музыки. Рахманинов тотчас откликнулся на моё письмо, и у нас завязалась переписка.

Ранние литературные вкусы Рахманинова были более или менее случайны, и он очень нуждался в текстах для романсов. Поэтому наша переписка почти сразу приняла характер общения между музыкантом и писателем. По его просьбе я неоднократно переписывала и подготавливала для него стихотворные тексты из русских поэтов, классиков и современных (которых он не очень, кстати сказать, жаловал). Всё же мне удалось заставить его кое-что оценить в Блоке, Белом, Брюсове, Фёдоре Сологубе, и «Крысолов» Брюсова («Я на дудочке играю, Труля-ля-ля-ля-ля-ля»), «Сон» Сологуба («В мире нет ничего/Вождь-леннее сна...») и ряд других романсов созданы Рахманиновым по переписанным и приготовленным мною для него текстам. Обычно я старалась их ему «начитать». До нашего личного знакомства, в переписке, делала это всевозможными путями, вплоть до графических, рисовала ритм стиха, его волнистую графику, приводила сравнения, раскрывала путём всяких аналогий внутреннее звучанье стиха. Так однажды написала для Рахманинова целый рассказ «Стихотворение», где отец и дочь разбирают один из незаконченных текстов Пушкина (гекзаметральный отрывок «В роцях карийских»), и напечатала его в газете «Речь». Подобно этому отрывку проанализировала в письме к Рахманинову текст «Музы» Пушкина, рассказав о том, как медленно и последовательно вступают у Пушкина в строй семь стволов пастушьей «семистволенной цевницы», заканчиваясь ликующим классическим диффи-

рамбом. Рахманинов написал романс на этот текст. Позднее Николай Метнер, тоже увлекшийся с моих слов «Музой», создал замечательную музыку к ней и тоже посвятил свою «Музу» мне. Иногда я имела нахальство «советовать» Рахманинову, «что бы я на его месте сделала», — так, однажды, «препарируя» стихотворенье Сологуба «Сон», посоветовала дать в аккомпанементе раздвигающиеся от десяти до октавы непрерывные ступени созвучий, чтоб дать иллюзию как бы выпираемого пространства при парении, иллюзию неподвижного полёта, где и есть движение, и нет его. У Сологуба:

В мире нет ничего
Вожделеннее сна
Чары есть у него.
У него тишина.
Не понять, как несёт
И куда, и на чём,
Он крылом не взмахнёт
И не двинет плечом...

Рахманинов так и сделал в аккомпанементе своего романса. Переписка в конце 1912 года перешла в знакомство, потом в дружбу. Мы встречались и у нас, и у Метнера, где я не делая гостыля, и у него на Страстном бульваре, и на Минеральных Водах, где он лечился в Эссентуках, а я жила в Кисловодске. Когда мы с сестрой перебрались к моей матери в Нахичевань на Дону, Рахманинов, проезжая Ростов во время концертных поездок всегда или заезжал к нам и проводил с нами вечер, или вызывал меня к себе в Ростов, если времени было мало. От этого личного общения сохранилось много драгоценных воспоминаний. Кое-чем хочется поделиться с читателем.

Рахманинов был крупным композитором, но пианистом он был величайшим, и выше, сильнее его в искусстве исполнения — эпоха наша не знает виртуоза. Игра его была абсолютной, демонической. Садясь за рояль, он мог вас уверить в чём угодно, в том, что его пустячок какой-нибудь, изящный и умный, но всё же пустячок, вроде ештол-ного Момент musical, не знает себе равного во всей музыкальной литературе — так сильно, так категорично было его воздействие на слушателя.

И вот один раз, во время антракта, когда в зале стояла буря неистового восторга и трудно было пробраться через толпу, войдя к нему в артистическую, мы увидели по лицу Рахманинова, что сам он в ужасном состоянии: закусил губу, зол, жёлт. Не успели мы раскрыть рот, чтоб его поздравить, как он начал жаловаться: наверное, он выжил из ума, стареет, его нужно на слом, надо готовить ему некролог, что вот был музыкант и весь вышел, он простить себе не может и т. д.: «Разве вы не заметили, что я точку упустил? Точка у меня сползла, понимаете!» Потом он мне рассказал, что для него каждая исполняемая вещь — это построение с кульминацион-

ной точкой. И надо так размерять всю массу звуков, давать глубину и силу звука в такой чистоте и постепенности, чтоб эта вершинная точка, в обладание которой музыкант должен войти как бы с величайшей естественностью, хотя на самом деле она величайшее искусство, чтоб эта точка зазвучала и зазвучала так, как если б упала лента на финише слачек или лопнуло стекло от удара, словом, как освобождение от последнего материального препятствия, последнего средостения между истинной и её выраженьем. Эта кульминация, в зависимости от самой вещи, может быть и в конце её, и в середине, может быть промвтой вая тихой, но исполнитель должен уметь подойти к ней с абсолютным расчётом, абсолютной точностью, потому что если она сползёт, то рассыпается всё построение, вещь сделается рыхлой и клочковатой и донесёт до слушателя не то, что должна донести. Рахманинов прибавил: «Это не только у меня, это Шалашин тоже так переживает. Один раз на его концерте публика бесновалась от восторга, а он за кулисами волосы на себе рвал, потому что точка сползла».

Рахманинов потом не мог успокоиться я не спал всю ночь, а за ужином только и было у него разговору, что жалобы на самого себя. Он был великий труженик. Жила Рахманиновы сравнительно небольшой семьей, две девочки, Ирина и Татьяна, жена Наталья Александровна и чудесный человек, сестра жены Софья Александровна, — но у Рахманиновых было в Тамбовской губернии имение «Иваповка», которое требовало кучи денег, они держали в деревне автомобиль, что в те времена было роскошью, доступной только богатым людям, ездил раз в год за границу и Рахманинову приходилось очень много работать. Зарабатывал он главным образом концертами. Давал он их не профессионально, часто не крупный год, а полосами, — полоса творческая, потом концерты, сразу концертов двадцать три — давать, с поездками по главным городам России, потом отдых. И концерты эти он переживал, как огромную для себя нагрузку, тяжёлую страдную пору. Очень не любил, когда наступала концертная полоса его жизни, жаловался на неё, и главным для себя счастьем считал композиторскую работу.

Но несмотря на то, что концертные были ему тяжким, он ни разу, ни в одном глухом городишке не позволил себе легко отнестись к своему исполнению и, всё равно, какая бы публика ни была перед ним, он ей давал самое своё лучшее, самое первоклассное. Это всегда был Сергей Рахманинов, тот, кто и перед пустой залой, если он сел за рояль, должен создать, сотворить вещь, дать её абсолютно, стореть в ней и быть после игры выжатым лимоном, бледным до серой пшадрыны, истощенным от изнеможения, молча полужающим в антракте. Коиме внутренией, творческой подготовки к исполнению, он всегда готовился к нему, технически, играл по восемь

часов в сутки, обязательно, куда бы ни ехал и где бы ни был.

Причём обычно он упражнялся перед концертом так: брал из вещи, которую должен был исполнить, фразу за фразой или такт за тактом, и арпеджировал каждую эту фразу вверх и вниз по всему роялю множество раз. Я частенько сидела с ним рядом во время таких упражнений и по его просьбе «расказывала ему», и мне было страшно голодно по целому исполнению вещи, было такое чувство, что он даёт от любимого лица сперва одни носы и носы, потом одни подбородки, одни брови и т. д. Один раз я не вытерпела и сказала ему об этом. Он ответил наполовину шутя, наполовину серьёзно: «Надо выгладить каждый уголок и каждый винтик разобрать, чтоб уже после сразу легче всё собралось в одно целое».

Когда сейчас приходится слушать кое-кого из наших юных современных музыкантов и видеть, как эта молодёжь, вместо роста и учёбы, теряет даже начатки правильного понимания исполнительского искусства, теряет чувство эпохи, сложную внутреннюю жизнь человека нашей эпохи и подносит зале отбаранивание, напоминающее музыкальный автомат, пианолу, и за это стяжает аплодисменты и самоуверенно выходит раскланиваться, — невольно обращаешь мыслями к великой требовательности гения пианизма, Рахманинова. Как хорошо было бы, если б молодёжь наша могла изучать методику великих исполнителей не по одной только граммофонной записи и если б могла она мерить себя строгим судом, каким мерили себя большие мастера пианизма! Тогда она, быть может, яснее почувствовала бы, какая это долгая и трудная дорога, нескончаемая — ни в одном возрасте, обязательная до последних дней жизни, — дорога самосовершенствования подлинного художника-творца.

Последний раз заезжал к нам Рахманинов в Нахичевань в 1916 году. Тогда он переживал страх смерти. Помнится, просил мою мать погадать ему на картах, долго ли он ещё будет жить. Какая-то книга Арцыбашева, где говорилось о смерти, произвела на него страшное впечатление: «Нельзя жить, если всё равно придётся умереть. Как вы можете переаривать мысль, что вы умрёте?» Говоря так, он незаметно для себя увлёкся жареными в соли фисташками, которые очень любил и которые мы всегда к его приезду заготавливали в множестве. Привинул тарелку, посмотрел на них, вспомнил и вдруг засмеялся: «За фисташками страх смеоти куда-то улетучился. Вы не знаете, куда?» Мать моя дала ему с собой целый куль, и он его повёз в Москву, как средство против страха смерти.

Последний раз пришлось встретиться нам в Кисловодске, в июле 1917 года. Тогда я только-что вышла замуж. Мы с мужем узнали

из афиш, что в курзале состоится торжественный концерт в пользу одного нашего полка, — мы были в войне с Германией, ещё не законченной. Выступало на концерте много «знаменитостей», и цены были «аховые». Из последних рядов глядели мы с мужем на сцену, и мне казалось, что я глажу в обратные стёкла бинокля на умалившееся, бесконечно далёкое, уходящее прошлое. Вот вышел с речью о большевизме маленький чёрный Мережковский, шепелявя и вспыхивая глазами, и вдруг поднимая голос до выкрика, — он выводил большевизм из «антихристового начала» Петра I. За ним — распорядитель в бантике вывел об руку высокую пожилую Гиппиус, она читала по бумажке тихим, знакомым шиповатым голосом ундийи стихи, а потом потеряла на пруди ленсэ и, вводя полуслепыми серыми глазами по эстраде, вдруг — заблудилась. Было мучительно видеть, как в течение минуты она беспомощно искала выход и чуть не свалилась вниз, не найдя ногой ступеньки. В июльский вечер 1917 года эти люди казались анахронизмом, и было почти символом близорукого топтанье заблудившейся Гиппиус. Прочь уходило прошлое.

На эстраде в белой накидке на чёрном фраке (вечер был прохладен) появился раздражённый и злой Рахманинов. Он не хотел аккомпанировать Кошиц, а Кошиц капризничала и не хотела петь без него, — и, наконец, он уступил. В антракте мы подошли к нему. Кисловодская ночь была полна особых запахов, — и роз, и южной земли, и дорогих духов, и сигар, и тополей. Мошки бились в столбах яркого света. Раковина сверкала огнями, — в ней рассаживались оркестранты, во втором отделении Рахманинов должен был дирижировать «Марсельезой». Но он надолго затянул антракт, сидя с нами в одной из аллеек курзала и как-то не находя внутренней энергии на прощанье. Больше я его ни разу не видела.

Рахманинов был глубоко русский человек. Он любил русскую землю, деревню, крестьянина, любил хозяйничать на земле, сам летом брал косу, ненавидел, как личного врага, лебеду и прочие сорняки и часто часами рассказывал мне о том, как хороша деревня. Когда Танееву не понравилась одна из его последних tableau, — картина русской природы с дождиком, — он мне сказал: «А моросияжато моего Танеев так и не понял». И ему пришлось умереть и быть похороненным в чужой земле. Убеждена, что Рахманинов токовал по родине, очень страдал от разлуки с ней. И хочется, чтоб дух его музыки, уроки его мастерства, светлый и милый образ его, как музыканта, огромная требовательность его к себе были восприняты молодым поколением советских музыкантов, освоены и вошли в советскую музыкальную культуру, как дорогое наследство.

ПИСЬМО ИЗ АНГЛИИ

ШОН О'КЕЙСИ*



О ТЕХ, КТО ДЕРЖИТ В РУКАХ РОЗУ ЮНОСТИ

Наша молодёжь стала серьёзнее, ибо для неё, наконец, нашлось дело. Она смеётся, поёт, танцует, но это не мешает ей отдаваться оживлённой серьёзности, которой проникнута жизнь. Война вовлекла молодёжь в непреодолимый по своей силе поток и заставила трезво взглянуть на значение и смысл того, что стало теперь войной мщения. Армия даёт восемнадцатилетним предварительную подготовку к армейской жизни и знакомит их со старым ремеслом солдата.

Тёмная винтовка и сверкающая сабля
Могут говорить свободно и писать благо-
родные слова.

Какие пророки проповедывали эту истину
лучше,

Чем Гофер, Брайан, Брус и Телл?
Да сохранит бог то, чему учили эти герои:
Свобода, купленная кровью, куплена
дешево.

Да здравствует бивуак, закалённость и
яростная атака,

Меня увлекает жизнь солдата,
Смерть солдата несёт свободу мести.

Правительство берёт молодёжь на учёт и подвергает медицинскому осмотру за четыре месяца до восемнадцатилетия, накапливая,

* Шон О'Кейси — крупнейший прогрессивный ирландский писатель. Родился в 1884 году. До своего вступления в литературу был журналистом, докером, строительным рабочим. Получил известность, как драматург, своими пьесами: «День стрелка» и «Юнона и павлин». Обе эти пьесы переведены на русский язык. Следующая пьеса О'Кейси «Звезда становится красной» поставлена английским театром «Юнити Театр» в 1942 году. О'Кейси является автором двух романов: «Я стучусь в дверь» и «Жизнь в Холлесе». Давний друг СССР.

таким образом, силы, чтобы выпустить кишки у гитлеровской рогатой свиньи и уложить её метким ударом в сердце.

Но как обстоит дело с молодёжью, роза юности которой ещё не распустилась, — с тринадцатилетними, четырнадцатилетними, семнадцатилетними? Настоятельные требования военного времени приводят их в лагерь единой мысли, приводят к решимости помочь ожесточённой битве за свободу человека. Но наилучших результатов, которые может дать единение молодёжи, мы ещё не достигли; к тому моменту, когда борьба началась, у нас не было должной подготовки к созданию полного объединения молодёжи во время войны, развернувшейся в войну мировую.

До войны наша молодёжь, во всяком случае значительная её часть, окончив школу, не знала, куда идти, не знала, что делать. Она просто становилась в ряды безработных и ждала. Англиканская и диссидентская церкви основали общества для мальчишек, называвшиеся «Юношескими церковными бригадами». В этих бригадах мальчики в форменных фуражках, форменных поясах и со значками долбили библию, катехизис и проходили военную подготовку. Отдельные единицы совершенствовались в гимнастике, в некоторых кружках играли в футбол. Но все они смотрели на жизнь сквозь цветные стёкла в две краски — чёрную и белую. А это значило: вера в то, что вам говорится, правильна, а всякие сомнения — неправильны. Руководители прилагали все усилия к тому, чтобы каждая инструкция была построена на основе этики послушания существующему порядку вещей, который нельзя отрицать, по ряду вещей, который непреложен и будет соблюдаться людьми до скончания века. Мальчишек всячески побуждали к тому, что именуется богопочтанием, тогда как их более удачливые братья пускались в пляс с Маммоной. Мальчишкам твердили с раннего утра и до позднего вечера, что тайна величия Англии заложена в Библии (ни слова

об угле и железе), и те, кто твердил им это, никогда не вспоминали о том, что сказано в Библии о нищих, вдовцах и сиротах. «Нищие всегда пребудут с вами», — таков был их лозунг, повторявшийся под звуки трубы, барабана и тамбурина какой-нибудь девицей из Армии Спасения.

Общество бой-скаутов, основанное генералом Баден-Пауэллом, было в некоторых отношениях лучшей организацией, поскольку оно вводило мальчиков в поля, в леса, к реке, и учило их более практическим вещам, чем зазубривание мало понятных строк из Библии, например, как разжечь костёр, сварить обед, нарисовать карту местности, идти по следам. Эта организация была открыта для всех религий, следовательно, догма оставалась за дверями дома или церкви. Певцы, подобные Моррису, Рескину и Кир-Харди, извлекали свежие ноты из своих тростниковых свирелей, и их слышали те, кто постепенно шёл к пониманию вещей. Но голоса большинства поэтов звучали одиноко, они пели для самих себя, стараясь отгородиться от криков, дрожи и плача живой жизни, ибо эти поэты боялись её так, как боялся Пенн Саймонс:

Я устал от горя и человеческих слёз,
Жизнь — это сон в ночи, страх среди страхов,

Нагой беглец, погнбающийся в вихре копий.
А здесь, в волшебном лесу, между морями
Я услышал волшебную птицу, поющую на дереве.

И покой, которого нет нигде в мире,
снизошёл ко мне.

Жалкий, жалкий покой, который боялся жизни, любви, убегал от заводской пыли, от грязи шахт, от запаха пота крестьянина, засевающего целину!

А потом грянула первая мировая война, и молодёжь ушла сражаться, провожаемая обещаниями, прекрасными обещаниями, которые по целому ряду причин остались невыполненными. И когда грохот и крики утихли, когда военачальники и короли удалились, тогда над молодёжью нашей страны, над молодёжью всего мира прокатилась волна иссушающего безразличия и цинизма.

Война призвала нашу молодёжь к действию. Молодёжь уже не чувствует «усталости от своей собственной жизни и от жизни тех, кто придёт ей на смену», она стала активной, охотно пробует свои силы, осуждает тупую бездеятельность прошлых лет и стремится узнать как можно полнее о том, как работает молодёжь Советского Союза. Юноши из церковных бригад, бой-скауты, комсомольцы — все устремились к одной цели, сообща ищут лучшие способы, чтобы помочь уничтожению гитлеризма. Международный юношеский день в сентябре прошлого года был самым удачным из всех, какие знала Англия. Он был организован Союзом

Коммунистической молодёжи, в нём участвовало десять тысяч человек, и, оваянные знамёнами, в песнях, в речах, в звуках оркестров они демонстрировали своё мужество и решимость дать отпор и одолеть кляксовых обезьян фашизма, а в будущем добиться рационального участия молодёжи в работе страны и нации.

Но знамёна и оркестры, песни и речи сами по себе не имели бы большой цены, если бы на смену фанфарам и восторженным крикам не пришла практическая работа. И Союз Коммунистической молодёжи организовал добровольческие отряды для работы по уборкам на сборе урожая и подготовке земли к новому севу. В отчёте об этом говорится: «Тысячи добровольцев были организованы в отряды, проделавшие очень ценную работу. Мы будем и в дальнейшем поощрять создание таких добровольческих молодёжных отрядов во всех крупных районах для оказания помощи нашему домашнему фронту». Далее в отчёте говорится о «сформировании ударных бригад», о том, что «это начинание принесёт большую пользу военной промышленности и будет способствовать более чёткому осознанию гражданского долга среди молодых промышленных рабочих».

Вот один из многих примеров: на одном крупном заводе в западной части Англии было сформировано 50 ударных бригад, в которые вошло около 800 рабочих, и за Молодёжную неделю завод выдал на 17 проц. сверх плана больше предыдущих недель.

Всё это очень хорошо. Но человек, настроенный реалистически, не станет думать, будто с английской молодёжью дело обстоит как нельзя лучше. Суть в том, что наша молодёжь раньше ещё не представляла собой единого целого.

Но обстоятельства заставляют её ступить на один общий всем путь, заставляют объединить усилия, чтобы со всем пылом молодости одолеть врага человечества — нацизм и его мерзких сообщников. Обстоятельства войны заставляют её сойти с той путаной дороги, по которой она, в своём неведении, брела до войны. Государство не может не оценить теперь всей важности молодёжной работы для обеспечения надёжной жизни в будущем. Устаревшие организации, вроде церковных бригад, и даже более современные бой-скауты, уступают место объединениям молодёжи, которые отвечают запросам дня и действуют энергичнее.

Тем не менее, эти объединения охватывают не больше 25 проц. всей нашей молодёжи, а остальные 75 проц., в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеют возможности общаться друг с другом. Теперь уже никто не думает, что молодёжь наде оставлять только на попечении церкви или филантропических институтов — ней заботятся государство. Более старые организации уступают место юржкам военной подготовки,

«Национальной ассоциации юношеских клубов», а, например, «Подготовка лётных кадров» насчитывает 210 000 членов, «Армейские кадеты» — 170 000, — не считая тех бесчисленных малышей, которые знают о лущах и самолётах гораздо больше, чем о двенадцати коленах Израилевых. Становясь более реалистической в ощущении себя, как представителей нации, молодёжь в то же время проникается духом интернационализма. На созванной недавно в Англии конференции совета интернациональной молодёжи был поставлен на обсуждение вопрос о молодёжи и борьбе за свободу. На конференции выступали Стаффорд Кричс, мистер Майский и мистер Уайпент.

А теперь оставим английское юношество — пусть оно слушает представителей трёх великих держав, ведущих борьбу со спранами оси. Пусть молодёжь усваивает ту истину, что объединённые народы выгонят рогатую свинью из садов мира, и что в тех местах, где сейчас одни руины, снова расцветут розы, снова будет покачиваться на ветру золотая пшеница, и ветки, полные румяных яблок, снова будут клониться к заботливым рукам человека.

АНГЛИЧАНЕ И СССР

Всё, что стоит за буквами СССР, люди знают так, как никогда не знали раньше. Тысячи, присутствуя в кино, мысленно сражались вместе с Суворовым, Сталиным и Чапаевым, тысячи совершают таким же образом путешествие по знаменитой Волге. У нас, в городке юго-западной Англии, — одном из самых древних её поселений, — люди знакомятся со всем, что делается в Советском Союзе. Городок обслуживается своими маленькими магазинами прилегающий к нему сельскохозяйственный район. Населения в нём 4 000, ресторанов пять или шесть; церквей — четыре; есть небольшая библиотека, два учебных заведения для мальчиков и для девочек и несколько начальных школ. Городок покоится в тихой мгlistой долине реки Дарт. Раз в две недели бывает скотный рынок: время от времени в местный парк, где играют дети и состязаются футбольные команды, приводят на продажу быков и девонских овец. До войны на еженедельных рынках шла бойкая торговля, толпам покупателей предлагались самые разнообразные продукты. Сколько раз мы с женой уходили с этого рынка нагруженные свежими яйцами, маслом, сливками, творогом, мёдом, а иногда и журицей или уткой! Этой роскоши, конечно, уже нет, и мы носим домой только паёк, радуясь и ему, ибо теперь все наши помыслы должны быть устремлены на войну, в которой каждый должен принимать участие, из-за которой каждый должен поступаться многим, если мы хотим сделать победу, чем-то более существенным, чем буква «В», написанная на стене или на садовой калитке.

В нашем маленьком городке, каких-нибудь два года назад, трудно было найти человека, который разговорился бы с вами о СССР. Услышав это слово, люди неловко перемнались с ноги на ногу: почти двадцатилетняя враждебность, проповедывавшаяся и в прессе, и с кафедры, и даже официальными представителями лейбористского правительства, делала своё дело.

Сейчас жители нашего городка, — а то же самое можно сказать и про тысячи других городков, — стремятся как можно больше узнать о Советском Союзе. Местный англо-советский комитет получил прекрасное помещение; солдаты, расквартированные здесь, покрашили его и внутри и снаружи; нашлись друзья, которые украсили стены картинами, плакатами и фотографиями, собрали хорошую литературу о жизни и кипучей деятельности Советского Союза. Весьма уважаемый нами мэр собрал по подписке кругленькую сумму на покупку медикаментов для Красной Армии, а сейчас город и прилегающий к нему район задумали купить оборудование рентгеновского кабинета, «чтобы помочь восстановить здоровье и силы нашим товарищам красноармейцам, раненым в смертельной схватке с нашим злейшим — безжалостным врагом».

Да, хороший, работящий и честный народ юго-западной Англии всё больше и больше сближается со своими товарищами с Днепра, Волги и Дона. Рань или поздно — некоторые люди попытаются охладить и нарушить дружбу, которую создала между двумя народами война. Мы должны подготовиться к этому. Надо заблаговременно обезвредить эти очаги враждебности и сделать их бессильными перед волей народа, прежде чем браться за огромную задачу мирного времени — восстановление нашей исковерканной жизни и создание жизни надёжной и достойной мужчин, женщин и детей во всём мире.

ПЛАН БЕВЕРИДЖА

Тысячи англичан, которые могут урвать свободную минутку после боя или работы, берут в руки план Бевериджа. Цель его заключается в том, чтобы положить конец нищете, безработице, болезням и неустраиваемости, изнуряющим жизнь английского народа. Они изучают его и в большинстве случаев выносят такое суждение: это значительный шаг вперёд к созданию более пристойной и рациональной жизни. Но есть много таких людей, которые, не испытывая никаких жизненных тягот и не подозревая об их силе, ворчат против этого плана. Тред-юнионы, большие консервативные объединения и всё увеличивающееся число наших бойцов стоят за план — так же, как и интеллигенция.

«А. В. С. А.» («Армейское бюро текущей политики») — это двухнедельный бюллетень, выпускаемый военными властями и дающий информацию, которая ни прямым, ни косвенным путём не должна сообщаться ни в прессу,

ии лицам, не занимающим официального положения в Армии его величества». Этот бюллетень, освещающий все события, касающиеся войны, весьма популярен в армии. Специальный его выпуск содержит сжатое изложение доклада Бевериджа. Выступая по радио, министр Р. С. Кэйси сказал, что доклад вызвал к себе большой интерес в 8-й армии и стал там основной темой бесед.

ВОЙНА И МИР

Самое интересное событие литературного дня — выход в свет нового издания «Войны и мира» Толстого, (Макмиллан совместно с «Кембридж юниверсити пресс»). Спрос на эту книгу превысил десяти тысячный тираж в шесть раз. В начале весны предлагается выпустить ещё 30 000 экземпляров. Мы всё больше и больше начинаем интересоваться великими людьми России. Но лучше всего мы доказали бы своё горячее восхищение этой страной открытием второго фронта в Европе. Это дало бы нам возможность наслаждаться великими творениями в атмосфере мира, который наступит после уничтожения нацизма.

РОГАТАЯ СВИНЬЯ

Я и многие другие ознакомились с мрачным и наводящим ужас советским документом

о зверствах нацистов. То, что в нём зафиксировано, совершенно чуждо уму и натуре человека естественного и противостественного. В советских и английских газетах нацистов называют «зверьями», но это определение несправедливо и неверно. Тигр — красив, лев — благороден, ни в том ни в другом нет ничего противостественного. И разве можно сказать что-нибудь плохое против не блестящей красотой свиньи? Нет, животные чудесные существа, даже те из них, которые не даются в руки человеку! Никакое животное не приравниешь к нацисту. Если называть их свиньями, то пусть уж они будут рогатыми свиньями, — существами, не похожими на тех, которые существуют в природе. Если называть их обезьянами, пусть уж они будут рогатыми обезьянами с чёрным сердцем, всем своим поведением доказывающими ту истину, что им нельзя не только править людьми, но и жить на нашей земле.

Да полюбнут они жалкой смертью — все до единого! Пусть ни одна сочувствующая рука не коснется их в последний час, ни одно тёплое слово не долетит до их приглушённого смертью слуха! Да уйдут эти навсегда из жизни человечества!

Перевод Н. ВОЛЖИНОЙ.

*Ш. О'Кейси
Тингрит, Стэйген Роуд
Тотнис, Девон, Англия.
Февраль 1943 г.*

ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО*

(О критике в наши дни)

ПЁТР СКОСЫРЕВ



1.

Двадцать третий месяц писатели Советской страны работают в условиях войны.

Двадцать третий месяц наш мужественный народ выносит на себе великую тяжесть борьбы с военной машиной Гитлера. Бремя войны лежит на плечах бойцов и командиров, рабочих и крестьян, людей науки и искусства, создающих и в громе войны ценности общечеловеческого значения.

Груз войны лежит на плечах каждого советского человека. Пришёл час испытания всех сил народа, час испытания народной души в целом и души каждого советского человека в отдельности.

Нужно ли говорить о том, что испытания эти народом выдержаны. Уже события первой военной зимы доказали это. По стране перемещались многомиллионные массы населения, десятки заводов и тысячи станков спешно перевозились на Восток и там восстанавливались в условиях, чрезмерных по трудности и ранее никогда не встречавшихся. А в сердце страны в это время бил и бил бронированный кулак одной из самых мощных из когда-либо существовавших вражеских армий. И для всего мира стало ясно в те памятные месяцы, что советский народ испытания гигантской войны способен выдержать и бесспорно выдержит.

Закончившиеся битвы второй военной зимы вновь подтвердили это. Сталинградские могилы солдат фон-Паулюса служат прообразом той позорной могилы, которая уготована отныне немецкому фашизму.

В первую мировую войну весь мир облетело слово матерого немецкого ворона: войну выигрывает тот, у кого крепче нервы.

Говоря так, Гинденбург, конечно, думал, что нервы крепче у немецких генералов и вообще у немцев. И, пожалуй, он был прав, если под крепостью нервов подразумевал способность глядеть, не сморгнув, на кровь, слёзы и мученья невинных жертв — женщин

и детей. Если крепость нервов измеряется количеством разрушений, какие несёт культура человечества немецкая армия, то, конечно, самые крепкие нервы были и остались у немецкого командования, у немецких полчищ. И всё же через два с половиной года после того, как было произнесено это заклинание, — немецкую армию постиг полный крах.

Оказалось, что не нервы являются главной и тем более единственной гарантией победы.

Победа обеспечена за теми, кто во имя справедливости и свободы сумеет поднять на odpor врагу все богатства родной земли и все силы народной души. Война — испытание нервов; но она и испытание душ. Хищническая, волчья война приводит к растлению души народа. Справедливая отечественная война раскрывает в душе народа великие силы. Культура государства, ведущего волчью войну, гниёт; она испускает смрад. У народа же, поднявшегося на защиту своей отчизны, культура вместе с воинской доблестью и мужеством шагает по полям битв и торжествует победу.

Наш народ, несмотря на все тяготы войны, переживает расцвет культуры. Его ум, его чувства, выдумка, изобретательность, его мечта, его верность своему нравственному патриотическому долгу за двадцать три месяца войны неизмеримо обогатились и продолжают обогащаться. Качества эти были присущи ему и прежде; на войне они лишь приобрели большую яркость. Отсюда и подъём нашего искусства, и расцвет литературы, о чём свидетельствует присуждение сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы за 1942 год.

Обсудить роль литературы в дни войны; критически рассмотреть произведения, созданные за последние два года, поговорить всерьёз о явлениях, знаменующих подъём искусства и договориться о помехах, какие должны быть убраны, чтобы этот подъём проходил более уверенно и сильно, — было задачей творческо-критического совещания московских писателей, организованного в конце марта Союзом советских писателей.

*В порядке обсуждения.

2.

О чём нужно было говорить в первую очередь?

О совершенно очевидном, наглядном и прямо-таки недопустимом в условиях войны отставании критики. Все выступавшие на совещаниях писатели отмечали, что если художественная литература к третьему году войны приходит с высокими показателями, то в творческих успехах её в очень малой мере повинна критика. Критики молчали в первый период войны, когда основным жанром были короткие военные очерки-корреспонденции и призывные агитационно-декларативные стихи. В этот период молчание критики можно хоть отчасти объяснить тем, что самый характер печатавшихся в газетах литературных произведений был слишком злободневен, и критике, собственно, нечего было делать с вещами, обречёнными на быстрое забвение. (Какой это неверный близорукий взгляд!) Но за первым периодом наступил другой. Рядом с очерком-корреспонденцией появились сюжетный очерк и рассказ, на смену стихам-декларациям пришло полноценное поэтическое произведение — поэма, лирические стихи, стихотворная повесть, песня. Критика продолжала молчать. Накопленный опыт войны писатели начали реализовать в крупных работах: советские люди в тылу и на фронте прочли первые романы и повести на темы войны В. Василевской, В. Гроссмана, Г. Фиша, Е. Габриловича, Ю. Либединого, Л. Славина, В. Шишкова; зрители увидели на сцене пьесы, взволновавшие каждого. Большинство критиков попрежнему продолжало пребывать в нетях. Уже никаких оправданий подыскать этому нельзя. Если почему-либо советской критике казалось ненужным говорить о газетных корреспонденциях (хотя трудно понять, почему, собственно, не нужно говорить о корреспонденциях Симонова, Эренбурга, Горбатова, Курганова, Петрова, Полякова, Павленко, Ставского, Лядина, Головановского), то как же не говорить о повести В. Гроссмана «Народ бессмертен», или о романе А. Первенцева «Испытание», или о поэмах М. Светлова, или о стихах И. Сельвинского, или о песнях М. Исаковского, или о таких значительных пьесах, как «Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» К. Симонова или «Нашествие» Л. Леонова?

Одно перечисление произведений, опубликованных за последний год, отняло у председательствовавшего на совещании добрые полчаса. Однако совершенно правильно было сказано кем-то из выступавших, что перечисление критических статей, написанных об этих произведениях, не заняло бы у собрания и одной минуты.

Как же это случилось, и в чём тут дело? Почему советские критики в дни войны позволили себе демобилизоваться? Почему в те дни, когда в каждом учреждении, в каждой

школе, в каждом блиндаже советские люди, бойцы и трудящиеся, — не литераторы, горячо спорили о Горлове и горловщине, обсуждали достоинства и недостатки пьесы Корнейчука, хвалили автора за прямоту и смелость и в то же время нередко осуждали его за малую художественность отдельных эпизодов этой нужной и полезной, весьма интересной пьесы, критики молчали, точно набрав в рот воды? В «Известиях» печаталась «Радуга» Ванды Василевской. Стоило подойти на улице к газетному щиту, чтобы услышать многочисленные и разноречивые мнения о повести. Но тщетно было искать в тольских журналах мнений критиков об этом произведении.

Когда Союзу писателей пришлось наметить кандидатуры для выдвижения на Сталинскую премию, оказалось, что, по крайней мере, 90 процентов произведений, названных как возможные соискатели премии, не имеют о себе критических статей. Народ сам, без помощи критики, отмечал стихи и поэмы, созвучные настроениям и вкусам подавляющей массы читателей. Стихи Симонова «Жди меня» и «Василий Тёркин» А. Твардовского завоевали неслыханную популярность. Критики неповинны в ней. В редакциях усленно заговорили о большой потребности читателей в приключенческой литературе. В «Красноармейце», «Краснофлотце» и «Огоньке» уже появились первые опыты в этом направлении Н. Шлянова, С. Вашенцева, Л. Никulina. Какие это ещё робкие и порой неверные шаги! Критики не приняли участия ни в обсуждении вопроса, ни в обсуждении вещей.

За месяцы войны выдвинулся ряд писательских имён, мало кому известных два года назад. Стихи А. Софронова печатаются повсеместно и передаются по радио. До войны читатель не знал этого поэта. Мнения критики о Софронове читатель не узнает и сейчас, ибо мнения этого нет; если же оно есть (надо думать, что есть), то не высказано. Не высказано мнение о работе и других молодых писателей — Рыленкова, Шевелёвой, Солодаря, Баукова, Кропгауза. Критики не удосуживались высказаться также ни о глубоких и вечных рассказах Андрея Платонова; ни о страстных рассказах-поведях А. Довженко, ни о пестроцветных, хотя и страдающих тёмой недостатков, корреспонденциях-новеллах Б. Ямпельского; ни о многочисленных новеллах и очерках В. Коженикова, из которых некоторые делают честь не только даровитому молодому автору, но и всей советской военной беллетристике; ни о романе Г. Фиша «Контрудар», — хотя на примере именно этой вещи так удобно было затронуть важнейшие вопросы о чистоте и засорённости литературного языка, о восприятии писателем войны, как процесса, глубоко проникающего в толщу народной жизни страны, процесса, преобладающего от командиров и бойцов творческой инициативы. Повесть Фиша при некоторых достоинствах имеет столь значительные недостатки, что

разбор «Контрудара» мог бы превратиться в своего рода творчески-показательный семинар для авторов военного времени.

Ленинградские поэты Прокофьев, Саянов, Тихонов, Берггольд, Шишова в условиях блокады создали немало количество стихов и поэм, по которым историки будут восстанавливать картины героического города, противопоставившего бездушию гитлеровских стальных роботов стойкость великодушной негибаемой советской души. Сколько можно было сделать ценных наблюдений, разбирая поэмы и стихи этих поэтов! Их не сделали и не высказали.

А «Письма к товарищам» Б. Горбатов? По популярности, они смело могут поспорить с симоновским «Жди меня». А его «Алексей Куликов» — смелая, заслуживающая внимания попытка создать назидательный роман типа «жития святых» или фольклорных назидательных повестей. Попытка не совсем удалась Горбатову, так как автор сам снизил художественное значение своего интересно задуманного произведения, перегнув его стиль так круто в сторону назидательности, что художественная сердцевина замысла треснула. Что связанно произнесено критикой об этих любопытных книжках? Что сказано о поэме Кирсанова «Фома Смыслов»? Воскрешённый Кирсановым раёшник разошёлся по фронту в нескольких миллионах экземпляров. Хорошо это или автору нужно подумать о новых творческих приёмах? Что сказано об исторической повести А. Караваевой «На горе Маковце», о романе Костылева «Иван Грозный»? Что сказано критиками о строгой истройной поэме Веры Инбер «Пулковский меридиан»? Поэма писалась в Ленинграде. Поэма эта — высшая точка всего творческого пути талантливой поэтессы, о ранних, гораздо менее значительных стихах которой было написано в своё время немало отзывов и статей. Неужели «Сороконожка» В. Инбер значительнее её «Пулковского меридиана»? Никто с этим не согласится: не согласится с этим и ни один критик, в том числе и те, кто охотно писал о «Сороконожке» и кто теперь с чугуниным упорством молчит о работе Инбер в дни войны. Памятник чугуниного молчания водружён критиками и всем прочим произведениям, созданным во время войны, печатающимся в журналах, издающимся отдельными книжками, звучащим по радио, видящим свет рампы на подмостках клубных и профессиональных сцен.

Вступительное слово председателемствовавшего на совещании приглашало критиков выйти на трибуну и рассказать о причинах столь странного молчания критической мысли в дни войны. И присутствовавшие на совещании были уверены, что критики приглашением воспользуются — тем более, что в программе совещания было предусмотрено два основных доклада, какие должны быть сделаны именно критиками: В. Перцовым о прозе и А. Лейтесом о поэзии отечественной войны.

Думалось, что докладчики не только объяснят столь длительное молчание своих товарищей, но и выскажут какие-то существенные соображения о путях и трудностях современной литературы.

К сожалению, этого не случилось.

3.

Выступление В. Перцова было посвящено военной прозе. Такая постановка темы несколько суживала рамки вопроса, — вне внимания докладчика оставались рассказы и повести о тыле. Но и чисто военная тема советскими писателями разработана в стольких произведениях, что у докладчика была полная возможность коснуться многих важнейших сторон работы писателей в дни войны. Однако В. Перцов предпочёл свести значительную часть своей беседы к отнюдь не главной проблеме показа в художественных прозаических произведениях современного боя. По словам докладчика, оказалось, что трудности создания крупных вещей о нынешней войне прямо зависят от развития военной техники. Бородинский бой, — говорил докладчик, — длился сутки, и поле боя ограничивалось размерами того конкретного небольшого поля, на каком стояли войска Наполеона и войска Кутузова. Сражение же под Москвой 1941 года, которое можно условно считать как бы Бородинским сражением нынешней кампании, длилось около трёх месяцев и охватило территорию в несколько сот километров протяжением. Этот пример отличия современной войны от войны прошлого века мало в чём убедил слушателей. Гораздо более интересным было утверждение Перцова об отсутствии настоящих характеров в повести В. Гроссманна «Народ бессмертен». Но и это утверждение, не подкреплённое достаточными примерами, повисло в воздухе. Оно осталось только частным критическим замечанием, которое никак к тому же не вытекало из предыдущего утверждения В. Перцова о том, что для большинства прозаических произведений о войне характерно лирическо-эмоциональное вторжение автора в разрабатываемый материал. В этом, неверном, к слову сказать, наблюдении Перцов хотел увидеть нечто своеобразное, отличающее советскую военную прозу от прозы других эпох. Между тем, стоило бы докладчику вспомнить некоторые классические произведения о войне, для которых как-раз характерно это вторжение в повествование лирического авторского «я» («Тараса Бульбу» Н. В. Гоголя) как всё его «открытие» потеряло бы немедленно всякую ценность. Выступавшие в прениях и указали на это критику, надеясь, что в заключительном слове докладчик сумеет защитить или развить своё спорное утверждение. Однако В. Перцов от заключительного слова отказался и тем самым как бы признал сам не имеющим большого значения всё сказанное им в докладе.

Ещё более безотрадное впечатление произвёл доклад А. Лейтеса о поэзии.

Если Перцов сделал хоть какую-нибудь попытку разобраться в особенностях творческого процесса писателей-прозаиков, работающих над военной темой, то докладчик по поэзии не затруднил себя и малой попыткой в чём-либо разобраться.

Единственно, что уяснили слушатели из доклада Лейтеса, это то, что в отличие от некоторых нейтральных кругов литературной среды Америки, в Советской стране поэты не мыслят себе поэтической работы иначе, как на войну, что многие поэты работают в дни войны небрежно, а это недопустимо, и что следует непрерывно перевооружаться, чтобы своим творчеством с большей эффективностью нанести удары по врагу. Мысли правильные, но — высказанные, так сказать, в лоб без достаточных углублённых обоснований — они доклада не составили и не удовлетворили никого.

Таким образом, критики, промолчавшие все двадцать три месяца войны, сумели не нарушить своего молчания и здесь. На совещании, где основные доклады были представлены критикам.

В этом отношении совещание, задуманное как совещание по творческим вопросам, где ведущая роль должна была принадлежать критикам, как бы не состоялось. Вдумчивое обстоятельное слово А. Гурвича, выступавшего в прениях, положения не исправило.

4.

Большинство выступавших указывали на трудности, какие создаются для писателей из-за отсутствия в современной литературе критики. С ними не согласился И. Эренбург. Личное ощущение мое речи Эренбурга я могу выразить следующим образом: он не захотел согласиться с теми, кто отстаивал право писателя «вынашивать» крупные произведения, требующие большой затраты времени на своё создание и нуждающиеся в углублённой помощи критиков. Время не ждёт, — говорил Эренбург со всей страстностью, свойственной этому первоклассному публицисту-агитатору, мастеру короткой корреспонденции, фельетона и злого памфлета против фрицев. — Пока вы гадаете о том, кто и когда создаст будущую «Войну и мир», на фронте решается судьба страны, решается судьба каждого из вас. Смертельная угроза для нашей родины ещё не миновала. Можно ли и нужно ли сейчас вести литературоведческие споры, от которых пахнет затхлостью кабинетных рассуждений мирного времени? Слово писателя должно принимать прямое и непосредственное участие в борьбе. Вопрос не в том, что война дала писателю, а в том, что писатель дал войне, чем помогает делу победы. В блиндаже некогда писать «Войну и мир», да в блиндаже некогда и читать её. Споры о жанрах, классификации, ярлычки, какие опять

хотят наклеивать на писателей, могли бы вызвать только улыбку, если бы они не были вредны. Вредно всё, что отвлекает писателя от задачи, поставленной перед ним войной.

Таков был смысл (не текст) выступления Эренбурга, бесспорного по своей целеустремлённости, направленной к максимальной мобилизации всех способностей писателей на дело помощи фронту, но весьма спорного, если принять всерьёз то оправдание торопливости и, стало быть, небрежности художника, какое вытекало из слов Эренбурга о несвоевременности подхода к литературе дней войны, как к полноценному творчеству, нуждающемуся и в классификации, и в делении на жанры, и в объективном взвешивании всех художественных, стилистических, образных и др. достоинств и недостатков.

Прямо противоположную, но не менее крайнюю позицию занял Н. Асеев. Если И. Эренбург по существу был готов простить писателю иную художественную погрешность, лишь бы вещь была сделана во время, как того требуют интересы фронта, то Н. Асеев, говоривший исключительно о стихах, не согласился простить никому и ничего. Все стихи, созданные за время войны, ему кажутся художественно слабыми. Поэзия не только не сделала ни шагу вперёд в своём развитии, — говорит Асеев, — она пошла назад. Поэты отказались от всего, что было найдено Маяковским и другими значительными поэтами за время революции, и пишут теперь на уровне довоенной «Нивы». Все похожи друг на друга, как стёртые пятаки; можно брать стихи разных авторов, перемешивать их, приставлять к началу одного стихотворения конец другого, — ничего от этого не изменится. Ибо всё это не настоящая поэзия. Таков был смысл выступления Н. Асеева, подтвердившего на собственном примере, что молчание критики способно дезориентировать в вопросах военной работы писателей даже крупного художника.

Естественно, что большинство выступавших не могли согласиться полностью ни с Эренбургом, ни с Асеевым.

О богатстве советской поэзии, высокопатриотической и жизнеутверждающей, создаваемой на всех языках советских народов, говорил В. Гусев. О повышенной требовательности читателя на войне и в тылу к качеству произведений, вызванной именно серьёзностью переживаемого момента, говорили А. Гурвич, С. Герасимов, К. Фянин, И. Уткин, В. Инбер, Шкловский и другие писатели, принимавшие участие в прениях. С Эренбургом солидаризировался в какой-то мере лишь Б. Горбатов, сославшийся на условия работы фронтовых писателей, принуждённых очень часто сдавать в печать вещи, написанные торопливо, но приносящие тем не менее значительную пользу фронту.

Корней Чуковский и А. Довженко поставили вопрос о великом воспитательном значении

работы писателей в дни войны. В тылу подрастает молодёжь, будущие хозяева жизни. У многих детей отсутствуют родители. Подрастает поколение, которое прививали бы навыки большой советской культуры подрастающему поколению, развивающемуся в невиданных по трудностям условиях. А. Довженко и К. Чуковский, в сущности, выдвинули одну из тех проблем, какие должны были занимать центральное место в докладе Пердова. В докладе о ней не упоминалось. А ведь именно проблема воспитательного значения современной литературы и должна стоять в центре внимания критика.

Не дождавшись от критиков оценки хотя бы наиболее популярных произведений, созданных во время войны, писатели на совещании сами подвергли их критическому разбору, причём очень часто останавливались на произведениях Симонова, в частности, на его последней пьесе «Жди меня». Пьеса эта была признана неудачной всеми выступавшими. Проблема советской семьи, женской верности, прочности человеческого чувства поставлены Симоновым на голову, — говорит К. Финн. — Естественную женскую верность любимому человеку Симонов пытается выдать за подвиг, которым следует восторгаться. Пьеса Симонову не удалась, и в этом опять не малая вина критики, прошедшей мимо отдельных спорных мотивов, какие намечались ещё в стихах «Жди меня» и теперь, в одноимённой пьесе, оттеснили в сторону черты реальной советской действительности.

Поверхностность, случайность, легковесность отличают и пьесу В. Гусева «Москвичка», сплошь построенную на пресловутой проблеме «оторванной ноги» — можно ли оставлять верной человеку, у которого оторвана на фронте нога? Какими пошляками надо представлять себе советских людей, чтобы ставить подобные «проблемы»? Какое приказчиье отношение к великому чувству любви нужно иметь, чтобы называть любовью плоскую «игру в интерес», показанную Гусевым в «Москвичке», В. Катаевым в «Синем платочке» и Симоновым в «Жди меня»!

5.

Совещание длилось пять дней и вызвало значительный интерес в писательских кругах. И всё же основной вопрос, какой признано было совещание обсудить, обсуждён не был.

Почему же молчат критики? Может быть для них не ясны позиции, с каких в наши дни должно оценивать явления искусства? Может быть, не ясна для них роль искусства в дни войны? Один из выступавших на совещании писателей так обрисовал эту роль слов бойца, полтора года прошедшего на фронте. «Когда лежишь на передовых, — говорил боец, — и ждёшь начала боя, и знаешь,

что товарищ твой, с которым ты ещё утром вместе завтракал в блиндаже, час назад убит шальной пулей, и впереди тебя мрак, и где-то в этом мраке — неприятельские солдаты, а позади тебя тишина, но в этой тишине — твои товарищи и твои командиры, а ещё дальше в глубь страны, за твоей спиной, расположен твой дом, твоя семья, дети — всё, что мы зовём самым нежным и самым красивым словом на свете, — родина; когда ты лежишь и каждую минуту настороженно ждёшь того, что должно произойти, в том числе и возможной близкой смерти, — тогда ты переживаешь и переживаешь многое, о чём ни когда, может быть, и не задумывался в мирные годы; передумываешь не только головой, но всем существом своим, сердцем, душой. Ты вдруг по-новому задумываешься о том, что такое долг и честь гражданина. Само слово «родина» ты начинаешь понимать по-иному, по-новому, ясно и хорошо, как в детстве понимал слово «мать». Ты думаешь о том, что такое Россия, что такое любовь, верность, счастье. И всё тебе представляется иным, чем прежде, чем два года назад, когда ты занимался своим мирным делом. В эти минуты ты вспоминаешь лучшие книги, какие прочёл, и ловишь себя на мысли, что силу жить, бороться и, если нужно, умереть тебе дали книги. Говорят, отцы наши в прежние войны в такие минуты молились, ну, а мы вспоминаем книги и стихи. Вот лежишь и даёшь себе слово после победы окружить себя хорошими книгами, как самыми добрыми друзьями».

Слова эти заставляют вспомнить высказывание Чернышевского о том, что истинная литература «полна жизни, энергии, простоты, искренности и дышит нравственным здоровьем».

Позиции, с каких критики должны разбирать произведения военного времени, определены тем, что в дни отечественной войны, какую ведёт весь народ, и литература наша должна быть народной. А народной литературе, по словам Чернышевского, «противно всё, что свойственно литературе нарочитой, выдуманной». Чернышевский говорил, что «народная литература чужда мелочности и пустоты, которой может поддаваться только отдельный человек, но не может поддаться народ».

Душа народа, ведущего войну за свою свободу, напряжена до предела. Хорошо сказал один литератор, вернувшийся из Сталинграда: «Мы выстояли там не только на кромке волжского берега, мы выстояли на кромке собственной души». Вот эта способность нашего народа быть стойким в безмерных испытаниях и выстоять на кромке своей беспрельдно широкой души и должно быть всегда перед сознанием критика, когда он подходит к произведениям литературы, призванным служить войне.

Критик, мыслящий о литературе так, как о ней говорит боец с фронта, или так, как о

ней днсал Чернышевский, безошибочно определяет и надуманность гусевской «Москвички», и лживость «Йди меня», и оскорбительное легкомыслие «Синего платочка»...

Советская культура в дни отечественной войны является высшим выражением культуры советского народа, поэтому нельзя рассматривать написанное писателями за войну в отрыве от того, что создано в предыдущие 24 года. Советская культура в целом также должна рассматриваться критиками, как высшая точка развития культуры нашего народа, имеющего тысячелетнюю историю. Не откуда-то со стороны, извне явилась революционная мысль, преобразившая нашу родину и сплотившая силы народа на защиту своей отчизны от Гитлера. Всё лучшее, что сделано и делается руками наших современников, — это и есть та осуществляемая мечта, к какой стремились наши предки. О ней думали слагатели былин; её предчувствовал автор «Слова о полку Игореве»; о ней пели песни безымянные сказители и певцы наших народов; она наполняла тревогой и страстью творческие поиски лучших писателей России. Ломоносов, Радищев, Пушкин, Гоголь, Белинский и Герцен, Чернышевский и Толстой, Достоевский и Салтыков-Щедрин, М. Горький, Маяковский и Блок,—каждый по-своему, по-разному, порой ошибаясь, порой попадая на верный след, но всегда самозабвенно и безкомпромиссно стремились её найти, а найдя, довести до народа, воплотить и защитить. Идеал справедливой и высокой жизни вёл лучших людей нашей родины в их творческом служении народу на всём протяжении многотрудной героической

истории России. Не одновременно без роду, без племени возникла современная, направленная против фашизма, литература. Она возрастает на могучих корнях великой культуры. И рассматривать её, расценивать её, говорить о ней нужно, чувствуя за спиной поддержку таких богатырских союзников и учителей, какими являются для всей советской литературы наши классики. И Белинский, и Толстой, и Пушкин, и Фуставели вошли составной частью в понятие души советского народа. Так как же можно выходить на трибуну с докладами или писать критические статьи о работе «инженеров человеческих душ» без постоянного понимания того, что душа народа, ведущего борьбу с Гитлером, это не безродная голенькая душа, ничего не знающая в жизни, а молучий организм, полный сил, страстей, великого опыта, мудрых знаний и непреклонного горячего патриотизма?

Передовая русская критика всегда выполняла учительскую, воспитательную роль. Этому учат нас традиции Белинского, Добролюбова и Чернышевского.

От этих традиций отказались докладчики, и в этом основная серьёзная неудача совещания.

Руководству Союза писателей, редакциям наших основных литературных журналов, газете «Литература и искусство» нужно подхватить начавшуюся в стенах союза беседу о критике и продолжить её на страницах прессы. Отказ от критики означал бы отказ от развитых форм культурной жизни. Живая, глубокая критика нужна и читателю, и писателю, как воздух.

БИБЛИОГРАФИЯ

„СУВОРОВ“*

В 1797 году, когда уже далеко, на весь мир разнеслась слава Рымника и Измаила, за два года до легендарного перехода через Альпы Александр Васильевич Суворов сделал такую запись:

«Возьми себе в образец героя древних времён, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони — слава тебе!» И добавил о самом себе: «Я выбрал Кесаря».

Большой смысл скрыт в этих словах 67-летнего прославленного полководца, готового до конца своей жизни учиться, идти вслед избранному образцу, равняться по нему, чтобы, в конце концов, превзойти его своей доблестью и мастерством.

Пожалуй, нельзя себе представить лучшего образца героя для русского воина всех времён, чем сам Суворов, воплотивший в своей деятельности боевые традиции русского народа, сложившиеся на протяжении веков в длительной и упорной борьбе с иноземными захватчиками. Именно в этих традициях черпает свою силу военное искусство Суворова, — великого русского полководца, русского воина, носителя национального духа русской армии.

Бессмертные суворовские традиции получили своё полное развитие в боевой доблести Красной Армии. Осуществляя их на практике в дни отечественной войны, воины Красной Армии громят немецко-фашистские войска, вооружённые самой передовой техникой. В войнах Красной Армии живёт дух тех чудо-богатырей, которых воспитывал Суворов, с которыми он одерживал свои победы. В упорном единоборстве с коварным и злобным врагом несут суворовские потомки освобождение своей родины, всем угнетённым народам мира. Воодушевлённые любовью к родине, вдохновляемые образами своих великих предков, они совершают слазный путь к победе. И разве может воин Красной Армии найти для себя лучший образец «героя древних времён», по которому он

мог бы равняться, чем Суворов? Вот почему новая книга о Суворове, — к тому же ставящая своей прямой задачей рассказ о его воинском искусстве, вызывает особый интерес и заслуживает особого внимания.

Эта книга, выпущенная в свет издательством «Молодая гвардия» в серии «Искусство воевать»*, предназначена «молодым командирам в 25-ю годовщину Красной Армии». Но в то же время в ней нет ничего, что делало бы её недоступной самым широким кругам читателей. Задача книги — дать общие представления о суворовской стратегии и тактике. В обширнейшей литературе о Суворове задача эта решалась не один раз, всесторонне освещалась особенность военной деятельности Суворова, его гениальное новаторство, намного опередившее свой век. Однако авторы рецензируемой книги о Суворове подошли по-новому к разрешению этой задачи. Новизна и свежесть этой небольшой книги, хорошо и изящно изданной в виде альбома, заключается в методе подачи широко известного материала о тактике и стратегии Суворова, в своеобразии показа особенностей его военного искусства.

Авторам рецензируемой книги о Суворове удалось достичь своеобразного, органического слияния текста, схемы и рисунка, дающих в своей неразрывной связи целостное, ясное и наиболее простое представление о суворовской тактике и стратегии.

Раскрываем книгу наудачу.

«Русский отряд быстро миновал рошу и неожиданно вышел во фланг массе турецкой пехоты и конницы как-раз в тот момент, когда юна почти смяла уже австрийцев...» и т. д.

Этот текст дал бы самое общее и поверхностное представление об описываемом сражении, если бы не сопровождался поясняющим его рисунком. На рисунке всё видно, всё ясно: в карьер несутся на раопластавшихся в беге конях казаки, за ними, с ружьями наперевес, идёт пехота; с фланга наступает конный стряд австрийцев; турки бегут к Крымгумейлорскому лесу...

* Н. Паумов, В. Юрьев. «Суворов». Серия «Искусство воевать». «Молодая гвардия», М., 1943 г.

Дело тут не только в том, что рисунок по-

ясняет текст, дополняет его, но и в том ещё, что он интересно задуман и хорошо выполнен. Рисунок заставляет читателя разобраться во всей диспозиции боя, изучить её и запомнить. Интересен и рисунок, данный в разворот книги, изображающий последовательные этапы штурма Измаила. Вот русские солдаты прорубаются сквозь засеку, вот они настигают плетни на волчьих ямы, прыгают через палисады, бросают фашины в ров, устанавливают штурмовые лестницы. Вот они на крепостном валу! Так же графически ясно и увлекательно изображены диспозиции войск при штурме Измаила (на отдельном вкладном листе), сражение на реке Треббия. Швейцарский поход.

Но рисунки в книге не довлеют над текстом, это и не иллюстрации в собственном смысле слова, это скупое и ясное графическое выражение описываемых событий. В разработке и композиции рисунков, как и во всём оформлении книги, Н. Наумовым проявлены изобретательность, вкус и художественный такт.

Но книга не ставит своей задачей только хорошо и наглядно рассказать о знаменитых походах и сражениях Суворова. Её основная задача значительно шире. Наглядный показ замечательного своеобразия тактических приёмов и принципов Суворова — вот к чему, по существу, стремятся авторы, вот что составляет её главный интерес. Под этим углом зрения рассматривается каждый из описанных в книге походов, каждое из сражений Суворова. Анализируя их, авторы убедительно показывают, в какой мере тот или иной суворовский принцип нашёл своё выражение в той или иной битве и принёс славную победу русскому оружию.

Суворовское «удивить — победить» легко в основу получасовой стремительной атаки под Лансбороной, когда Суворов решил сделать как-раз то, что противник почитал за невозможное: велел чугуевским казакам, не ожидая, пока подойдут основные силы, атаковать центр неприятельской позиции, расположенной к тому же на пребне высот с крутыми скатами.

Суворовская заповедь «побеждает тот, кто меньше себя жалеет» иллюстрирована примером героической обороны крепости Кинбурн, когда русские трижды кидались в атаку на

турецкий десант, значительно превосходящий их количественно и к тому же поддержанный мощным турецким флотом. Во время этих атак сам Суворов получил картечную рану в бок и вторую рану ружейной пулей в левую руку, что не вывел из строя, продолжая воодушевлять войска.

Блестящее осуществление других суворовских заповедей — «время дороже всего», «быстрота и внезапность заменяют число» — показаны на примерах сражения под Фокшанами и в Рымникском сражении.

Великий суворовский принцип — «каждый воин должен понимать свой манёвр», — воспитывавший в русском солдате сознательного воина и являвшийся одним из самых замечательных проявлений новаторства Суворова, нашёл своё блестящее выражение в штурме Измаила. «Скорее Дунай остановится в своём течении и небо обрушится на землю, чем падёт Измаил!» — говорили турки о своей крепости. Но против турецкой твердыни Суворов выставил воинское умение и высокую боеспособность своих войск. Решающую роль в победном штурме Измаила сыграла тщательная подготовка к нему и специальное обучение солдат и офицеров.

И, наконец, великая вера Суворова в русского солдата, в непоколебимую силу русского духа — «мы русские... мы всё одолеем!» — наглядно показана в швейцарском походе 1799 года, проделанном болыным семидесятилетним фельдмаршалом во главе всего необходимого войска.

Так, шаг за шагом, в наглядных примерах раскрываются перед читателем великие суворовские принципы русского воинского искусства, составляющие и поныне славу русского оружия.

Авторы и коллектив художников проделали большую и благодарную работу. Незначительные исторические погрешности, имеющиеся в ней и уже отмеченные критикой, несомненно, будут устранены в последующих изданиях этой нужной и полезной книги.

Можно всячески приветствовать инициативу «Молодой гвардии» в создании серии монографий о воинском искусстве великих русских полководцев.

Бор. Сергеев.



„ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕТРАДЬ“*

В зимнюю ленинградскую ночь, при тусклом свете коптящих, скончоневшими руками старый художник гравировал орден. В кольце, оплетённом колючей проволокой (символ блокады), мужчина, женщина и ребёнок стоят,

вскинув головы, бесстрашно встречая поток низвергающихся с неба бомб.

И надпись сердцу дорога:

Она гласит не о награде.

Она спокойна и строга:

«Я жил зимою в Ленинграде».

Это один из образов «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц. Простые слова, выгра-

* О. Берггольц. «Ленинградская тетрадь». «Советский писатель». 1942 г.

выровненные седым мастером на ордене, который, он верил, будет создан для ленинградцев, могли бы быть поставлены эпитафией и к этой поэме, и ко всей «Ленинградской тетради», — книге, написанной в осаждённом городе в незабываемые дни зимы 1941—42 года.

Стихи Берггольц в значительной части наминают страницы своеобразного «календаря» блокады. Над большинством из них стоят в качестве эпитафии несколько газетных строк о положении на фронте и в самом осаждённом городе. Самые же «записи» — это лирическое отражение грозных событий в душе ленинградца, раздумья и переживания поэта, живущего тем же, чем живут и дышат окружающие его люди. «Я» и «мы» тесно слиты в этом дневнике, даже тогда, когда поэт пытается говорить только о себе и своих личных чувствах:

Нет, не вышло второе письмо
на далекую Каму,
Это гимн ленинградцам — опухшим,
упрямым, родным.
Я отправлю от имени их, за кольцо,
телеграмму:
«Живы, выдержим, победим».

В стихах и поэмах О. Берггольц мы видим ленинградцев такими, какими терзали и томил их страшные месяцы осады города: «в грязи, во мраке, в голоде, в печали», «мёрзнувшими в неотапливаемых помещениях, бредущими с саночками за водой, сжимающими в обледеневших пальцах «бедный ленинградский ломтик хлеба», драгоценные «сто двадцать пять блокадных грамм с огнём и кровью пополам».

Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не героизмовала, а жила, —

пишет О. Берггольц, выражая ощущение всех ленинградцев. Величие их подвига именно в том, что даже в нечеловечески тяжёлых условиях они смогли остаться верными долгу, что жить для них значило не просто существовать, но действовать, бороться и побеждать.

Так дрались мы за рубежи
Твои, возлюбленная Жизнь, —

восклицает поэт, и горячие взволнованные строки «Ленинградской тетради» служат красноречивым ответом на вопрос, что давало людям мужество и силу в этой борьбе, как человеческая душа «превозмогла предательскую немощь тела».

Участие в великой отечественной войне для советского человека — это защита всей его жизни, это защита его прошлого и будущего, самых драгоценных воспоминаний и самых за-

душевных мечтаний. Вот почему близки сердцу каждого советского человека простые строки стихотворения «Дорога на фронт». Читатель верит поэту, что эта многопудовая дорога не только «географически совпадает для лирического героя с тем путём, которым в детстве шёл он в школу, но что это — дорога «сквозь жизнь».

Да. Знаю. Всё, что с детства в нас горело,
Всё, что в душе болит, живёт, поёт, —
Всё шло к тебе, торжественная зрелость,
На этот фронт у городских ворот.

Страстным утверждением жизни, трепетной любовью ко всему живому, той любовью, которая помогает превозмочь боль самых горьких утрат, которая даёт силы «подняться к жизни снова, затем, чтоб вновь и вновь сражаться за жизнь», — проникнуты лучшие строки «Ленинградской тетради». За жизнь поднимает поэт свой стакан в самую «торжественную и правдивую» встречу Нового года; городом жизни восторженно называет он свой непреклонный, борющийся Ленинград, для живых ему «ничего не жаль — ни слёз, ни радости, ни страсти».

Мотив утверждения жизни переплетается в стихах О. Берггольц с мотивом дружбы, прекрасного нерасторжимого единства советского человека со своей страной, того единства, которое особенно ободряет и поддерживает в тяжёлые минуты и которое так остро ощущали ленинградцы в самые трудные для них дни. Поэт обращается к сестре, к матери, находящимся далёко, в Москве, на Урале, и слова благодарности за их нежность и заботу переплетаются с горячими обращениями к родине («Моя отчизна, мой народ, родная кровь моя, — спасибо!»).

Чудесный образ, издавна дорогой сердцу русского человека, воскресает в стихах Берггольц, как символ прекрасных чувств народа, обращённых к родным ленинградцам:

Смотри — материнской тоскою полна,
За дымной грядкою осады
Не сводит очей воспалённых страна
С защитников Ленинграда.

Так некогда, друга отправив в поход
На подвиг тяжёлый и славный,
Рыдая, глядела века напролёт
Со стен городских Ярославна.

Той же светлой дружбой, той же любовью «многих к многим» озарены и отношения ленинградцев друг к другу. Судьба послала им суровое испытание, но она же дала им и счастье изведать во всей полноте ту «теплоту любви, дружбы и семей», о которой так проникновенно говорил Маяковский, вспоминая трудные годы послеоктябрьских боёв. Большим, искренним чувством дышат строки О. Берггольц об этой ни с чем не сравнимой прочности и глубине человеческих отношений:

Был день, как день,
 Ко мне пришла подруга,
 Не плача, рассказала, что вчера
 Единственного скоронила друга,
 И мы молчали с нею до утра.

Как же ж я могла найти слова?
 Я тоже — ленинградская вдова.
 Мы съели хлеб, что был отложен на день,
 В один платок закутались вдвоём,
 И тихо-тихо стало в Ленинграде...

И так велика эта сплочённость, так глубоко сознание ответственности каждого за судьбу всех, понимание неразрывности личного счастья и покоя с судьбой родины, что на заботливое материнское: «побереги себя» может быть только один ответ:

— Я берегу себя, родная,
 Не бойся, очень берегу.
 Я город наш обороняю
 Со всеми вместе, как могу...

... Не бойся, мама, я не струшу,
 Не отступлю, не побегу:
 Взращённую тобою душу
 Непобеждённой сберегу.

Когда так сильна воля к жизни и к борьбе, когда так прекрасно и нерушимо единство людей, сплотившихся для защиты самого святого и дорогого, — можно ли сомневаться в том, что эти люди победят?

Во всей конкретной земной радости рисуется поэту светлый день победы: «ленинградский торжественный полдень, тишины и покоя и хлеба душистого полный». О «сне спокойном, долгим, светлом и песнях с самого утра», о ласточках, которые «вернутся в города», думает поэт, представляя себе этот день. Но над всеми этими мечтами царит самый дорогой, самый светлый образ торжествующей, творческой Жизни, родной цветущей земли, «вставшей не для боя — для труда», и ещё сильнее, ещё мужественнее становится человек, гордый своим участием в борьбе за эту жизнь, за эту землю:

Двойною жизнью мы сейчас живём:
 В грязи и службе, в голоде, в печали
 Мы дышим завтрашним —
 счастливым, щедрым днём.
 Мы этот день завоевали.

Лучшие стихотворения «Ленинградской тетради» привлекают глубокой искренностью и простотой, живой человеческой теплотой. Без ярких эпитетов, промких слов и патетических интонаций О. Берггольц умеет донести до читателя внутреннюю патетику своих переживаний, заставляет проникнуться чувствами и мыслями лирического героя. Однако, наряду с такими проникновенными и сильными вещами, как «Сестре», «Письма на Каму», «Разговор с соседкой», как обе поэмы, в «Ленинградской тетради» встречаются строки маловыразительные, оставляющие читателя холодным. Это, как правило, стихи, в которых автор затрагивает слишком общие темы или говорит о людях вне конкретных событий и переживаний и потому оставляет их внутренний мир закрытым для читателя, а чувство подменяет риторикой («И вновь Литейный — зона фронтвая», «Стихи о ленинградских большевиках»).

Мы в чайный тепла и света
 Глядим в прядущее — в упор.
 За горе, гибель и позор
 Врага.

За Жизнь.
 За власть Советов.

Свойственная большинству стихотворений сборника задушевность и выразительность интонаций здесь и в других случаях отсутствует, и встречается лишь в подобных строках вялые прозаизмы («всё возместим, а враг — он должен пасть»), «мы все с тобой, защитником отличны») не имеют ничего общего с той «сложной простотой» поэтической речи, которая отличает лучшие стихи сборника. В отдельных стихотворениях встречаются трафаретные образы («над нами грозная опасность», «не дрогнет меч в руке твоей») и небрежность языка («и пробежал огонь во взоре», «и снова наклоняется она, исполненная правдой и любовью»).

Таких бледных строк в книге немного, но и их Ольга Берггольц могла избежать, — это было в её возможностях.

Н. Калитин.



КЛАССИКИ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Небольшая книжка Геронти Кикодзе¹ носит популярный характер. Несмотря на свой скромный объём, она существенно обогащает представления русского читателя о нескольких крупнейших поэтах Грузии.

¹ Геронти Кикодзе. Грузинские классики (Шота Руставели, Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Важа Пшавела). «Заря Востока».

Нужно сказать, что если дело ознакомления русского читателя с самим творческим наследием классиков грузинской литературы в последние годы было поставлено довольно широко, то очень мало ещё сделано для историко-литературного освещения и истолкования этого богатейшего художественно-культурного наследия. Если русский читатель имеет возможность познако-

миться в переводах уже не только с поэмой Руставели, но и с основными произведениями Давида Гурамишвили, Сулхана-Сабы Орбелиани, Александра Чавчавадзе, Григория и Вахтанга Орбелиани, Николаза Бараташвили, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Даниила Чоквадзе, Эгнате Ниношвили, Александра Казбеги, Важа-Пшавела и Давида Кидишвили, — то почерпнуть сведения об этих писателях, об их идеологической и художественной проблематике, узнать об их месте и роли в истории грузинской литературы, о соотносённости их творчества с общемировым литературным процессом и т. д., может он лишь из беглых предисловий к русским переводам. Цельного очерка истории многовековой грузинской литературы на русском языке вообще не существует (известный четырёхтомный труд А. Хаханова, изданный в 1895—1906 гг., — очень почтенный труд, но рассчитан он на специалистов и, конечно, безнадежно устарел по материалу, и по методу исследования, и по выводам). Если старая грузинская литература всё же получила беглое освещение в «Конспективном курсе истории древнегрузинской литературы» академика К. С. Кекелидзе (изданном в Тбилиси в 1939 г. и являющемся очень сжатым изложением двухтомного труда того же автора на грузинском языке), то для XIX века, когда действовали её крупнейшие представители, чьё творчество сохраняет и в наши дни не только историческое, но и живое эстетическое значение, — не существует даже такого конспективного очерка.

Тем большее значение приобретает в этой связи вдумчивая и хорошо написанная книжка Геронти Кикодзе, хотя и нужно пожалеть, что рассматривается в ней творчество всего лишь пяти писателей, четверо из которых относятся как раз к числу основоположников новой грузинской литературы.

Не все очерки Г. Кикодзе равноценны. Слишком бегло сказано о Бараташвили, которого с полным основанием можно назвать родоначальником новой грузинской поэзии. Вызывает возражения данная в статье слишком прямолинейная характеристика Бараташвили как типичного представителя романтической поэзии тоски и разочарования. Разумеется, Бараташвили теснее других грузинских поэтов первой половины XIX века был

связан с общеевропейским романтическим движением, но, вместе с тем, его романтизм носит глубокий отпечаток национально-самобытной культуры и стили его представляют собою особую вариацию романтической поэзии, не сводимую на «байронизм» в его общеевропейском и русском выражениях. Вне учёта этого национально-самобытного характера грузинского романтизма нельзя составить о нём и, в частности, о творчестве Бараташвили, достаточно верного представления. Также и очерк о Важа-Пшавела — замечательном поэте, занимающем совершенно особое место в мировой поэзии конца XIX — начала XX вв. и до сих пор не оценённом по достоинству, — сбивается на биографическую справку: художественная проблематика вдохновенного творчества Важа-Пшавела раскрыта автором недостаточно — даже в ограниченных масштабах его изложения.

Лучшая статья в книжке — о Руставели. В ней хорошо рассказано о самой идеологической и культурной атмосфере руставелевской эпохи «золотого века» Грузии, о её свободном гуманистическом духе, с такой силой сказавшемся в «Витязе в тигровой шкуре». Вместе с тем, в небольшой статье сосредоточен весь необходимый запас сведений о Руставели, разобраны тематика, сюжетика, композиция и образное содержание его поэмы, раскрыты её реальные исторические предпосылки, сделаны тонкие сопоставления с современной Руставели восточной и западной поэзией и т. д., — так что этот сжатый, но насыщенный очерк может служить прекрасным введением к знаменитой поэме.

В очерках, посвящённых писателям, Г. Кикодзе, естественно, не мог коснуться всех центральных проблем грузинской литературы XIX века. В этом смысле его книжка не решает назревшего вопроса о необходимости издания на русском языке цельного научно-популярного очерка истории грузинской литературы, стоящего на должном методологическом уровне. Однако при всей своей разобщённости и сжатости, статьи Г. Кикодзе о Бараташвили, Чавчавадзе, Церетели и Важа-Пшавела отражают главнейшие моменты грузинской литературной истории XIX века. В этом немаловажное значение книжки.

Вл. Орлов



Редколлегия: М. М. Розенгалъ, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федян, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.

Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 1/VI — 1943 г.

A469 8 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 1019.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.